



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

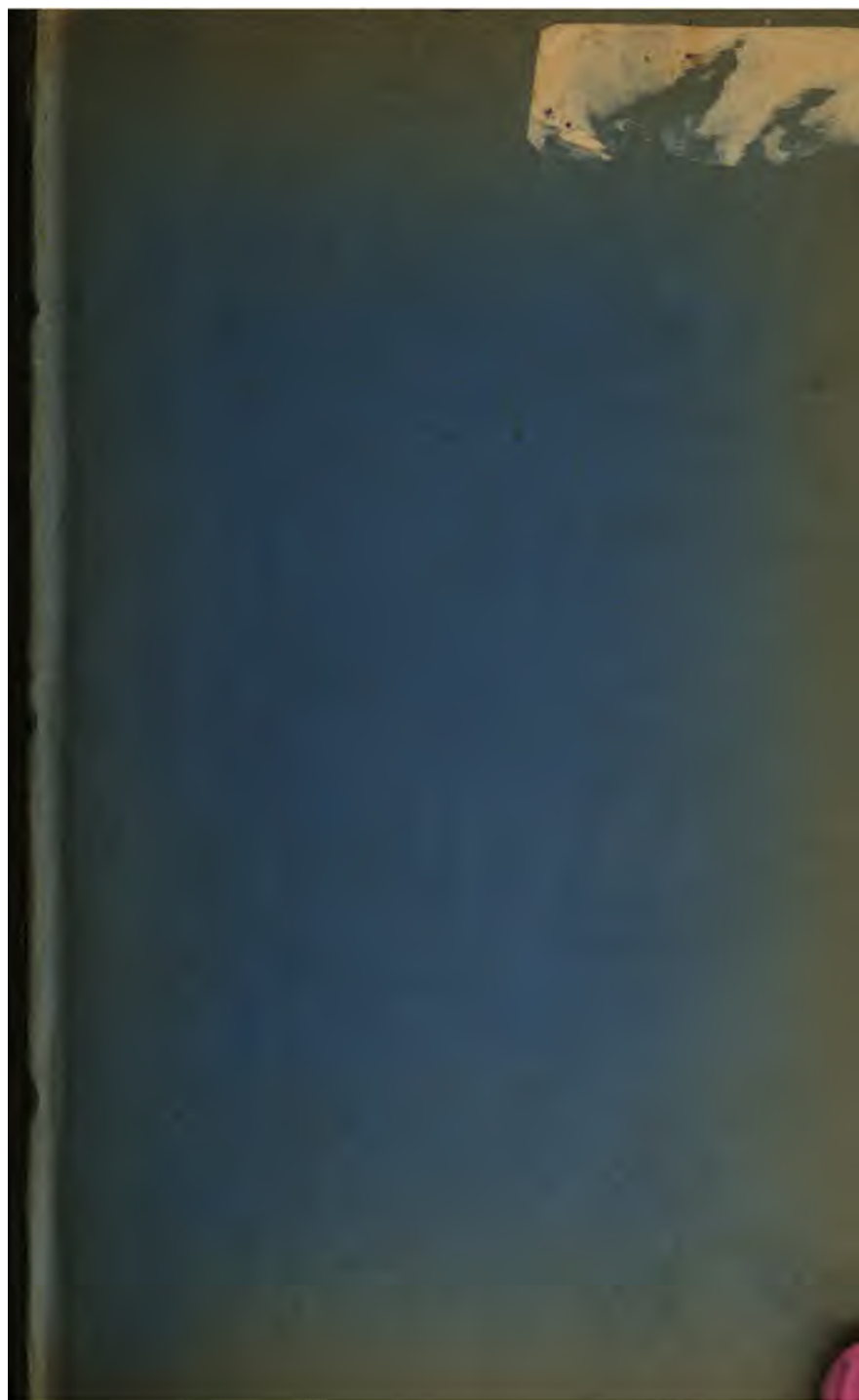
Slav 4180.172

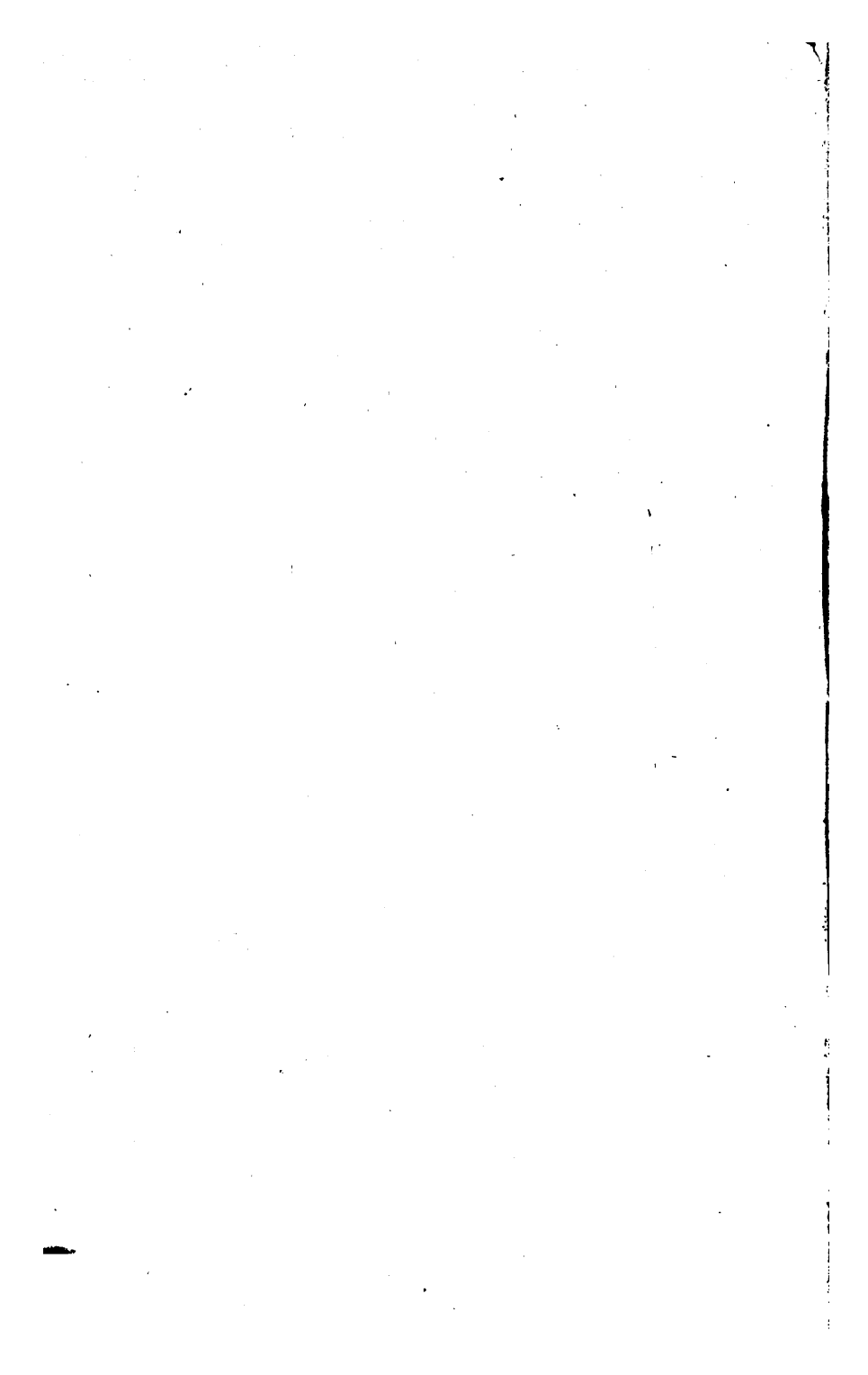
Harvard College
Library

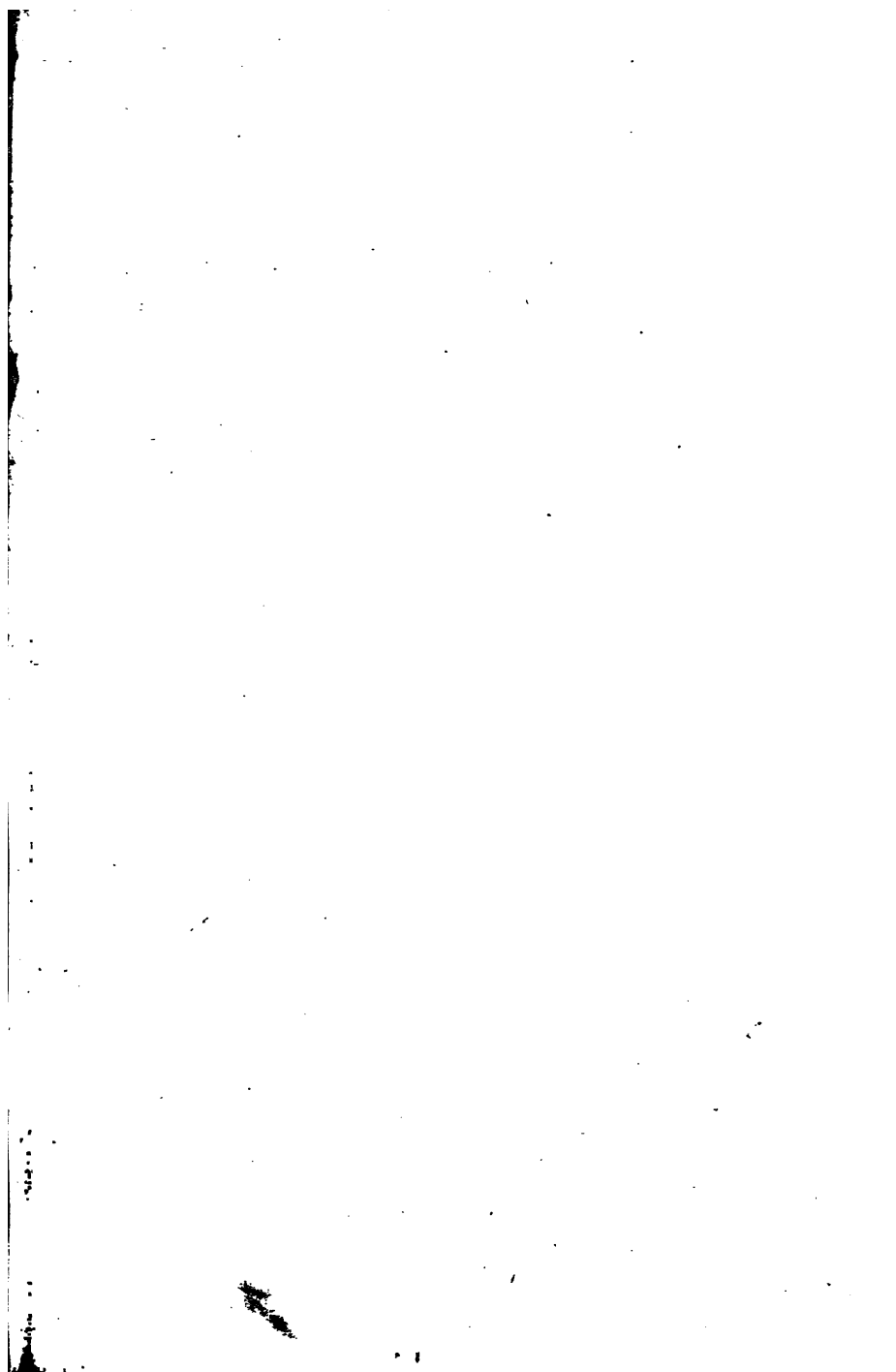


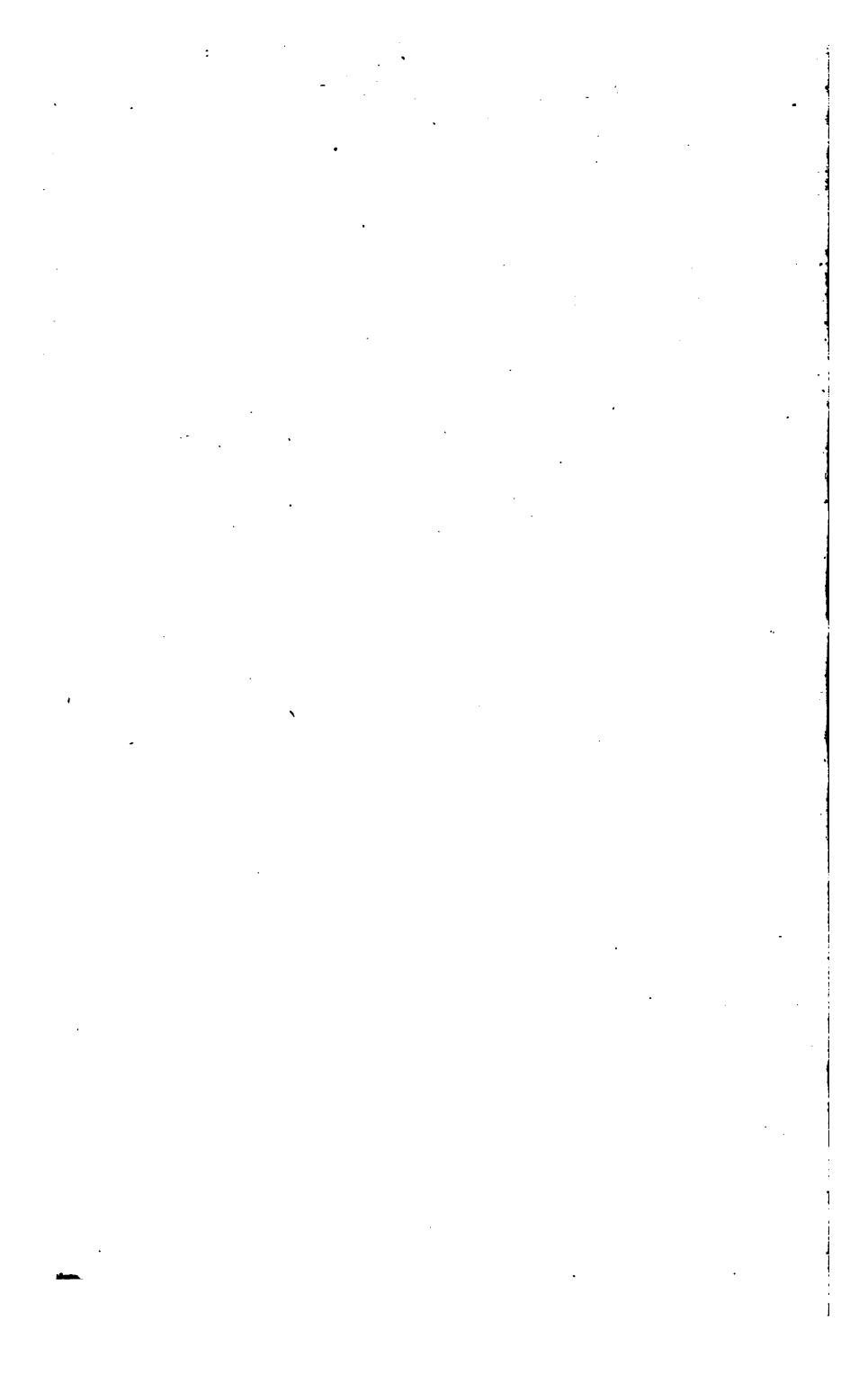
BOUGHT FROM THE
GIFT OF

Charles Richard Crane
OF NEW YORK
1938









ПОМЪ
III



И. БУЗИЦКИЙ

Slav 4180.112

✓

HARVARD COLLEGE LIBRARY
FROM THE GIFT OF
CHARLES RICHARD CRANE
APRIL 28, 1938

КІЕВЪ
ТИПОГРАФІЯ „ПЕТРЪ БАРСКІЙ“, КРЕШАТИКЪ № 48.
1908.



ИСКУШЕНИЕ.

Я иду. Спотыкаясь и падая ницъ,
Я иду.
Я не знаю, достигну ль до тайныхъ границъ,
Или въ знойную пыль упаду,
Иль уйду, соблазненный, какъ первый въ раю,
Въ говорящей и манящей садъ,
Но одно—навсегда, но одно—сознаю:
Не идти мнѣ назадъ!

Зной горитъ, и губы сухи,
Дали строятъ свой миражъ,
Манятъ тѣни, манятъ духи,
Шепчутъ дьяволы: „ты—нашъ!“

Были сонмы поколѣній,
За толпой въ вѣкахъ толпа.
Ты—въ неистовствѣ явленій,
Какъ въ пучинѣ водъ шепта.
Краткій срокъ ты въ безднахъ дышишь
Отцвѣтаешь, чуть возникъ.
Что ты видишь, что ты слышишь,
Измѣняетъ каждый мигъ.
Не упомнишь словъ священныхъ,
Сладкихъ сновъ не сбережешь!
Нѣтъ свершеній не мгновенныхъ,
Таесть истина, какъ ложь.
И сквозь пальцы мудрость міра
Протекаетъ, какъ вода,
И восторгъ блестящій пира
Исчезаетъ навсегда.
Совершивъ свой путь тяжелый,
Съ бою капли тайнъ собравъ,
Ты предъ смертью встанешь голый,
О мудрецъ, какъ сынъ забавъ!
Если жъ смерть тебѣ открытъ
Тайны всѣ, что ты забылъ,
Такъ чего жъ твой подвигъ стоитъ!
Такъ зачѣмъ ты шелъ и жилъ!
Все ненужно, что земное,
Шепчутъ дьяволы: „ты—нашъ“.
Я иду въ бездонномъ зноѣ...
Дали строить свой миражъ.

„Ты мнѣ отвѣтишь ли, о Сушій,
Зачѣмъ я жажду тѣхъ границъ?
Быть можетъ, ждетъ меня грядущій,
И я предъ нимъ склоняюсь ницъ?“

О, сердце! въ этихъ тѣняхъ вѣка,
Гдѣ истинъ нѣтъ, иному вѣры!
Въ себѣ люби сверхчеловѣка...
Явись, нашъ богъ и полузвѣрь!

Я здѣсь свершаю путь безплодный,
Безсмысленный, безцѣльный путь,

Чтобъ наконецъ душой свободной
Ты могъ предъ Вѣчностью вздохнуть.

И чутъ проблескъ этой дрожи,
Въ себѣ угадывать твой вздохъ—
Мнѣ всѣхъ иныхъ блаженствъ дороже...
На краткій мигъ, какъ ты, я—богъ!"

г и м н ѣ .

Вновь закатъ одѣнетъ
Небо въ багрянецъ.
Горе, кто обмѣнить
На вѣнокъ—вѣнецъ.

Мракомъ міръ не скованъ,
Послѣ ночи—свѣтъ.
Тѣмъ, кто коронованъ.
Доли лучшей нѣтъ.

Утреннія зори—
Блескъ небесныхъ крылъ.
Въ этомъ вѣчномъ хорѣ
Богъ васъ возвѣстилъ.

Времени не будетъ,
Ночи и зари...
Горе, кто забудетъ,
Что они—цари!

Все жарче зной. Упавъ на камнѣ,
Я отдаюся огню лучей,
Но мука смертная легка мнѣ
Подъ этотъ гимнъ, не знаю чей.
И вотъ все явственнѣй, тѣлеснѣй
Ко мнѣ, простершемуся ницъ,
Клонятся, съ умиленной пѣсней,
Изъ волнъ воздушныхъ сонмы лицъ.
О, сколько близкихъ и желанныхъ,
И ты, забытая, и ты!
Въ чертахъ, огнями осіянныхъ,
Какъ не узнать твои черты!

И молніи горять сапфиромъ,
Ихъ синій отблескъ—вѣчный свѣтъ.
Мой слабый духъ предъ лучшимъ міромъ
Уже слышалъ свой привѣтъ!

Но вдругъ подымаюсь я, вольный и дикій,
И тѣни сливаются, гаснутъ въ огнѣ.
Шатаюсь, кричу я,—и хриплые крики
Лишь коршуны слышать въ дневной тишинѣ.
„Я жизни твоей не желаю, гробница,
Ты хочешь солгать, гробовая плита!
Такъ, значить, за гранью—вторая граница,
И смерть, какъ и жизнь, только тѣнь и черта?
Такъ, значить, за смертью такой же безплодный,
Такой же безцѣльный, бессмысленный путь?
И то же мечтанье о волѣ свободной?
И та жъ невозможность во мглѣ потонуть?
И нѣтъ намъ исхода! и нѣтъ намъ предѣла!
Исчезнуть, не быть, истребиться нельзя!
Для воли, для духа, для мысли, для тѣла
Единая, та же, все та же стезя!“
Кричу я. И коршуны носятся низко,
Изъ дали таинственной манить миражъ.
Тамъ пальмы, тамъ влага, такъ ясно, такъ близко,
И дьяволы шепчутъ со смѣхомъ: „ты нашъ!“

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



О с е н ь.

Осень. Мертвый просторъ. Углубленные грустныя
дали.

Завершительный ропотъ шуршавшихъ листвою вѣ-
тровъ.

Для чего не со мной ты, о другъ мой, въ ночахъ,
въ ихъ печали?

Столько звѣздъ въ нихъ сіяетъ, въ предчувствіи
зимнихъ снѣговъ.

Я сижу у окна. Чуть дрожать безпокойныя ставни.
И въ трубѣ, безъ конца, безъ конца, звуки чьей-то
мольбы.

На лицѣ у меня поцѣлуй,—о, вчерашній, недавній.
По лѣсамъ и полямъ протянулась дорога Судьбы.

Далеко, далеко, по давнишней пробитой дорогѣ,
Заливаясь, поетъ колокольчикъ и тройка бѣжитъ.
Старый домъ опустѣлъ. Кто-то блѣдный стоитъ на
порогѣ.

Этотъ плачущій—кто онъ? Ахъ, листь пожелтѣв-
шій шуршитъ.

Этотъ листь, этотъ листь... Онъ сорвался,
летитъ, упадетъ....

Бьются вѣтки въ окно. Снова ночь. Снова день.
Снова ночь.

Не могу я терпѣть. Кто же тамъ такъ безумно
рыдаетъ?

Замолчи. О, мѣлю! Не могу, не могу я помочь.

Это ты говоришь? Самъ съ собой—и себя отвергая?
Колокольчикъ, вернись. Съ привидѣнными страшно
мнѣ быть.

О, глубокая ночь! О, холодная осень! Нѣмая!
Непостижность Судьбы:—разставаться, страдать,
и любить.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



* * *

Не конченъ путь далекій...
Усталый, одинокій,
Сижу я въ поздній часъ.
Туманны всѣ дороги,
Роса мнѣ мочить ноги,
И мой костеръ погасъ.
И нѣтъ въ широкомъ полѣ
Огня и шалаша...
Ликуй о дикой волѣ,
Свободная душа!

Все въ этомъ темномъ полѣ
Одной покорно волѣ,
Вся эта ночь—моя.
И каждая былинка,
И каждая росинка,
И каждая струя,—
Все мнѣ согласно внемлетъ,
Моей мечтой дыша;
Въ моемъ томленьи дремлетъ
Всемирная душа.

Далекъ предѣлъ высокій.
Усталый, одинокій,
Надъ влажною золой,
Я самъ собою свѣтель.
Я путь себѣ намѣтилъ
Не добрый и не злой,—
И нѣтъ въ широкомъ полѣ
Огня и шалаша...
Ликуй о дикой волѣ,
Свободная душа!

ВЕДОРЬ СОЛОГУБЪ.





Вячеславъ Ивановъ.

Т Е М Ъ.

О темная Земля!
Ты любишь Солнце; Солнцемъ ты любима.
Мечъ Херувима
Испепелилъ одежды
Твои, вдова Эдема: даръ надежды,
Духъ умоля,
Ты сберегла, опальная Земля!

Данъ Солнцамъ свѣтъ,
И темъ—Землямъ. И Духъ вездѣ, страдальный.
Но Мракъ печальный
Утѣшенъ озареньемъ;
И страждетъ Свѣтъ, своимъ свѣтятся горѣньемъ.
Ахъ, дара нѣтъ,
Тому, кто—даръ! И кто освѣтитъ—Свѣтъ?

Алчба лучей; алчба
Исполниться; и сирый плачъ вдовицы,

И страсть юницы,
 И материнства муки—
 Тебѣ даны съ завѣтами Разлуки!
 Тебѣ гроба
 И колыбель! тебѣ—небесѣ алчба!

 Твои, о Мать, сыны—
 Съ тобой въ тоскѣ на небо мы взираемъ
 За чуждымъ раемъ;
 Какъ ты, живемъ надеждой,
 И наги мы подъ солнечной одеждой;
 Какъ ты—темны:
 Твой зрящій сонъ мы зримъ, твои сыны!

 Но Небомъ былъ зачатъ
 Нашъ темный родъ—Титановъ падшихъ племя.
 И Солнца сѣмя,
 Прозябнувъ въ насъ, освѣтитъ
 Твой ликъ, о Мать!.. Ахъ, если Свѣтъ, что
 свѣтитъ,—
 Въ себѣ распяты,—
 Пусть Духъ распнетъ насъ, кѣмъ твой свѣтъ
 зачатъ.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



КОЧЕВНИКИ КРАСОТЫ.

Кочевники Красоты—вы,
художники.

. Пламенники.

Вамъ—пращуровъ деревья
 И кладбищъ тѣснота!..
 Намъ вольныя кочевья
 Судила Красота.

Вседневная измѣна,
 Вседневный новый станъ:

Безвыходнаго плѣна
Блуждающій обманъ.

О, вѣрьте далей чуду
И сказкъ всѣхъ завѣсь,
Всѣхъ весень изумруду,
Всей широтѣ небесъ!

Художники, пасите
Грезъ вашихъ табуны;
Минуя, всколосите—
И киньте—цѣлины!

И съ вашего раздолья
Низриньтесь вихремъ ордъ
На нивы подневоля,
Гдѣ рабъ упрягомъ гордъ.

Топчи ихъ рай, Аттила,—
И новью пустоты
Взойдутъ твои свѣтила,
Твоихъ степей цвѣты!

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



О р л у.

Пусть чернь клевететь: не умалить
Ей голодъ горнаго крыла!
Орелъ, не вѣрь: змѣя ужалить
Не хочетъ въ облакѣ орла.

Съ безкрылой стоптанная глиной,
Когда-то странница небесъ,
Она влюбила взмахъ орлиный
Всей памятью былыхъ чудесъ.

Сплелась съ чудовищемъ пернатымъ
И ляжетъ изогнутый клювъ,

Чтобъ высоко, кольцомъ крылатымъ
Развороженное сомкнувъ,
Персть обручить и пламень горній—
И, воскресивъ старинный бракъ,
Дохнуть опаснѣй и просторнѣй—
И мертвой кануть въ душный мракъ...

О, если ты—пространствъ наперсникъ
И выше ставишь свой престолъ,
Узнай вождя, мой древнѣй сверстникъ,
Къ инымъ поднебесьямъ, орелъ!

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



Ропоть.

Твоя душа глухонѣмая
Въ дремучіе поникла сны,
Гдѣ бродятъ, заросли ломая,
Желаній темныхъ табуны.

Принесъ я свѣточъ неистомный
Въ мой звѣздный домъ тебя манить,
Въ глуши пустынной, въ пущѣ дремной
Смолистый сѣвъ похоронить.

Свѣчу, кричу на бездорожьи;
А вокругъ нѣмѣеть, зовъ глуша,
Не по-людски и не по-божьи
Уединенная душа.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



Городъ.

Сколько въ Городъ дверей,—вы подумали объ
этомъ?

Сколько оконъ въ высотѣ по ночамъ змѣится
свѣтомъ!

Сколько зданій есть иныхъ, тяжкихъ, мрачныхъ, не-
преклонныхъ,

Однодверчатыхъ громадъ, ослѣпленно-безоконныхъ.

Склады множества вещей, въ жизни будто бы по-
лезныхъ.

Убіеніе души—ликомъ стѣнъ, преградъ желѣзныхъ.

Удавленіе сердецъ—наклоненными надъ нами

Натѣсненьями камней, этажами, этажами.

Семиярустность гробовъ. Ты проходишь коридоромъ.

Предъ враждебностью дверей ты скользишь смущеннымъ воромъ.

Потому что ты одинъ. Потому что камни дышутъ.

А задверныя сердца каменѣютъ и не слышатъ.

Повернется въ дыркѣ ключъ—постучи—увидишь
ясно.

Какъ способно быть лицо безподходно-безучастно.

Ты послушай, какъ шаги засмѣялись въ коридорѣ.

Здѣсь живые—сапоги, и безжизненность—во взорѣ.

Замыкайся ужъ и ты, и дыши дыханьемъ Дома.

Будетъ впредъ и для тебя тайна комнаты знакома.

Стѣны лѣтопись ведутъ, и о петляхъ повѣствуютъ.

Окна—дьяволовъ глаза. Окна ночи ждуть. Колдуютъ.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



ДУША НОЧИ.

ИЗЪ М. МЕТЕРЛИКА.

Ночь тихо близится къ концу.
Душа устала отъ печали,
Мечты отъ тщетныхъ думъ устали.
Ночь тихо близится къ концу...

Приди и прикоснись къ лицу!
Тѣхъ пальцевъ ждетъ мое лицо,
Тѣ пальцы—словно ангелъ снѣжный...
Приди и принеси кольцо;

Коснись меня; прохладой нѣжной
Повѣй въ горящее лицо.
Чтобъ я не умеръ, не угасъ
При солнцѣ, въ первый яркій часъ,
Коснись меня рукой цѣлебной,
И окропи росой волшебной
Орбиты воспаленныхъ глазъ...

Я вижу: лебеди скользятъ,
Плывутъ въ волнахъ за рядомъ рядъ
И тянутъ шеи, изнывая;
Больные бродятъ вдоль оградъ,
Послѣдніе цвѣты срывая.

Приди ко мнѣ въ послѣдній часъ,
Твоя рука—какъ ангелъ снѣжный!
Коснись моихъ усталыхъ глазъ,
Травы изсохшей мертвыхъ глазъ...

Какъ овцы дремлютъ безмятежно!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.





ЧЕЛОВѢКЪ И МОРЕ.

(L'HOMME ET LA MER).

изъ Ш. БОДЛЕРА.

Какъ зеркало своей заповѣдной тоски,
Свободный Человѣкъ, любить ты будешь Море—
Всегда!—себя любить въ безбѣрежномъ просторѣ,
Чьи бездны, какъ твой духъ безудержный,—горьки;

Свой темный ликъ ловить въ отсвѣтности зыбей
Пустымъ объятіемъ, и сердца ропотъ гнѣвный
Съ весельемъ узнавать въ ихъ злобѣ многозвѣной,
Въ неукротимости немолкнушихъ скорбей.

Вы оба замкнуты, и скрытны, и темны.
Кто, Человѣкъ, про то, что ты на днѣ, повѣдалъ?
Кто клады нѣдръ твоихъ исчислилъ и развѣдалъ,
О Море?.. Жадные ревнивыцы глубины!

Что жъ долгіе вѣка безъ устали, скупцы,
Яритесь въ распрѣ вы? Такъ оба беспощадны,
Такъ вы убійственны, такъ сердцемъ кровожадны,
О братья-вороги, о вѣчные борцы!

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



УЧИТЕЛЬ.

ИЗЪ ОСКАРА УАЙЛЬДА.

Когда тьма окутала землю, Іосифъ Ари-
маеѣйскій, съ сосновымъ факеломъ въ рукѣ, спу-
стился съ холма въ долину. Онъ направлялся къ
себѣ въ домъ.

И на жесткихъ камняхъ Долины Отчаянія онъ
увидѣлъ колѣнопреклоненнаго юношу, нагого и пла-
чущаго. Цвѣта меда были его волосы, а тѣло—
какъ бѣлый цвѣтокъ; но онъ шипами изранилъ
свое тѣло и, вмѣсто короны посыпалъ волосы пе-
пломъ.

И обладавшій большимъ имуществомъ сказалъ
нагому и плачущему юношѣ:—Я не удивляюсь тому,
что горе твое такъ велико; потому что, безъ со-
мнѣнія, Онъ былъ праведный человѣкъ.

Юноша отвѣчалъ:—Я плачу не о Немъ, а о
себѣ. И я превращалъ воду въ вино, исцѣлялъ
прокаженныхъ и слѣпымъ возвращалъ зрѣніе. Я
ходилъ по водамъ и изъ жителей пещеръ я изго-
нялъ бѣсовъ. Въ пустынѣ, гдѣ не было нищи, я
кормилъ голодныхъ и поднималъ умершихъ изъ
ихъ тѣсныхъ домовъ; по моему приказанію на гла-
захъ у множества людей бесплодная смоковница
засохла. Все, что дѣлалъ этотъ человѣкъ, дѣлалъ
и я. И все-таки они меня не распяли...

Х. Х.



Русь.

Русь! Что больше, и что ярче,
Что сильнѣй, и что смѣлѣй!
Гдѣ сияетъ солнце жарче,
Гдѣ сиять ему милѣй?

Поле, поле! Все—раздолье,
Вся душа—кипучій ключъ,
Вѣковой вспѣнный болью,
Напоенный горемъ тучъ.

Да, бѣдна ты и убога,
И несчастна и темна.
Горемычная дорога
Все еще не пройдена.

Но и нѣтъ тебя счастливей
На стремительной землѣ,
Нѣту счастья молчаливей,
Нѣту доли горделивей,
Больше свѣта на челѣ.

У тебя въ глуши родимой
Не народъ, а ярь-кремень,
Гнетъ терпѣль невыносимый
Въ темной жизни деревень.

У тебя по чернымъ хатамъ
Потомъ жилистой руки
Днямъ раздольнымъ и богатымъ
Копать силу мужики.

У тебя по вешнимъ селамъ
Ходятъ дѣвушки-цвѣты,
Днемъ не смаяны тяжелымъ,
Правдой юности святы.

Горе горькое изжито!
Вся омытая въ слезахъ,
Плугомъ тягостнымъ разрыта,
Солнцу грудь твоя открыта,
Счастье добыто въ бояхъ!

Много воплей запѣвали
Горя русскаго пѣвцы,
И терновые сплетали
Бѣдной родинѣ вѣнцы.

Стало небо загораться,
И пора уже, пора
Бодрой пѣснѣ разыгаться,
Звякнуть звонче серебра.

Изъ неволи да на волю,
Въ золотыя времена!
Покидай глухую долю,
Подошла твоя весна.

Здравствуй, міру засіявшій
Алый свѣтъ, огонь-летунъ!
Надъ тобой горитъ возставшій,
Небо заревомъ обнявшій
Богъ побѣды, яръ Перунъ!

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



ДУХИ ОГНЯ.

Потокомъ широкимъ тянулся асфальтъ.
Какъ горящія головы темныхъ повѣшенныхъ,
Фонари въ высотѣ, не мигая, горѣли.
Дѣлали двойственнымъ міръ зеркальныя окна.
Бѣдныя дѣти земли
Навстрѣчу мнѣ шли,
Города дѣти и ночи:
(Тѣни скорбей неутѣшенныхъ,

Ткани безвѣстной волокна!)
Чета бульварныхъ камелій,
Франтъ въ распаханомъ пальто,
Запоздалый рабочій,
Старикашка хромающій, юноша пьяный...

Звѣзды смотрѣли на міръ, проникая туманы,
Но звѣздъ—въ электрическомъ свѣтѣ—не видѣлъ
никто.

Потокомъ широкимъ тянулся асфальтъ.
Шагъ за шагомъ падалъ я въ бездны,
Въ хаосъ предсвѣтно-дозвѣздный.
Я видѣлъ кипящій базальтъ,
Въ озерахъ стоящій порфирь,
Ручьи раскаленного золота,
И рушились ливни на пламенный міръ,
И снова вносились густыми клубами, какъ парь,
Изорванный молніями въ клочья.
И слышались громы: на огненный шарь,
Дрожавшій до тайнъ своего средоточья,
Ложились удары незримаго молота.

Въ этомъ горнилѣ вселенной,
Въ этомъ смѣшеніи всѣхъ силъ и веществъ,
Я чувствовалъ жизнь изступленныхъ существъ,
Дыханіе воли нетлѣнной.
О, мои старшіе братья,
Первенцы этой планеты,
Духи огня!
Моей душѣ раскройте объята,
Въ свои предчувствія—свѣты,
Въ свои желанья—пожары
Примите меня!

Дайте дышать ненасытностью вашей,
Дайте низвергнуться въ вихрь, непрерывный и ярый,
Вашихъ безмѣрныхъ трудовъ и безумныхъ забавъ!
Дайте припасть мнѣ къ сверкающей чашѣ
Васъ опьянявшихъ отравъ!
Вы,—отъ земли къ облакамъ простиравшіе члены,
Вы, кого зыблилъ всегда огнеструйный самумъ,
Водопадъ катастрофъ,—

Дайте причастнымъ мнѣ быть неустанной измѣны,
Дайте мнѣ вашихъ грохочущихъ думъ,
Молнійныхъ словъ!

Я буду соратникомъ вашихъ космическихъ споровъ,
Стихійныхъ сраженій,
Колѣбавшихъ нашъ міръ, на его непреложной орбитѣ!
Я голосомъ стану торжественныхъ хоровъ,
Славящихъ творчество Бога и благодать грядущихъ
событій,

Въ оркестръ домірномъ я стану поющей струной!
Извѣдаю съ вами костры наслажденій,
На огненномъ ложѣ,
Въ объятыхъ расплавленной стали,
У пылающей пламенемъ груди,
Касаясь устами сжигающихъ устъ!
Я былинка въ вулканѣ,—такъ что же!
Вы—духи, мы—люди,
Но земля насъ сроднила единствомъ блаженствъ и
печалей.
Безъ насъ, какъ безъ васъ, этотъ шаръ бездыханенъ
и пусть!

Потокомъ широкимъ тянулся асфальтъ.
Фонари не мигая горѣли,
Какъ горящія головы темныхъ повѣшенныхъ.
Бѣдныя дѣти земли
Навстрѣчу мнѣ шли:
(Тѣни скорбей неутѣшенныхъ!)
Чета бульварныхъ камелій,
Запоздалый рабочій,
Старикашка хромающій, юноша пьяный,—
Города дѣти и ночи...
Звѣзды смотрѣли на міръ, проникая туманы...

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.





Андрей Бѣлый.

ЗОЛОТОЕ РУНО.

I.

Золотѣя, эфиръ просвѣтится,
И въ восторгѣ сгоритъ.
А надъ моремъ садится
Ускользящій, солнечный щитъ.

И на морѣ отъ солнца
Золотые дрожать языки.
Всюду отблескъ червонца
Среди всплесковъ тоски.

Встали груди утесовъ
Средь трепещущей солнечной ткани.
Солне сѣло. Рыданій
Полонъ крикъ альбатросовъ:

„Дѣти солнца, вновь холодъ безстрастья!
„Закатилось оно—
„Золотое, старинное счастье—
„Золотое руно!“

Нѣтъ сіянья червонца.
Меркнуть свѣточи дня.
Но вездѣ вмѣсто солнца
Ослѣпительный пурпуръ огня.

II.

Пожаромъ склонъ неба объять...
И вотъ аргонавты намъ въ рогъ отлетаній
Трубятъ...
Внимайте, внимайте...
Довольно страданій!
Броню надѣвайте
Изъ солнечной ткани!

Зоветь за собою
Старикъ аргонавтъ,
Взываетъ
Трубой
Золотою:
„За солнцемъ, за солнцемъ, свободу любя,
„Умчимся въ эфиръ
„Голубой!...“
Старикъ—аргонавтъ призываетъ на солнечный
пиръ,

Трубя
Въ золотѣющій міръ.

Все небо въ рубинахъ.
Шаръ солнца почилъ.
Все небо въ рубинахъ
Надъ нами.
На горныхъ вершинахъ
Нашъ Арго,
Нашъ Арго,
Готовясь летѣть, золотыми крылами
Забилъ.

Земля отлетаетъ...
Вино
Мировое
Пылаетъ
Пожаромъ
Опять:
То огненнымъ шаромъ
Блестать
Выплываетъ
Руно
Золотое,
Искрять.

И блескомъ объятый,
Свѣтило дневное,
Что факеломъ вновь зажжено,
Несясь
Настигаетъ
Нашъ Аргъ крылатый,

Опять настигаетъ
Свое золотое
Руно...

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.



Обручальное кольцо.

ЗАКЛИНАНИЕ.

Солнца эфирная кровь,
Росный, серебряный слитокъ,
Нѣжность, восторгъ и любовь:
Вотъ онъ—пьянящій напитокъ.

Знай: это—я, это—я.
Это—мой поцѣлуй.

Я зачарую тебя.
Струи, жемчужная струи!

Если съ улыбкой пройдешь
Лугомъ, межой, перелѣскомъ,
Я въ закипѣвшую рожь
Брызну разсыпчатымъ блескомъ.

Если ты пьешь, чуть дыша,
Вѣнчикомъ розовыхъ губокъ,
Знай: молодая душа—
Неба взметеннаго кубокъ.

Кубокъ лазурный испей:
Слаще, звончѣй и чудеснѣй
Тамъ—межъ струистыхъ зыбей—
Райскія, райскія пѣсни.

Сердишься, прячешь кольцо,—
Душу грозюю наполню:
Ярныя тучи въ лицо
Мечутъ янтарную молнию.

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.



ТОСКА.

Вотъ на струны больныя, скользявши, упала
слеза.

Душу грусть обуяла.
Все въ тоскѣ отзывало.
И темны небеса.

О Всевышній, мнѣ грезы, мнѣ сладость забвенья
подай.

Безнадежны моленья.
Похоронное пѣнье
Наполняетъ нашъ край.

Кто-то Грустный мнѣ шепчетъ чуть слышно
вздыхая: „Покой“...

Свищетъ вѣтеръ, рыдая...
И пою, умирая,
Отъ тоски самъ не свой...

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.



ВЕСНА.

Все подсохло. И почки ужъ есть.
Зацвѣтутъ скоро ландыши, кашки.
Вотъ плывутъ облачка, какъ барашки.
Громче, громче весенняя вѣсть.

Я встревоженъ назойливымъ пискомъ:
Подоткнувшись, ворчливая Оекла,
Нависая надъ улицей съ рискомъ,
Протираетъ оконныя стекла.

Тутъ известку счищаютъ ножемъ...
Тутъ стаканчики съ ядомъ... Тутъ вата...
Грудь апрѣльскимъ восторгомъ объята.
Вѣтеръ пылью крутитъ за окномъ.

Окна настежь—и крикъ, разговоры,
И цвѣточный качается стебель,
И выходятъ на дворъ полотеры
Босикомъ выколачивать мебель.

Выползъ котъ и сидитъ у корытца,
Умывается бархатной лапкой.
Вотъ мальчишка въ рубашкѣ изъ ситца,
Пробѣжавъ, запустилъ въ него бабкой.

Въ небѣ свѣтъ предвечернихъ огней.
Чувства снова, какъ прежде, огнисты.
Небеса все синѣй и синѣй.
Облачка, какъ барашки, волнисты.
Въ синихъ даляхъ блуждаетъ мой взоръ.
Всѣ земныя стремленья такъ жалки...
Мужиченка въ опоркахъ на дворъ
Съ громомъ ввозить тяжелыя балки.

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.



О н а.

Въ своей безсовѣстной и жалкой низости
Она, какъ пыль, сѣра, какъ прахъ земной.
И умираю я отъ этой близости,
Отъ неразрывности ея со мной.

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змѣя.
Меня изранила противно-жгучая
Ея колѣнчатая чешуя.

О, если бъ острое почувялъ жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха,
Такая тяжкая, такая вялая,
И нѣтъ къ ней доступа—она глуха.

Своими кольцами она, упорная,
Ко мнѣ ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная—моя душа!

З. ГИППІУСЪ.





Александръ Блокъ.

* * *

Вхожу я въ темные храмы,
Совершаю бѣдный обрядъ.
Тамъ жду я Прекрасной Дамы
Въ мерцаньи красныхъ лампадъ.

Въ тѣни у высокой колонны
Дрожу отъ скрипа дверей.
А въ лицо мнѣ глядитъ, озаренный,
Только образъ, лишь сонъ о Ней.

О, я привыкъ къ этимъ ризамъ
Величавой, Вѣчной Жены!
Высоко бѣгутъ по карнизамъ
Улыбки, сказки и сны.

О, Святая, какъ ласковы свѣчи.
Какъ отрадны Твои черты!
Мнѣ не слышны ни вздохи, ни рѣчи,
Но я вѣрю: Милая—Ты.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.

Незнакомка.

По вечерамъ надъ ресторанами
Горячій воздухъ дикъ и глухъ,
И править окриками пьяными
Весенній и тлетворный духъ.

Вдали, надъ пылью переулочной,
Надъ скукой загородныхъ дачъ,
Чуть золотится крендель булочной,
И раздается дѣтскій плачь.

И каждый вечеръ, за шлагбаумами,
Заламывая котелки,
Среди канавъ гуляютъ съ дамами
Испытанные остряки.

Надъ озеромъ скрипятъ уключины
И раздается женскій визгъ,
А въ небѣ, ко всему приученный—
Безсмысленно кривится дискъ.

И каждый вечеръ другъ единственный
Въ моемъ стаканѣ отраженъ
И влагой терпкой и таинственной,
Какъ я, смиренъ и оглушенъ.

А рядомъ, у сосѣднихъ столиковъ
Лакеи сонные торчатъ.
И пьяницы съ глазами кроликовъ
„In vino veritas“! кричатъ.

И каждый вечеръ, въ часъ назначенный
(Иль это только снится мнѣ?)
Дѣвичій станъ, шелками схваченный,
Въ туманномъ движется окнѣ.

И медленно, пройдя межъ пьяными,
Всегда безъ спутниковъ, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И вѣютъ древними повѣрьями
Ея упругіе шелка,

И шляпа съ траурными перьями,
И въ кольцахъ узкая рука.
И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берегъ очарованный
И очарованную даль.
Глухія тайны мнѣ поручены,
Мнѣ чье-то солнце вручено,
И всѣ души моей излучины
Пронзило терпкое вино.
И перья страуса склоненныя
Въ моемъ качаются мозгу,
И очи синія, бездонныя
Цвѣтутъ на дальнемъ берегу.
Въ моей душѣ лежитъ сокровище,
И ключъ порученъ только мнѣ!
Ты право, пьяное чудовище!
Я знаю: истина въ винѣ.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



Осеннія пляски.

Волновать меня снова и снова—
Въ этомъ тайная Воля Твоя.
Радость ждетъ сокровеннаго слова,
И ужъ ткань золотая готова,
Чтобъ душа засмѣялась моя.
Улыбается осень сквозь слезы,
Въ небеса отлетаетъ мольба,
И за кружевомъ тонкой березы
Золотая запѣла труба.
Такъ волнуютъ прозрачные звуки,
Будто милый Твой голосъ звенить,

Но молчишь ты, поднявшая руки,
Устремившая руки въ зенить.

И округляя руки трепещуть,
Съ бѣлыхъ плечъ ниспадаютъ струи,
За Тобой въ хороводахъ расплещуть
Осенницы одежды свои.

Осѣненная рѣющей влагой
Распустила Ты пряди волосъ.
Хороводовъ Твоихъ по оврагу
Золотое кольцо развилось.

Очарованный музыкой влаги,
Не могу я не пѣть,—не плясать.
И не могутъ луга и овраги
Подъ стопой Твоей не сгорать.

Съ нами, къ намъ—легкокрылая младость,
Намъ воздушная участь дана...
И откуда приходитъ къ намъ Радость,
И откуда плыветъ Тишина?

Тишина умирающихъ злаковъ—
Это свѣтлая въ мірѣ пора:
Сонъ, завѣтныхъ исполненный знаковъ,
Что сегодня пройдетъ, какъ вчера.

Что полеты временъ и желаній—
Только всплески дѣвическихъ рукъ,
На землѣ—на зеленой полянѣ—
Неразлучный и радостный кругъ.

И безбурное солнце не будетъ
Нарушать и гнѣвить Тишину,
И лѣсная трава не забудетъ,
Никогда не забудетъ весну,

И снѣжинки по склонамъ оврага
Заметутъ, заровняютъ края,
Тамъ, гдѣ имъ заповѣдана влага,
Тамъ, гдѣ пляска, гдѣ Воля Твоя.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



* * *

Люблю тебя, Ангелъ-Хранитель, во мглѣ—
Во мглѣ, что со мною всегда на землѣ.
За то, что ты свѣтлой невѣстой была,
За то, что ты тайну мою отняла.
За то, что связала насъ тайна и ночь,
Что ты мнѣ—сестра, и невѣста, и дочь.
За цѣпи мои и за клятвѣ твои,
За то, что надъ нами—проклятье семьи.
За то, что не любишь того, что люблю.
За то, что о нищихъ и бѣдныхъ скорблю,
За то, что не можемъ согласно мы жить,
За то, что хочу и не смѣю убить—
Отомстить малодушнымъ, кто жилъ безъ огня,
Кто такъ унижалъ мой народъ и меня,
Кто заперъ свободныхъ и сильныхъ въ тюрьму,
Кто долго не вѣрилъ огню моему!
Кто хочетъ за деньги лишить меня дня,
Собачью покорность купить у меня,—
За то, что я слабъ и смириться готовъ,
Что предки мои—поколѣнья рабовъ,
И нѣжности ядомъ убита душа,
И эта рука не подниметъ ножа...
Но люблю я тебя и за слабость мою,
За горькую долю и силу твою...
Что огнемъ сожжено и свинцомъ залито,—
Того разорвать не посмѣетъ никто!
Съ тобою смотрѣлъ я на эту зарю,
Съ тобой въ эту черную бездну смотрю.
И двойственно намъ предсказанье Судьбы:
Мы—вольныя души! Мы—злые рабы!
Покорствуй! Дерзай! Не покинь! Отойди!
Огонь, или тьма—впереди?
Кто кличетъ? Кто плачетъ? Куда мы идемъ—
Вдвоемъ—неразрывны—навѣки вдвоемъ?..
Воскреснемъ? Погибнемъ? Умремъ?

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



Путь въ Эммаусъ.

День третій рдяная вѣтрила
Къ закатнымъ пристанямъ понесъ...
Въ душѣ—Голгоѳа, и могила,
И споръ, и смута, и вопросъ...

И, безпощадная, коварно
Вездѣ стоитъ на стражѣ Ночь,—
А Солнце тонетъ лучезарно,
Ея не въ силахъ превозмочь.

И Неизбѣжное зіяетъ,
И сердце душитъ узкій гробъ...
И гдѣ-то бѣлое сіяетъ
Надъ мракомъ золь, надъ моремъ злобъ!

И женщинъ бѣлыхъ восклицанья
Въ бреду благовѣстятъ—про что?..
Но съ помаваньемъ отрицанья,
Качая мглой, встаетъ Ничто.

И кто-то, странный, по дорогѣ
Къ намъ пристаётъ и говоритъ
О жертвенномъ, о мертвомъ Богѣ...
И сердце—дышитъ и горитъ.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.





ТИРТЕЙ.

изъ книги „ХЕРУВИМЪ“.

...И насталь часъ, когда гнѣвъ Господень переступилъ предѣлы, пролился изъ чаши милосердія Его, и сорвалъ берега свои.

Отъ руки грознаго Мстителя погибло первородное племя, кровавыми рядами легла лучшая жатва, и не семь, а семью-семь казней опустошило землю плодоносную, бодрую и обильную, насколько могъ достигнуть духъ человѣческой своимъ вѣчнымъ, отъ Бога зачавшимся взглядомъ.

И то была земля святая, страждущая, усѣянная костями, утучненная кровью; какъ дымъ, поднималась къ небу страшная и безнадежная мольба ея:
— Херувимъ, херувимъ! Открой врата похищеннаго рая!

И вдоль пути къ таинственному и страшному мѣсту, гдѣ, какъ море огня, разливался свѣтящійся туманъ отъ меча архангела, шелъ великій мужъ, котораго народъ, покинутый и карой Бога присужденный къ исчезновенію, избралъ среди себя, ибо на челѣ своемъ носилъ онъ знакъ пророковъ и вѣщихъ, въ рукахъ держалъ печати сокровеннѣйшихъ тайнъ, довѣренныхъ ему самимъ Богомъ, а на плечахъ несъ страшный крестъ мучениковъ и исповѣдниковъ.

И народъ избралъ его не потому, чтобы чтить и уважалъ его, но потому, что одинъ Онъ лишь могъ бесѣдовать съ Херувимомъ, и не терялъ зрѣнія передъ блескомъ меча его.

И мужъ этотъ имѣлъ взоръ угрюмый, словно проникъ до дна всѣхъ пропастей, словно очи его не знали никогда свѣта; шелъ впередъ, полный мощи, въ черномъ облакѣ нечали, какъ шествуютъ тѣ, кому тайны смерти ужъ вѣдомы и исполнены наслажденія.

Шелъ съ глубоко опущенной головою, шелъ въ размышленіи.

А впереди его подвигалось Отчаяніе, а позади его плелось Безсиліе.

Съ печатами въ рукѣ, отягченный страшнымъ Крестомъ Исповѣдника и Мученика, тащился по обрывистымъ путямъ человѣкъ этотъ, обливаясь кровавымъ потомъ, дыша страшной геенной испупителей. И вскипѣло въ немъ горькое страданіе тѣхъ, что, будучи равными Богу, низвергнуты въ преисподнюю, и съ побѣлѣвшихъ губъ его сорвалась дикая жалоба закованныхъ въ цѣпи богатырей, на скалахъ Кавказа распятыхъ прометеевъ:

— Изъ глубины первоначальныхъ основъ, гдѣ неистовствуетъ живой огонь и рождаются новые элементы; изъ гробовъ, надъ которыми высятся гигантскія цѣпи горъ; отъ моря, гдѣ встаетъ солнечное безуміе, и до моря, въ которомъ оно гаснетъ, погружаясь; изъ могилъ, распираемыхъ кипящею массою того, что есть, было и будетъ, возникъ я, всемогущій духъ моего народа, глашатай его неистощимой силы, мститель отвѣчныхъ обидъ его.

— Херувимъ, Херувимъ! Гдѣ мои похищенные сокровища, гдѣ рай мой, изъ котораго изгнанъ?!

Ничего. Ничего, кромѣ тишины, не смущенной ни единымъ: „да будетъ!“ Создателя.

И человѣкъ упалъ на кремнистой дорогѣ. Впереди его, на уступѣ ушедшей подъ небо скалы, пришло Отчаяніе а позади его, заливаясь слезами, крестомъ распростерлось Безсиліе.

— Херувимъ!—кричалъ человѣкъ:—отдай мнѣ рай мой, землю мою,—этотъ кусокъ тѣста, который оторвалъ я отъ прѣснаго хлѣба, что самъ Богъ испекъ въ великую Пасху своего возникновенія,—землю, которую я одобрилъ для народа своего, рай мой отдай, Херувимъ!

Сорвалось съ мѣста Отчаяніе, крикъ свой бросило въ небо:

— Искрой огня воспламенялъ газы, взрывалъ скалы, стиралъ ихъ въ плодородный прахъ, выворачивалъ слои земли, создавалъ новые, добывалъ силы почвы, сытая жиромъ производительной мощи.

Возбужденный страшнымъ крикомъ отчаянія, вскочилъ съ земли, вскинулъ крестъ на плечи, крѣпче сжалъ печати въ рукѣ своей и, состязуясь съ предвѣчными бурями, гремѣлъ великою пѣснью печали:

— Знойнымъ вѣтромъ я растапливалъ скованные снѣга и вѣковые льды; дышащею солнцемъ весной проливался въ долины, одѣвалъ въ зелень моря камней и скалъ, расцвѣчивалъ пустоши ужаса и смерти; замерзшіе океаны вспахивалъ кипяткомъ гольфштремовъ, на куски разрывалъ скалистые берега, творя устья для моихъ скрытыхъ силъ, что изъ капелъ выростали въ дикіе потоки, озера и пѣнящіяся рѣки моей земли.

— Херувимъ, отдай мнѣ рай мой, этотъ малый кусокъ прѣснаго хлѣба Пасхи Бытія!

— Въ зернышкѣ сосредоточилъ я лучи солнца и посадилъ его на плодородную землю, созданную изъ минераловъ и камней,—въ маленькомъ зернышкѣ, которое разрослось въ могучій стволъ моего народа, я подчинилъ себѣ солнце въ исполинскихъ вѣтвяхъ его жизни, я повелѣлъ ему разлиться въ его жилахъ, чтобы корни его разрастались все шире и все гуще свѣшивались вѣтви его благословеніемъ надъ землею, разрыхленной и урожайной моими силами. Я...

Тутъ человѣкъ замолкъ. Ибо увидѣлъ предъ собою Мужа, могучаго, ставшаго между вѣчностью и вѣчностью, недоступнаго взору, если бы захо-

тѣлъ человѣкъ увидѣть его глазами, но такъ безконечно близкаго ему, когда сталъ онъ смотрѣть на него очами безсмертной, родной Богу, души своей.

— Херувимъ!

А въ очахъ Херувима горѣлъ огонь предмірнаго бытія, волосы его развѣяли бури тысячъ и миллиардовъ столѣтій. Ибо то былъ Мужъ, который слышалъ превеликое „да будетъ“! Создателя.

„Кто ты“?—прогремѣло вокругъ.

Но человѣкъ не испугался этого голоса; пораженный страхомъ Отчаяніе и Безсиліе присѣли у ногъ его, а самъ онъ все росъ и росъ, равняясь въ величинѣ съ Херувимомъ. Блескъ не ослѣплялъ его, ибо онъ смотрѣлъ въ огненную купину, въ которой нѣкогда явился Господь.

И разорвало грудь его жаркое неистовство безбрежной гордости и надменности, и упали слова его, какъ молніи, которыя бичуютъ океанъ.

— Кто я?—Кто ты?... Я—владыка этого рая, у вратъ котораго поставила тебя на стражѣ месть Бога. Я—отецъ твой, ибо грѣхъ мой вызвалъ тебя къ существованію. Глаза мои не ослѣплены блескомъ твоего меча, и духъ мой не дрожитъ передъ твоимъ грознымъ взглядомъ.

— Я—духъ народа и его завѣтное стремленіе вернуть свой утраченный рай и царить въ немъ въ новой славѣ и вѣчномъ свѣтѣ.

— Я тотъ, кому сказано было:

— „Возьми эти печати, открой врата всѣхъ тайнъ, прослѣди всѣ сокровенныя глубины священнаго пути“.

— И я карабкался ввысь по недоступнымъ отвѣсамъ, и камни ускользали изъ-подъ ногъ моихъ, когда я опирался на нихъ ногою. Сколько разъ повисалъ я на горсткѣ травы, что росла изъ случайной расщелины; сколько разъ припадалъ къ обрѣзу скалы, чтобы удержаться на немъ и порѣзать лицо свое острыми иглами, ища напрасно опоры. Сколько разъ покидали меня силы, и лишь внезапнымъ чудомъ находилъ я случайное углубленіе для отекавшей ноги своей.

— И снова выше, въ знойномъ трудѣ,—ступни мои обагрѣлись кровью, и кровь брызгала изъ-подъ ногтей моихъ рукъ. Истерзанный, изрѣзанный, я карабкался по острымъ утесамъ, падалъ внизъ съ разсыпчатыхъ слоевъ песку, и, казалось, вотъ-вотъ достигалъ ужъ вершины,—еще шагъ—и съ поднебесной вышины могъ бы уже взглянуть освобожденнымъ взоромъ Того, кто сорвалъ всѣ печати, могъ бы стать лицомъ къ лицу съ Богомъ и изъ устъ Его читать слова недоступныхъ тайнъ,—но какой-то внезапный блескъ ослѣплялъ меня.

— Руки, что въ дикой алчности уже хватались за вершинные камни, начинали деревенѣть, земля уплывала изъ-подъ ногъ, и я соскользнулъ постепенно въ долины, откуда началъ свой тяжкій путь вверхъ къ неизвѣстному.

— Были у меня эти печати, и я не могъ сломить ихъ, были мнѣ предначертанный путь, и я не сумѣлъ найти его.

— Сними съ меня, Херувимъ, этотъ ужасный крестъ, ибо тяжелѣе, чѣмъ цѣпи горъ давятъ землю, давить меня его громада.

„Что велѣно тебѣ, исполни! И хотя бы крестъ этотъ вдавилъ тебя въ землю, хотя бы ты сломился подъ нимъ, какъ изсохшая вѣтвь, ты долженъ нести его.“

И голосъ Херувима звучалъ твердо и непоколебимо, какъ мѣдъ; и человекъ, придавленный тяжестью креста, окровавленными пальцами жадно впился въ сокровище нетронутыхъ печатей.

И внезапно возсталъ въ величїи и силѣ; мощью своею коснулся неба, широко уперся ногами въ землю, и вскрикнулъ:

— Къ ногамъ твоимъ кидаю эти печати и сбрасываю этотъ крестъ съ плечъ моихъ. Это не крестъ спасенїя, это крестъ мученичества... Пусть другіе пытаются разрѣшать тайны, пусть другіе карабкаются на вершины, откуда съ благословенїемъ будутъ озирать счастье обѣтованныхъ долинъ, пусть другіе открываютъ сокровенныя тайны.

— Я бросаю у ногъ твоихъ тягостное бремя печатей, это смѣшное стремленіе стать равнымъ Богу.

— Я хочу быть малымъ, гордымъ и святымъ.

— Я иду въ мой народъ!

„Ты безсиленъ и въ дешевую добродѣтель стремишься обратить свое безсиліе“.

И взглянулъ на него Архангелъ взглядомъ бронзы и гранита.

— О лживый!—простоналъ человѣкъ.—Зачѣмъ обмануль меня!

— Зачѣмъ изъ меня, создателя твоего, сдѣлалъ раба? Вижу лживость и лицемеріе! Ты хотѣлъ провести меня, властителя, напыщенной рѣчью, таинственнымъ жестомъ невѣдомой силы! А я вѣрилъ тебѣ. Ты поднималъ вверхъ перстъ свой—я падалъ ницъ предъ тобою. Ты помахивалъ имъ, а мнѣ казалось, что міръ распадается на куски.

— Ложь, ложь!

— Я—дѣйствіе. Но уже не малое, тихое и смиренное дѣйствіе малыхъ людей, но гроза и мощь толпы и цѣлыхъ народовъ. Я—буря, проклятіе, ярость и ураганъ, что ниспровергаетъ престолы, срываетъ короны и сдуваетъ папскія тиары.

А неистовое Отчаяніе завывало:

„Легионы архангеловъ Ты выслалъ, Господи, чтобы уничтожить полчища бѣсовъ. Ниспосли намъ хоть единый лучъ Твоей мощи и силы—видимый знакъ Твоего милосердія“.

А смиренное Безсиліе простонало:

„Подъ покровъ Твой!“

Заслышавъ этотъ вопль, въ бѣшенствѣ вскочилъ человѣкъ.

— Подъ покровъ Твой? Нѣтъ! Не хотимъ никакого покрова! О, какъ удобно укрываться подъ покровомъ Твоимъ, чувствовать себя внѣ опасности, ибо отъ него отскакиваютъ пули, какъ отъ стального панциря, а мечи разлетаются вдребезги.

„Отъ глада, мора, труса, и войны...“ скулило и стонало Безсиліе, да не кончило, ибо человѣкъ повалилъ его къ ногамъ своимъ и воскликнулъ:

— Не избавляй насъ, Господи! Скорѣе возбуди насъ, раздуй пламя въ сердцахъ нашихъ до силы вѣковыхъ пожаровъ, въ которыхъ міры распадаются въ пепель, растрави въ сердцахъ нашихъ такую ярость, чтобы, умирая, мы рвали недруга зубами, спусти на насъ моръ, дай чуму, чтобы мы могли привить ее врагамъ нашимъ, дай намъ предмірный огонь!

„Ты все далъ намъ, что могъ дать, Господи!“...

— Ложь! Возьми себѣ свои солнца и звѣзды и цвѣтистые луга,—и дай намъ кулакъ, который разрушаетъ башни, дай намъ лицемѣріе и хитрость Твоихъ змѣй, одѣли насъ оружіемъ Твоихъ демоновъ, чтобы мы могли побѣдить.

— Мщенія жаждемъ мы, мщенія!

— Впейся твоими пальцами въ наши волосы, обвей ими Твои руки, рви насъ, если мы будемъ упираться, тащи за собою, брось во рвы и ямы, вдави туда тысячи, сдѣлай изъ насъ мосты и насыпи для тѣхъ, что идутъ за нами.—

— Дай побѣду!

И въ пространствахъ, какъ голосъ мѣди, прогремѣлъ голосъ Архангела:

„Слова Твои надменны и сильны, какъ вихрь, что со свистомъ разбивается въ скалистыхъ ущельяхъ, но скаламъ вреда не наноситъ. Слова Твои горячи и яростны, какъ огонь, что распираетъ жерла вулкановъ, но мертвою лавой вливается въ море, погасая, какъ головня, выброшенная изъ печки.

„А печати нерушимы.

„А тайны начала и конца неизвѣстны“...

— Ты твердо сталъ здѣсь, какъ могучій Церберъ, и издѣваешься! Свѣтящійся туманъ отъ Твоего меча моремъ разлился вокругъ, а тамъ, за Тобой, за ослѣпительнымъ блескомъ пылающихъ ледниковъ своего лица, за огнистой пылью, разсѣиваемой твоимъ мечомъ,—тамъ мой похищенный рай!

— Скупой и жадный Херувимъ, прислужникъ того Бога, что меня, созданія своего, испугался, силы моей, что уже начинала превосходить Его силу!

— Вѣдь я видѣлъ ликъ Его, и блескъ его не убилъ меня, вѣдь я блаженствовать съ Тобою и семью силами небесными, и вы жаждали моей бесѣды.

— Вмѣстѣ съ Богомъ и вмѣстѣ съ вами я не зналъ ни боязни, ни страданія, а гордость моя, что стократъ сильнѣе гордости Люцифера, брата моего, не противилась волѣ Элоима, но господствовала надъ нимъ.

— А ты, жестокий Херувимъ, злой и жестокий, какъ демонъ, котораго создалъ Богъ своею местию въ неумолимомъ гнѣвѣ... ты стоишь и издѣваешься?..

— На колѣни передо мною!

— Я народъ, я могучій Милліонъ, который разрастается въ Милліарды, что сильнѣе легионовъ небесныхъ, которые ниспровергли въ адъ неисчислимыя полчища грознѣйшихъ духовъ.

— Смотри!—Вотъ я—мечъ столь сильнаго блеска, такого огня и пыла, что въ немъ угасаетъ Солнце. Я—молотъ, который разрушаетъ врата небесныя. Я—тотъ, кто полагаетъ предѣлъ всякой силѣ.

— Смотри!

— Вотъ надвигается темный сбродъ, черный, угрюмый, безнадежный... Видишь? Идетъ, онъ идетъ!

— Идетъ страшной стѣной, которая давитъ пространство, грознымъ ураганомъ, что уничтожаетъ время, устремляется съ высочайшихъ вершинъ неуправляемой лавиной, что землю въ пыль разбиваетъ; льется лавой, въ которой твоя мощь испепелится.

— Идетъ, рвется, давитъ, свергается въ бездонныя пасти, и не требуетъ пощады!

— Не требуетъ пощады, хотя рядъ ложится за рядомъ, упитывая своей кровью жадную землю. Какъ треснувшая стѣна, разсыпаются вокругъ, и новыя толпы идутъ сквозь проломы. Не требуютъ пощады, —скорѣе жаждутъ, чтобы стократъ сильнѣйшій бичъ привелъ ихъ въ ту ярость, которая сдѣлаетъ ихъ достойными своей мести.

— И каждый среди нихъ—безымянный.

— И каждый среди нихъ—богъ, ибо въ немъ самомъ его начало, въ немъ самомъ и конецъ его.

— И каждый средь нихъ столь великъ, что самъ очертилъ свои предѣлы и, принося жертву крови и тѣла, не требуетъ, чтобы славилось имя его.

— Видишь эту стѣну, этотъ ураганъ, эту черную тучу, что сорвалась и заливаешь твою мощь, Херувимъ? Видишь эту страшную чернь, неисчислимую толпу боговъ, изъ которыхъ каждый—воплотившаяся жертва крови и тѣла?

— Не надо, Херувимъ, этихъ печатей, не надо тайнъ.

— Инымъ евангеліямъ внемлю я...

— Я свидѣтельствую жертвой тѣла и крови моей и моего народа, что пришелъ искупитель въ новой мощи и славѣ. И имя его—Чернь и Толпа.

— Разступитесь врата, отступи, ненужный прислужникъ, да снизойдетъ духъ святой привѣтствовать всемогущую силу, разрушившую оковы!

— Что... что?

— Нужно еще жертвъ?

— Еще новое евангеліе?

— „Въ началѣ было Слово...“ Нѣтъ! Въ началѣ была жертва, и жертва стала дѣломъ и дѣло было у Бога, и Богъ былъ дѣло. Жертва была въ началѣ, была у Бога, все сталося ею и ничего не сталося безъ нея!“

— И вотъ я, я, смиренный Іоаннъ въ пустынѣ, пришелъ поучать васъ, какъ надо приносить себя въ жертву. Теперь уже сорваны всѣ печати, теперь раскрыты двери рая.

— Жертвою, Самообреченіемъ! Народъ мой, народъ мой!

„Еще печати не тронуты,—какъ дуновеніе вѣтра повѣялъ голосъ Херувима“.

„Твоя и народа твоего жертва—что капля росы въ великомъ морѣ, которую поглотитъ самый малый лучъ солнца; твой голосъ—что тихій шопотъ, который прошуршитъ по травѣ и замретъ на придорожномъ пескѣ; твое отчаяніе, твое изступленіе—какъ трепыханіе надломленныхъ крыльевъ бабочки въ лѣсу тростника и осоки“.

А обезумѣвшій человѣкъ въ изступленіи отъ боли бросился на землю, извивался въ безсильномъ отчаяніи и вопилъ:

— Херувимъ, Херувимъ! Злой бездушный Херувимъ, котораго создалъ Богъ своей мстью!

— Смотри!

— Милліарды вѣковъ я ползаю здѣсь передъ Тобою въ зноѣ пустынныхъ песковъ; изсохъ языкъ мой, какъ кусокъ падали, прожженной жаромъ неистоваго солнца; дыханіе замерло въ груди моей, какъ замираетъ вѣтеръ, подкошенный пожаромъ міровъ, а тѣло мое завяло, какъ листъ лебеды въ широкой степи, гдѣ преступная рука наѣздника бросила раздутую головню.

— Замерли стоны на запекшихся устахъ моихъ; пораженный безуміемъ мозгъ ужъ забылъ о томъ, что мечта его можетъ проявиться въ словъ; каждый шагъ мой означенъ слѣдами запекшейся крови, что засохшими кусками отрывается отъ ранъ моихъ.

— Милосердія!

— Ты распростерся отъ Восхода и до Заката, холодный, какъ сверкающіе на солнцѣ льдистые океаны полярныхъ странъ, непоколебимый, какъ искристый лоснящійся гранитъ поднебесныхъ Андовъ, что небо разрываютъ на-двое, равнодушный, какъ застывшія бѣлѣма солнца, которое кружить по небу, не зная зачѣмъ, отчего...

— Херувимъ, пламенный братъ мой! Я съ Отцомъ моимъ призвалъ Тебя къ жизни, чтобъ и Ему и мнѣ не было ни начала, ни конца. Отступи на мгновенье, на одно мгновенье ока человѣка, что умираетъ и умирая стремится поймать послѣдній лучъ жизни. Пусть разверзнутся врата рая, гдѣ скрыли вы мои похищенные сокровища—только однажды, на одну вспышку зарницы, на одинъ проблескъ неуловимой молніи!..

— Ты не хочешь? Не хочешь, слѣпой прислужникъ Бога, не хочешь?...

Тутъ обезумѣвшій человѣкъ въ изступленіи отчаянья, кинулся на Херувима. А тотъ коснулся

мечомъ чела его, и человѣкъ палъ у ногъ его, какъ подкошенный снопъ зрѣлыхъ колосьевъ.

И Херувимъ снялъ огненный плащъ съ плечъ своихъ и прикрылъ имъ останки того, кто печати держалъ въ рукахъ своихъ и кровавый крестъ влекъ на плечахъ своихъ.

СТАНИСЛАВЪ ПШИБЫШЕВСКІЙ.



NEVERMORE.

изъ П. ВЕРЛЕНА.

Зачѣмъ ты вновь меня томишь, воспоминанье?..
Осенній день хранилъ печальное молчанье,
И воронъ несяся вдаль, и блѣдное сіянье
Ложилося на лѣса въ ихъ желтомъ одѣяньи.

Мы съ нею шли вдвоемъ. Плѣняли насъ мечты.
И были волоса у милой развиты,—
И звонкимъ голосомъ небесной чистоты
Она спросила вдругъ: „когда былъ счастливъ ты?“

На голосъ сладостный, на взоръ ея тревожный
Я молча отвѣчалъ съ улыбкой осторожной,
И руку бѣлую смиренно цѣловалъ.

— О первые цвѣты, какъ вы благоухали!
О голосъ ангельскій, какъ нѣжно ты звучалъ,
Когда уста ея признание лепетали!

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



Въ предутренней мглѣ.

Я поздно вернулся и легъ на постель...
За окнами глухо гудѣла мятель,
За окнами, скрытый предутренней мглой,
Раскинулся городъ, во снѣ, но живой.
Такъ странно, такъ жутко казалось мнѣ
Забыться предъ утромъ въ больномъ полуснѣ,
И чутко-тревоженъ былъ блѣдный мой сонъ,
И вдругъ мнѣ послышался медленный звонъ.
Ударъ раздавался и вновь замиралъ,
На цѣпь многоточій дробился хоралъ,
И каждая точка въ цѣпи звуковой
Надъ бездной скользила упругой волной.
И каждая точка въ пристанища норъ
Врывалась, какъ грозный, нещадный укоръ,
И, вновь поднимаясь въ беззвѣздную высь,
Взывала надменно: вставай и молись!
Слѣдя однозвучный и жуткій напѣвъ,
Смиривъ въ груди непонятный свой гнѣвъ,
Я скоро услышалъ какой-то другой
Напѣвъ, что вплетался межъ первымъ змѣей.
Онъ лился, какъ влага густого вина,
Смолистой струей изъ глубокаго дна,
И душу давилъ, какъ сѣдой потолокъ,
Угрюмый, холодный, чугунный гудокъ.
Вползая въ уюты больной нишеты,
Сгонялъ онъ налеты мгновенной мечты
И, вновь ускользя въ туманную вѣсь,
Твердилъ равнодушно: вставай и трудись!
И долго, обнявшись, двѣ дружныхъ волны
Скользили по высямъ ночной тишины,
Вѣщая во мглѣ, что насталъ, какъ всегда,
День рабской молитвы, нужды и труда.

А. КУРСИНСКИЙ.



ГЕНРИКЪ ИБСЕНЪ.

Изъ „БРАНДТА“.

Г. ИБСЕНА

Нѣтъ, объ иномъ я мечталъ. Я хотѣлъ
Церковь воздвигнуть такую,
Своды которой могли бъ охватить
Сънью свою не только
Вѣру, религію,—но и всю жизнь,
Все, что живетъ, существуетъ:
Будничный трудъ и воскресный покой,
Утра заботы, сны ночи,
Юности рѣзвость и старца печаль,
Все, чѣмъ быть бѣдной, богатой

Можетъ по праву людская душа!
Ключъ, что журчитъ подъ горою,
Тотъ водопадъ, что въ ущельѣ реветъ,
Бури рыданья, стонъ моря—
Все должно слиться въ могучій хоралъ
Съ пѣньемъ органа и паствы.—
Съ этимъ же зданіемъ впредь ничего
Обшаго я не имѣю.
Ложью своей лишь оно велико;
Воли достойное вашей
Жалкой и слабой паденьемъ грозить.
Всходы, ростки молодые
Душите вы развоеньемъ такимъ:
Шесть дней въ недѣлю приспущенъ
Стягъ благодатный Господень у васъ;
Въ воздухъ вѣтъ, стремится
Къ небу въ седьмой лишь!

Вѣрить же надобно всею душой!
Но назови ты мнѣ душу
Цѣльную здѣсь хоть одну? Укажи,
Кто не растратилъ бы лучшей
Части ея на житейскомъ пути,
Ощупью гдѣ пробирался?
Жадны къ утѣхамъ и чутки вы всѣ
Къ свисту фиגлярвъ житейскихъ,
Къ голосу жизни же глухи, и лишь
Въ мумію высушивъ душу,
Вы предъ ковчегомъ пускаетесь въ плясъ!
Кубокъ до дна опорожненъ,
Нѣтъ ни ума, ни здоровья—пора
Вѣрить, молиться, спасаться!
Только утративши Божескій ликъ,
Да и людское подобье,
Къ Богу стучитесь въ ворота клюкой,—
Рай для васъ лишь богадѣльня!
Вотъ и колеблется царство Его;
Можетъ ли на инвалидахъ
Строиться, зиждиться, крѣпнуть оно?
Иль намъ не сказано свыше,
Что лишь какъ дѣти—что значить: съ душой

Чистой и свѣжей, здоровой—
Царство Господне наслѣдуемъ мы,
Всѣ жъ ухищренья напрасны!
Братья и сестры, такъ станемъ дѣтьми,
Съ чистой душою и сердцемъ
Въ жизни великую Церковь войдемъ!

Нѣтъ у той Церкви предѣловъ, конца;
Полъ въ ней—зеленыя нивы,
Горы, долины, ручьи и моря,
Сводомъ же служить ей небо!
Только оно можетъ все охватить,
Что эта Церковь вмѣщаетъ.
Въ ней ты и долженъ всю жизнь провести,
Дѣло свое исполняя
Такъ, чтобъ въ гармоніи было оно
Съ общей симфоніей міра;
Будничный трудъ свой тогда продолжай,
Праздника онъ не нарушить.
Все эта Церковь, весь міръ—какъ кора
Дерева стволъ весь—обниметь,
Вѣру и жизнь воедино сольеть!
Съ духомъ закона и правды
Будничный день трудовой согласить,
Дѣло дневное—съ полетомъ
Духа въ надзвѣздныя выси небесъ;
Пляскъ царя предъ ковчегомъ,
Дѣтской игрѣ уподобить нашъ трудъ!..

Юныя, бодрія души. за мной!
Ваше дыханье живое
Пыль въ этомъ затхлоу углу да смететь!
Васъ поведу я къ побѣдѣ!
Рано иль поздно проснуться должны,
Стать благороднѣй и чище,
Цѣпь компромиссовъ порвать. Такъ скорѣй
Прочь изъ оковъ малодушья,
Тины раздвоенности! На врага
Смѣло ударьте всей силой,
Бейтесь съ нимъ—не на животь, а на смерть!
Ввысь по застывшимъ волнамъ ледниковъ,
Внизъ по долинамъ, селеньямъ,

Вдоль-поперекъ мы всю землю пройдемъ,
Петли, силки всѣ развяжемъ,
Выпустимъ души, попавшія въ плѣнъ,
Ихъ обновимъ и очистимъ,
Дряблости, лѣни сотремъ всѣ слѣды,
Будемъ воистину—люди,
Пастыри, стерты чеканъ обновимъ,
Въ храмъ превратимъ государство!

ПЕР. ГАНЗЕНЪ.



СЛУЖИТЕЛЮ МУЗЪ.

Свой хоръ завѣтный водятъ музы
Вдали отъ дольныхъ золь и бѣдъ.
Но ты родныя Сиракузы
Люби, какъ древле Архимедъ!

Когда бросаетъ ярость вѣтра
Въ лицо намъ вражьи знамена,—
Сломай свой циркуль геометра,
Прими; dospѣхъ на рамена!

И если врагъ пятой надменной
На грудь страны поникшей сталь,—
Забудь о таинствахъ вселенной,
Поспѣшно отточь кинжалъ!

Священны миги роковые,
Въ порывѣ гнѣва тайна есть,
И ликъ склоняетъ Уранія,
Когда встаетъ и кличетъ Местъ!

Пусть боги смотрятъ безучастно
На скорбь земли: ихъ вѣченъ вѣкъ!
Но только страстное прекрасно
Въ тебѣ, мгновенный человѣкъ!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Осенняя любовь.

Когда въ листьѣ сырой и ржавой
Рябины заалѣетъ гроздь,—
Когда палачъ рукой костлявой
Вобьетъ въ ладонь послѣдній гвоздь,—

Когда надъ рябью рѣкъ свинцовой,
Въ сырой и сѣрой высотѣ,
Предъ ликомъ родины суровой
Я закачаюсь на крестѣ,—

Тогда просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертныхъ слезъ,
И вижу: по рѣкѣ широкой
Ко мнѣ плыветъ въ челнѣ Христось.

Въ глазахъ—такія же надежды,
И то же рубище на Немъ,
И жалко смотреть изъ одежды
Ладонь, пробитая гвоздемъ.

Христось! Родной просторъ—печаленъ,
Изнемогаю на крестѣ.
И челнъ твой—будетъ ли причаленъ
Къ моей распятой высотѣ?

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



Столицъ міра.

Въ твоей толпѣ я духомъ не воскресъ,
И въ мигъ, когда все ярче, все капризнѣй
Горѣла мысль о брошенной отчизнѣ—
Я уходилъ къ могиламъ Père Lachaise.

Не все въ нихъ спитъ. И грохотъ митральезъ,
И голосъ пуль, гудѣвшихъ здѣсь на тризнѣ

Навстрѣчу тѣмъ, кто рвался къ новой жизни—
Для чуткаго донинѣ не исчезъ.

Не вѣрь тому, кто скажетъ торопливо:
„Имъ вѣкъ здѣсь спать—подъ этою стѣной“.
Зачѣмъ онъ самъ проходить стороной,
И смотреть вбокъ—и смотреть такъ пугливо?
Не вѣрь тому: убиты—да... но—живы!
И будетъ день: свершится судъ иной...

ЕВГ. ТАРАСОВЪ.



Всѣ кругомъ.

Страшное, грубое, липкое, грязное,
Жестко-тупое, всегда безобразное,
Медленно-рвущее, мелко-нечестное,
Скользкое, стыдное, низкое, тѣсное,
Явно-довольное, тайно блудливое,
Плоско-смѣшное и тошно трусливое,
Вязко, болотно и тинно застойное,
Жизни и смерти равно недостойное,
Рабское, хамское, гнойное, черное,
Изрѣдка сѣрое, въ сѣромъ упорное,
Вѣчно лежащее, дьявольски-косное,
Глупое, сохлое, сонное, злостное,
Трупно-холодное, жалко-ничтожное,
Непереносное, ложное, ложное!

Но жалобъ не надо; что радости въ плачѣ?
Мы знаемъ, мы знаемъ: все будетъ иначе.

З. ГИППІУСЪ.





Радуги.

Рокоты лирные,
Спектры созвучные,
Славятъ, отвѣтные,
Васъ, огnezвучныя
Струны всемірныя,
Васъ, семицвѣтныя
Арки эфирныя,
Ярко-просвѣтныя!
Рѣяній знаменья,
Вѣяній вѣстницы,
Райскаго камня
Легкія Лѣстницы,—
Васъ, нисхожденія
Отсвѣты блѣдные,
И восхожденія,
Двери побѣдныя!
Духа и брѣнія
Звенія брачныя,
Сны предваренія,
Сны огnezрачныя,—
Васъ, семицвѣтныя,
Духи завѣтные,

Радуги мирныя
Кольца обѣтныя!

Неба лазурнаго
Тонкія зарева,
Дымныя марева
Сумрака бурнаго
Влажнымъ горѣніемъ
Вы напояете;
Вы раствореніемъ
Свѣтлой прозрачности
Въ молнійной мрачности
Сладко сіяете.
Рая павлинами
Вы возлетаете;
Горы съ долинами
Вы сочетаете;
Вздохами таете
Въ горнихъ селеніяхъ,
Въ буйныхъ стремленіяхъ
Дольними чадами
Надъ водопадами
Вы расцвѣтаете.

О мимолетныя,
Души безплотныя,
Міръ улегчите вы,
Міръ научите вы,
Какъ растворяется
Тайна въ явленіи,
Какъ претворяется,
Тѣнь раздѣленія,
Какъ умиряется
Рознь семилучная,
Какъ оперяется
Жертва разлучная;
Какъ однозвучная
Вдругъ озаряется
Жизнь наша бѣдная;
Греза побѣдная
Высю неслѣженной

Въ ткани разръженной
Какъ воцаряется,
Какъ сиротливое
Ей увѣряется
Сердце тоскливое;
Какъ отворяется
Крыша тюремная;
Жажда надземная
Какъ одаряется!

Своды кристальные
Стройныхъ обителей,
Смѣлыхъ зиждителей,
Замыслы дальные,
Взоры чаруйте намъ,
Сердце врачуйте намъ,
Тайну повѣдайте
Солнца прекраснаго,
Заповѣдь яснаго
Сна заповѣдайте:
Какъ улыбается
Свѣтлость подъ тучами;
Какъ нагибается
Легкость надъ кручами,
Какъ упиваются
Свѣтами зыбкими,
Осіяваются
Цвѣта улыбками
Мглы окрыленные;
Какъ очищаются
Сумраки красками,
Какъ освѣщаются
Проливней плясками
Склоны зеленые.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



ТЪСЕНЪ МОЙ МІРЪ.

Тъсенъ мой міръ. Онъ замкнулся въ кольцо.
Вѣчность лишь изрѣдка блещетъ зарницами,
Время порывисто дуетъ въ лицо,
Годы несутся огромными птицами.

Клочья тумана вблизи... вдаль...
Быстро текутъ очертанья...
Лампу Психеи несущъ я въ рукѣ—
Синее пламя познания.

Въ безднахъ срывается новое дно.
Формы и мысли смѣсились...
Всѣ мы ужъ умерли гдѣ-то...давно...
Всѣ мы еще не родились...

МАКС. ВОЛОШИНЪ.



ЖЕНЩИНА НА ПЕРЕКРЕСТКѢ.

ИЗЪ Э. ВЕРХАРНА.

— Женщина въ черномъ!
Чего жъ тебѣ ждать,
День за днемъ, опять и опять,
Со взоромъ упорнымъ?

— Надежды черныя, какъ свора черныхъ псовъ,
Опять пролаяли на сумрачныя луны,
На луны черныя моихъ зрачковъ!
И груди вновь—восторженны и юны,
И ставятъ паруса, чтобъ мчаться въ черный рай!
Что за валгалла изступленныхъ фурий
Иль что за кони, вздыбленные бурей,
Мои уста и груди,—отвѣчай!

— Женщина въ черномъ!
Чего жъ тебѣ ждать,

Опять и опять,
Со взоромъ упорнымъ?

— Да! я вонзающая зубы!
Понявъ погибельность свою,
Какъ знакъ конца кладу я губы...
Я погибаю иль гублю!

Готова къ ласкамъ ежечасно,
Я блескомъ ихъ озарена.
Прохожій! я, какъ смерть, прекрасна
И всенародна, какъ она.

Ко мнѣ подходитъ каждый смѣло,
Желанья насыщаетъ онъ
На пышномъ катафалкѣ тѣла
При яркомъ свѣтѣ похоронъ.

Я всѣмъ даю мои томленья,
Я всѣхъ пьяню у входа въ храмъ.
Моей любви богохуленья —
Встаютъ, какъ факель, къ небесамъ!

Въ вѣкахъ я высью древней башней!
И люди у желѣзныхъ вратъ
Стучатся, покупая брашна,
Хоть, можетъ быть, тѣ брашна—ядъ.

Неотразимо упоенье
Моихъ ночей для душъ больныхъ:
Мое имъ сладко отвращенье
Къ ихъ ласкамъ и къ презрѣнью ихъ.

Да, такъ! вамъ сладко ненавидѣть
Во мнѣ—позоръ и ужасъ вашъ,
И вдругъ въ своей душѣ увидѣть
Мой черно-пурпурный миражъ!

— Женщина въ черномъ!
Чего жъ тебѣ ждать,
Опять и опять,
Со взоромъ упорнымъ?

— Вотъ солнце старое, сдаваясь передъ тьмой,
Бросаетъ золото дождемъ по мостовой,
И городъ тянется, змѣясь во мглѣ огнями

Домовъ и фонарей, куда влечетъ магнитъ
Предвѣчный: Женщина! И онъ вдали стоитъ
На горизонтѣ передъ вами!
И лаютъ вновь, какъ свора черныхъ псовъ,
Надежды черныя на сумрачныя луны,
На луны черныя моихъ зрачковъ!
И груди вновь—восторженны и юны,
И ставятъ паруса, чтобъ мчаться въ черный рай.
Все тѣло у меня не изъ огня ль и злата?
И не въ просторы ли набата
Я волоса мои кидаю,—отвѣчай!
Какой пожаръ, мечты какія
Меня влекутъ въ часы ночные
И здѣсь бросаютъ предъ тобой,
Царицей грозной и рабой?

— Женщина въ черномъ,
Со взоромъ упорнымъ,
Чего жъ тебѣ ждать,
Опять и опять?

— Я жду прихода рокового
Того, кто долженъ быть со мной!
Его безумія нѣмого
Ждетъ изступленный трепетъ мой.
Мое въ восторгѣ рвется тѣло
Къ рукамъ, сейчасъ пролившимъ кровь.
Какъ всѣ, и этотъ приметъ смѣло
Мою продажную любовь!
Да, я—соблазнъ непобѣдимый!
Такъ кто жъ сегодня мой любимый?

— Женщина въ черномъ,
Со взоромъ упорнымъ,
Кого жъ ты ждешь?

— Того, чей окровавленъ ножъ.

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.





Фридрих Ницше.

СЛАВА И ВѣЧНОСТЬ.

изъ діонисовыхъ дифирамбовъ.

I.

Какъ долго сидишь ты уже
на своемъ злополучіи?
Берегись! ты еще высидишь мнѣ
яйцо,
яйцо вѣсилиска
изъ твоего долгаго горя.

Чего пробирается Заратустра вдоль горы?—

Недовѣрчивый, покрытый нарывами, мрачный,
долго подстерегавшій—
но внезапно ставшій молніей,
свѣтлый, страшный ударъ

небу изъ бездны:

— у самой горы трясутся
внутренности....

Гдѣ ненависть и молнія
слились въ одно, проклятье—,
на горахъ живетъ теперь гнѣвъ Заратустры,
какъ грозовая туча, пробирается онъ своей дорогой.

Прячьтесь же, у кого есть послѣдняя кровля!

Забирайтесь въ постели, вы, нѣженки!

Громы гремятъ надъ сводами,
дрожать всѣ стѣны и балки,
сверкають молніи и сѣрно-желтыя истины—
Заратустра проклиняетъ...

2.

Эта монета, которою

платять всѣ,

слава—,

въ перчаткахъ дотрогиваюсь я до этой монеты,
съ отвращеніемъ бросаю я ее себѣ подъ ноги.

Кто хочетъ быть оплаченнымъ?

Продажные...

Кто продается, тотъ хватаетъ

жирными руками

эту всесвѣтную погремушку, славу!

Хочешь купить ихъ?

Они всѣ продажны.

Но предлагай много!

звени полнымъ кошелькомъ!

— иначе ты укрѣпишь ихъ,

иначе ты укрѣпишь ихъ добродѣтель...

Они всѣ добродѣтельны.

Слава и добродѣтель—это риѹмается.

Пока люди живутъ,

они платять за шумиху добродѣтели

шумихой славы—,

міръ живетъ этимъ шумомъ...

Передъ всѣми добродѣтельными
хочу я быть должникомъ,
хочусчитаться повиннымъ во всякомъ великомъ долгѣ!
Передъ всѣми рупорами славы
мое честолюбіе становится червемъ—,
въ средѣ такихъ людей мнѣ хочется
быть самымъ н и з м е н н ы мъ...

Эта монета, которою
платять всѣ,
слава—,
въ перчаткахъ дотрогиваюсь я до этой монеты,
съ отвращеніемъ бросаю я ее себѣ подъ ноги.

3.

Тише!—

О великомъ... я вижу великое!..
нужно молчать
или говорить возвышенной рѣчью:
говори возвышенной рѣчью, моя восхищенная
мудрость!

Я обращаю взоръ вверху—

тамъ волнуются моря свѣта:

— О, ночь, о, молчаніе, о, шумъ, подобный гробовой
тишинѣ!...

Я вижу знаменіе—,

изъ отдаленнѣйшихъ далей

приближается, медленно искрся, ко мнѣ созвѣздіе...

4.

Высшее свѣтило бытія!

Скрижаль вѣчныхъ изваяній!

Ты приходишь ко мнѣ?—

Чего никто не видѣлъ,

твоей нѣмой красоты,—

какъ? она не убѣгаетъ отъ моихъ взоровъ?—

Щить необходимости!

скрижаль вѣчныхъ изваяній!

—но вѣдь ты уже знаешь:

что ненавидять всѣ,

что только я люблю:

— что ты вѣчна,
— что ты необходима!—
Моя любовь возжигается
вѣчно лишь отъ необходимости.
Щить необходимости!
высшее свѣтило бытія!
— котораго не достигаетъ ни одно желаніе,
которого не оскверняетъ ни одно „нѣтъ“,
вѣчное „да“ бытія,
вѣчно я есмь твое „да“:
ибо я люблю тебя, о, вѣчность!..

ПЕР. Н. ПОЛИЛОВА.



Послѣдняя воля.

изъ діонисовыхъ дифирамбовъ.

Такъ умереть,
какъ видѣлъ я нѣкогда умирающимъ его—,
друга, который металъ божественно
молніи и взоры въ мою темную юность:
—своенравный и глубокій,
въ битвѣ пляшущій—,
среди воиновъ самый веселый,
среди побѣдителей самый тяжелый,
на своей судьбѣ стоящій судьбою,
твердый, разсудительный, предупредительный—:
дрожащій оттого, что онъ побѣдилъ,
ликующій оттого, что онъ побѣдилъ умирая—:
умирающій повелѣвая,
— а повелѣлъ онъ уничтожать...
Такъ умереть,
какъ нѣкогда видѣлъ я умирающимъ его:
побѣждающимъ, уничтожающимъ...

ПЕР. Н. ПОЛИЛОВА.



КРАСОТА.

изъ Ш. БОДЛЕРА.

Я—камень, и мечта; и я прекрасна, люди!
Нѣмой, какъ вещество, и вѣчной, какъ оно,
Ко мнѣ горитъ Поэтъ любовью. Но дано
Всѣмъ ушибиться вамъ въ свой часъ объ эти груди.

Какъ лебедь, бѣлая,—и съ сердцемъ изо льда,—
Я—Сфинксъ непонятый, царящій въ тверди синей.
Претитъ движеніе мнѣ перестроеніемъ линій.
И не смѣяться мнѣ, не плакать—никогда!

Что величая напечатлѣла древность
На памятникахъ славъ,—мой ликъ соединилъ.
И будетъ изучать меня Поэтовъ ревность.

Мой талисманъ двойной рабовъ моихъ плѣнилъ:
Преображенный міръ въ двухъ зеркалахъ
глубокихъ,—
Въ двухъ вѣчныхъ свѣтлостяхъ моихъ очей
широкихъ!

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



ОСЕНЬЮ.

Дерево стонетъ, въ саду моемъ дерево стонетъ.
Падаютъ листья и вѣтеръ ихъ гонитъ, вѣтеръ
усталый.

Холодно, жутко мнѣ. Сосны—какъ призраки злые.
Тучи надвинулись, словно большія сѣрыя скалы.
Тихо качаются старья-старья липы.
Въ черныхъ аллеяхъ—неясные скрипы, странные
шумы.

Боже! какъ пусто и хмуро въ саду моемъ бѣдномъ.
Все о несбыточномъ, все о безслѣдномъ позднія
думы.

Падаютъ листья, и гонить ихъ вѣтеръ печальный.
Счастье далекое пѣсней прощальной вѣтеръ
хоронить.

Мертвое счастье! Мое отсіявшее лѣто!
Гдѣ-то, въ тоскующемъ сумракѣ, гдѣ-то дерево
стонетъ.

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.



Послѣ битвы.

Воткнувъ копье, онъ сбросилъ шлемъ и легъ.
Курганъ былъ жесткій, выбитый. Кольчуга
Колола грудь, а спину полдень жегъ...
Осенней сухью жарко дуло съ юга.

И умеръ онъ. Окостенѣлъ, застылъ,
Припавъ къ землѣ тяжелой головою.
И вѣтеръ волосами шевелилъ,
Какъ ковылемъ, какъ мертвою травю.

И муравьи закопошились въ нихъ...
Но равнодушно все вокругъ молчало.
И далеко среди полей нагихъ
Копье, въ курганъ воткнутое, торчало.

ИВАНЪ БУНИНЪ.



Глубины никто не знает,—измѣряли мудрецы,
Опускали въ воду тяжесть, потеряли всѣ концы.

А и что жъ намъ вѣдать тайны—тѣхъ, кто хочетъ
тайну скрыть,
Втай-Рѣка не съ мудрецами,—хочетъ съ сердцемъ
говорить,
Прикатилась и вселилась въ полнозвучныя сердца,
Изъ глубокаго колодца, безъ начала и конца.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



Нежить.

Вотъ пришелъ Ярецъ (май) съ ясными днями,
поднялъ и слилъ яроводье (полая вода). Лили
дожди и пролились. Канули сиверы.

Съ тѣннымъ вѣтромъ изъ-за теплаго моря
комары прилетѣли.

И текутъ безуемно гульливия рѣки.

Гуляй, поколь воля!

Выгнана вербой въ поле скотина. Засѣяна
черная пашня.

А въ полѣ и въ лѣсу днемъ и ночью залива-
ются-свищутъ пѣвчія птицы; перелетныя, не обо-
шли, не забыли наши края.

Русь—сторона родимая. Жить она веселая.
Падаютъ бѣлой зарей большія Егорьевы росы. Рано
солнце играетъ.

Соловьиные дни.

Все оживаетъ, все пробудилось. Прогремѣлъ
первый громъ и земля очнулась.

Выглянули мовки (горныя русалки) съ крас-
ныхъ горъ и буяновъ(холмы) и стало не въ мочь въ
зимнихъ могилахъ.

Тихо вѣютъ горніе вѣтры. Жарко на солнцѣ.
Встала чуя-змѣя, вывивается, чувствуетъ снѣдь. Вы-
лѣзъ изъ-подъ коневой головы неприкаянный Не-
жить, навстрѣчу идетъ.

Гуляй, поколь воля!

Торна, бойка дорога.

Вотъ обогнулъ и бредеть—колыбаются си-
вые космы—толчетъ грязи по мху и болоту, хлеб-
нулъ болотной водицы, поле идетъ, другое идетъ...
неприкаянный Нежить, безъ души, безъ обличья.

То медвѣдемъ переступить, то утишится
тише тихой скотины, то перекинется въ кустъ, то
огнемъ прожигаетъ, то какъ старикъ сухоногій—
берегись!—исказнить: будетъ по жилочкѣ каждая
сутки выдергивать, то разудалымъ мальцомъ и
опять, какъ доска, пугало-пугаломъ.

Доли не чають и не терять—Нежитога доля.

Далѣе день. Вечерѣетъ.

Въ теплыхъ гнѣздахъ ладятъ укладываться
на ночь. Ночь обымаетъ.

Ночь загорѣлась.

Затянули въ буйвищахъ (кладбище) устаж-
ные пѣсни. Вѣетъ съ жалыниковъ (общія могилы)
медомъ и сыченой брагой.

Легкая лодка скользнула въ раkitникъ. Раз-
двинула кустъ Волосѣтка (домовина), пустилась
по полю ко двору—къ Домовому.

То любо тѣшиться!

Въ ночнинѣ кони въ полѣ кочуютъ, зоблютъ.

Сѣлъ Нежить въ мягкую траву, закатилъ
болотныя пялки и загукалъ Весну.

А на позовъ изъ бора отукаетъ Дивъ.

То любо тѣшиться!

Подливаетъ вода—колыхливая рѣчка подъ
наши ворота.

Разъяренилась пѣсня.

Чу!—умолкаетъ.

Тамъ встали въ кругъ, изогнулись, трогаютъ
землю—пусть провѣщаетъ Судина!—и волшанскіе
(волшебные) жеребья кинуты.

Слышитъ ярое сердце, похолодѣло... рѣзвый
рѣшительный жеребей выпалъ... и очи погубились...

Яромъ встали туманы, поникаетъ потокъ.
Пѣтуха не добудешься.

Дубъ разворачиваетъ свѣжіе листья.

Матерь-земля родить буйную зель (озимь).

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ.



ЗА РѢЧЬЮ.

Souvenir, souvenir, que me veux-tu?
Verlaine.

Подступаетъ предслезная дрожь,
Срывъ звенящаго голоса...

Чуть колышется спѣлая рожь,
Отдѣляется колосъ отъ колоса.

Манить въ тѣнь удлиненную стогъ
Сѣна слабо душистаго.
Изнемогъ. Подошелъ и прилегъ.
Барабанить кузничикъ неистово.

Подошла. И присѣла. И взоръ
Затѣнила рѣсницами,
Оглядѣвъ желтоватый узоръ,
Испещренный согбенными жнищами.

Вновь затворы опущенныхъ вѣждъ
Свѣтозарно раздвинула;
Взоромъ, полнымъ безплотныхъ надеждъ,
Отуманеннымъ взоромъ окинула.

Не колыхнется спѣлая рожь,
Колосъ ластится къ колосу...
Подступила предслезная дрожь,
Близокъ срывъ напряженного голоса...

В. ПЯСТЬ.



НОКТЮРНЪ.

Часть полночный... Мигъ неясный...
Скорбный сумракъ... Тишина...
Слабыхъ крыльевъ взмахъ напрасный,
Мысль—какъ колосъ безъ зерна!

Всю-то жизнь, какъ рабъ угрюмый,
Въ тайномъ темномъ рудникѣ
Пролагаю ходы,—трюмы,
Съ тяжкимъ молотомъ въ рукѣ...

Много въ мірѣ насъ стучало,
Роя узкій коридоръ,—
Мы не знаемъ, гдѣ начало
Въ лабиринтѣ нашихъ норъ...

Все то знанье, что отъ вѣка
Милліоны разныхъ рукъ,
Точно сердце человѣка,
Повторяли тотъ же стукъ:

Что въ тюрьмѣ своей гранитной
Бытія не оправдалъ,
Тотъ, чей молотъ стѣнобитный
Безъ упорства упавалъ!...

Вѣкъ идетъ—пройдутъ ихъ сотни,—
Подземелью края нѣтъ!
Только Смерть—нашъ День субботній,—
Блѣдность искры—весь нашъ свѣтъ!

ЮРГИСЬ БАЛТРУШАЙТИСЬ.



ВЕСЕННЕЕ.

На весеннемъ пути въ теремокъ
Перелетный вспорхнулъ вѣтерокъ,
Прозвенѣлъ золотой голосокъ.

Постояла она у крыльца,
Поискала дверного кольца,
И поднять не посмѣла лица.

И ушла въ синеватую даль,
Гдѣ дымились весенняя таль,
Гдѣ кружилась надъ лѣсомъ печаль.

Тамъ—въ березовомъ дальнемъ кругу—
Старикашка сгибалъ изъ березы дугу
И примѣтилъ ее на лугу.

Закричалъ и запрыгалъ на пнѣ:
— Ты, красавица, вѣрно—ко мнѣ!
— Стосковалась въ своей тишинѣ!

За корявые пальцы взялась,
Съ бороною зеленой сплелась
И съ туманомъ лѣснымъ поднялась.

Такъ тоскуютъ они объ одномъ.
Такъ летаютъ они вечеркомъ,
Такъ вѣнчалась весна съ колдуномъ.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.





СЛАВЯНСКОЕ ДРЕВО.

Корнями гнѣздится глубоко,
Вершиной восходить высоко,
Зеленяя вѣтви уводить въ лазурно-широкую даль.
Корнями гнѣздится глубоко въ землѣ,
Вершиной восходить къ высокой скалѣ,
Зеленяя вѣтви уводить широко въ безмѣрную
синюю даль.
Корнями гнѣздится глубоко въ землѣ, и въ без-
смертномъ подземномъ огнѣ,
Вершиной восходить высоко-высоко, теряясь свѣ-
тло въ вышинѣ,
Изумрудныя вѣтви въ расцвѣтѣ уводить въ бирю-
зовую вольную даль.
И знаетъ веселье,
И знаетъ печаль.

И отъ Моря до Моря раскинувъ свои ожерелья,
Колыбельно поеть надъ умомъ, и уводить мечтаніе
въ даль.

Дѣвически вспыхнетъ красивой калиной,
На кладбищѣ горькой зажжется рябиной,
Взнесется упорно, какъ дубъ вѣковой,
Качаясь и радуясь свисту мятели,
Растянется лапчатой зеленью ели,
Сосной перемолвится съ желтой совой.
Осиною тонкой, какъ духъ, затрепещетъ,
Березой засвѣтитъ, березой заблещетъ,

Серебряной ивой заплачетъ листвою.
Какъ тополь, какъ факель пахучій, возстанетъ,
Какъ липа іюльская умъ затуманить,
Шепнетъ звѣздоцвѣтно въ ночахъ, какъ сирень.
И яблонью цвѣтъ свой рассыплетъ по саду,
И вишеньемъ ластится къ дѣтскому взгляду,
Черемухой нѣжитъ душистую тѣнь.
Раскинетъ рѣзбу изумруднаго клена,
И долгою пѣсней зеленого звона
Чаруетъ дремотную лѣнь.

Въ вешней рощѣ, вдоль дорожки,
Ходитъ легкій вѣтерокъ.
На березѣ есть сережки,
На бѣлянѣ сладкій сокъ.

На березѣ бѣлоствольной
Бьются липкіе листки.
Надъ рѣкой весенней, вольной
Зыбко пляшутъ огоньки.

Надъ рѣкою, въ часъ разлива,
Духъ узывчивый бѣжитъ.
Ива, ива какъ красива,
Тонкими кружевомъ дрожить.

Слышенъ голосъ ивы гибкой,
Какъ русалочій напѣвъ,
Какъ протяжность сказки зыбкой,
Какъ улыбка водныхъ дѣвъ:—

Срѣжь одну изъ вѣтокъ стройныхъ,
Освяти мечтой Апрель,
И, какъ Лель, для безпокойныхъ,
Заиграй, запой въ свирѣль.

Не забудь, что возлѣ Древа
Есть кусты и есть цвѣтки,
Въ зыбѣ свирѣльнаго напѣва
Всѣ запутай огоньки.

Всѣ запутай, перепутай,
Нашъ Славянскій цвѣтъ воспой.
Будь пѣвучею минутой,
Будь веснянкой голубой.

И все растетъ зеленый звонъ,
И сонъ въ душѣ поетъ:—
У насъ въ поляхъ есть нѣжный ленъ,
И любь-трава цвѣтетъ.
У насъ есть папороть-цвѣтокъ,
И перелетъ-трава.
Небесно-радостный намекъ,
У насъ есть синій василекъ:
Вся нива имъ жива.
Есть подорожникъ, есть дрема,
Есть ландышъ, первоцвѣтъ.
И нѣтъ цвѣтовъ, гдѣ злость и тьма,
И мандрагоры нѣтъ.
Нѣтъ тяжкихъ кактусовъ, агавъ,
Цвѣтовъ, глядящихъ, какъ удавъ,
Кошмаровъ естества.
Но есть ромашекъ нѣжный свѣтъ,
И скадкихъ кашекъ есть расцвѣтъ,
И есть плакунъ-трава.

А нашъ плѣнительникъ долинъ,
Свѣтящій нѣжный нашъ жасминъ,
Не это ль красота?
А сну подобные цвѣты,
Что безъимянны, какъ мечты,
И странны, какъ мечта?

А нашихъ лилій водяныхъ,—
Какой восторгъ замѣнить ихъ?
Не нужно ничего.
И самыхъ пышныхъ орхидей
Я не возьму за сѣтъ стеблей
Вблизи древа моего.

Не все еще вымолвилъ голосъ свирѣли,
Но лишь не забудемъ, что круглый намъ годъ
Отъ ивы къ березѣ, отъ вишенья къ ели,
Зеленое Древо цвѣтеть.

И туча протянется, съ молніей, съ громомъ,
Какъ дьявольскій омутъ, какъ вѣдьмовскій сглазъ,
Но Древо есть теремъ, и этимъ хоромамъ
Нѣтъ гибели, вѣченъ ихъ часъ.

Свѣжительны бури, рожденье въ нихъ чуда,
Колодецъ, криница, коверъ-самолетъ.
И вѣчно намъ, вѣчно, какъ сонъ изумруда,
Славянское Древо цвѣтеть.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



ПЕТРОВЪ ДЕНЬ.

Дѣвушки русалочки, нынче нашъ послѣдній день!
Свѣтъ за лѣсомъ занимается, поблѣднѣли небеса,
Собираются съ дубинами мужики изъ деревень
На опушку у зеленого холодного овса.

Мы изъ рѣчки—на долину,
Изъ долины—по отвѣсу,
По березовому лѣсу—
На равнину,
На востокъ, на ранній свѣтъ,
На серебряный разсвѣтъ,
На овсы—
Вдоль по жемчугу по сизому росы!

Дѣвушки русалочки, звонко стало по лугамъ.
Забѣлѣла рѣчка въ сумракѣ, въ алѣющемъ пару.
Пнями пахнетъ лѣсъ березовый по откосамъ,
берегамъ,

Густъ и зеленъ онъ, кудрявый, по утру!

По утру вода тепла,
Холодна трава сѣдая—
А въ лѣсахъ она густая—
Да ужъ скоро соберутся изъ села!
Мы изъ рѣчки—на откосы,
На опушку—изъ березъ,
На бѣгу растреплемъ косы,
Упадемъ съ разбѣгу въ росы—
И до слезъ
Щекотать другъ друга будемъ,
Хохотать и, на зло людямъ,
Мять овесъ.

Дѣвушки русалочки, стойте, поглядите на разсвѣтъ!
Бѣлъ востокъ алѣетъ, ширится,—широко зарей
въ поляхъ.

Ни души-то нѣту, милая,—только ранній алый
свѣтъ,

Да холодный крупный жемчугъ на стебляхъ.

Мы, нагя,
Всѣмъ чужія,
На опушкѣ, на полянѣ,
Блѣдны, по поясъ въ пару...
Намъ пора, сестрицы, къ нянѣ,
Ко двору!
Жарко въ небѣ солнце божье
На Петровъ играетъ день;

До Ильи сулить бездожье,
Пыль, сухмень.
Ночью омутъ нашъ, сестрицы,
Темень, слѣпъ.
Ночью знойныя зарницы
Зарятъ хлѣбъ.

ИВАНЪ БУНИНЪ.



ЗАКЛИНАНЬЕ.

Расточитесь, духи непослушные,
Разомкнитесь, узы непокорныя,
Распадитесь, подземелья душныя,
Лягьте, вихри, жадные и черные.

Тайна есть, великая, запретная.
Есть обѣты—ихъ нельзя развязывать.
Человѣческая кровь—завѣтная,
Солнцу кровь не велѣно показывать.

Разломись Оно, проклятьемъ цѣльное!
Разлетайся, туча изступленная!
Бейся сердце, каждое,—отдѣльное,
Воскресай, душа освобожденная!

З. ГИППИУСЪ.





Сергѣй Ремизовъ.

Надъ колыбелью.

Наташѣ.

Засни, моя дѣточка милая!
Въ лѣсъ дремучій по камушкамъ мальчика-спальчика,
Накрѣпко за руки взявшись и птичекъ пугая,
Уйдемъ мы отсюда, уйдемъ навсегда.
Привѣтливо насъ повстрѣчаютъ красные маки,
Не станетъ царапать дикая роза въ колючкахъ,
Злую судьбу не прокаркнетъ птица-вѣщуныя,
И мимо на ступѣ промчится косматая вѣдьма,
Мимо мышиныя крылья просвишутъ Змія съ огнен-
ной пастью,
Мимо за медомъ-малиной Мишка пройдетъ
косолапый...

Они не такіе...

Не тронуть.

Засни, моя дѣточка милая!
Убѣгутъ далеко-далеко твои быстрые глазки...
Не морозъ—это солнышко ѣдетъ по зорямъ
шелковымъ,
Скрипятъ его золотыя, большія колеса...
Смотри-ка, сколько играетъ камней самоцвѣтныхъ!
Растворяетъ намъ дверку избушка на лапкахъ
куриныхъ,
На пяткахъ собачьихъ.
Рѣзное оконце въ красномъ пожарѣ..
Раскрылись желанныя губки,
Свѣтлое личико ангела краше.
Вѣютъ и грѣютъ тихія сказки...
Полночь крадется.
Темная темъ залегла по путямъ и дорогамъ.
Гдѣ-то въ трубѣ и за печкой
Вѣтеръ ворчливо мурлычетъ.
Вѣтеръ... ты меня не покинешь?
Дѣточка... милая...

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ.



КУПАЛЬСКІЕ ОГНИ.

Закатное солнце, прячась въ тучу, заскалило
зубы—брызнулъ дробный дождь. Притупилъ дождь
косу, прибилъ пыль по дорогѣ и закатился съ солн-
цемъ на ночной покой.

Коровы, положи хвостъ на спину, не мыча, про-
шли, не пыль—тучи мухъ провожали скотъ съ
поля домой.

На болотѣ болтали лягушки-квакушки.

И дикая кошка—желтая иволга—унесла на клю-
вѣ вечеръ за шумучій боръ, тамъ разорила гнѣздо
соловью, сѣла ночевать подъ черной смородиной.

Теплыми звѣздами опрокинулась надъ землею чарая купальская ночь.

Изъ тѣсныхъ могилъ, изъ темныхъ погребовъ встало Навье.

Плавали по полю воздушные кораблики; Кудеяръ разбойникъ стоялъ на кормѣ, помахивалъ краснымъ платочкомъ; катиди съ погостовъ погребальныя сани; сами ведра шли на рѣчку по воду; въ въ чашѣ разставлялись столы, убирались скатертями,—и гремѣлъ въ болотныхъ огняхъ Навій пиръ.

Криксы-вараксы скакали изъ-за крутыхъ горъ, лѣзли къ попу въ огородъ, оттяпали хвостъ попову кобелю, затесались въ малинникъ, тамъ подпалили хвостъ; игрались хвостомъ.

У развилистаго вяза растворялась земля, выходили изъ-подъ земли на свѣтъ посмотриѣть зарытые клады, и зарогныя три головы молодецкихъ и сто головъ воробыиныхъ и кобылья холка и кошачій пупокъ подмаргивали зеленымъ глазомъ,—плакались.

Бросилъ Чортъ свои кулички, скучно: небо заколочено досками, не звонитъ колокольчикъ,—пома-нулось рогатому погулять по купальской ночи, безъ него и ночь не въ ночь. Забралъ Чортъ своихъ чертятокъ, глянулъ на четыре стороны, да какъ гокнется объ земь, дымъ пошелъ коромысломъ, посыпались искры изъ глазъ.

И потянулись на чортовъ зовъ съ рѣчного дна късматыя русалки, приковылялъ дѣдъ Водяной, старый хрѣнъ кряхтѣлъ да осочимъ корневищемъ помахивалъ,—чтобъ ему пусто!

Выползла изъ-подъ дуба-сороковца, изъ-подъ яраго руна сама змѣя Скарапея, переваливаясь, поползла на своихъ гусиныхъ лапахъ, лютыя всѣ двѣнадцать головъ—пухотныя, рвотныя, блевотныя, тошнотныя, волдырныя и рябая и ясная катились мѣсяцемъ. Скликнула-возвала Скарапея своихъ змѣй-змѣенышей, и онѣ—домовыя, полевыя, луговыя, лозовыя, подтынныя, подрубежныя—съ-подъ калиноваго пня приползли изъ своихъ норъ.

Зачесалъ Чортъ затылокъ отъ удовольствія.

Тутъ прискакала на ступѣ Яга, встала Яга хороводницей,—и водили хороводъ не по-нашему.

— Гушъ-гушъ, хай-хай, обломи тебя обломъ!—отмахивался да плевалъ заплутавшійся въ лѣсу дядя Федоръ, неподтыканный мужикъ съ мухой въ носу.

А имъ и горя нѣтъ. Зашекотали до смерти подѣлкой косоглазую Аришку, втопили въ болото Рагулю — пошаталась!—ненарокомъ задавили зайченка.

Пошла заюшка собирать поддорожничъ: авось поможетъ.

Съ грѣхомъ пополамъ перевалило за полночь. Уцѣпились непутные, не пускаютъ ночь.

Она, купальская, колыхала теплыми звѣздами, лелѣяла.

И бродили по ней нагія бабы, — глазъ бѣлый, сѣрый, желтый, зобатый,—худыя думы, темныя рѣчи.

У Ивана-царевича въ высокомъ терему сидѣлъ въ гостяхъ попъ Иванъ,—судили-рядили, какъ русскому царству быть, говорили заклятскія слова; заткнувъ ладонь за семишелковый кушакъ, игралъ царевичъ насыпнымъ перстенькомъ, у Ивана-попа изъ-подъ ворота торчалъ козьею бородой чортовъ хвостъ.

— Приходи!—улыбался царевичъ.

А далекимъ-далеко гулкимъ походомъ гнался сѣрый Волкъ, несъ отъ Кощея живую воду и мертвую.

Доможиль-домовой толкалъ подѣ ледяшій бокъ, гладилъ Бабу-Ягу. Притрушанная папоротникомъ задрала ноги Яга,—привидѣлся ей на купальской зарѣ обрада—молодой сонъ.

Лѣшій краль дороги въ лѣсу да посвистывалъ,—тѣшилъ мохнатый свои совыи глаза.

За горами, за долами по синему камню бѣжитъ вода, тамъ въ дремливой лебедѣ сорока-щентуха загоралась жаръ-птицей.

По рѣкѣ тихой поплыней плывутъ двѣнадцать грѣшныхъ дѣвъ, бѣлѣй камень алатырь, что цвѣтъ, томно свѣтитъ въ ихъ тонкихъ перстахъ.

И восхикала лебедью алая Вытарашка, рас-
кинула крылья зарей,—не угнать ее въ черную печь,
—зоветь, неугасимая, горячую кровь, ретивое сер-
дце, истомленное купальскимъ огнемъ.

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ.



Пѣсня.

Горе-дерево шумѣло,
Безпросвѣтное росло.
Мимо птица-смерть летѣла,
На суку корявомъ сѣла
Клювомъ чистила крыло.

Подавись ты, судьба,
Жизнью краденой:
Ждутъ меня два столба
Съ перекладиной.

Занимался день ненастный,
Безутѣшно слезы лилъ.
Кто ты, плотничекъ злосчастный,
Горе-дерево срубилъ?

Подавись, ты, судьба,
Жизнью краденой,
Ждутъ меня два столба
Съ перекладиной.

Я искалъ душѣ простора:
Здравствуй вѣтеръ, здравствуй, братъ,

За моря лети, за горы,
Всѣмъ скажи, что воля скоро,
И быстрее мчись назадъ.

Подавись ты, судьба,
Жизнью краденой,
Ждутъ меня два столба
Съ перекладиной.

Что ты, звѣрь-палачъ, смѣешься?
Душегубецъ, начинай!
Вѣтеръ, вѣтеръ, какъ вернешься,
Приголубь и укачай.

Подавись ты, судьба,
Жизнью краденой,
Ждутъ меня два столба
Съ перекладиной.

Быть зимѣ, такъ быть и лѣту—
Мнѣ не первому висѣть,
Много мыкался по свѣту
И не даромъ пѣсню эту
Научился въ тюрьмахъ пѣть.

Подавись ты, судьба
Жизнью краденой,
Ждутъ меня два столба
Съ перекладиной.

АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ.





Сергей Городецкий.

ВСТРѢЧА.

Въ бѣлой рубахѣ
Изъ чаши зеленой
Ярила идетъ,
Опоенный
Красою и силой,
Волосомъ русый,
Щеки алѣе
Морковнаго сока.
И передъ Ярилой
Цвѣты зацвѣтають,
Веселыя птахи
Летають,
Ждутъ ворожеи,
Стелютъ убрusy,
Дышетъ глубоко,

Гудить, зачиная,
Земля яровая.

Въ алой рубахѣ
Сводами тучи
Стрѣлой золоченой
Мчится, несется
Перунъ
По краямъ освѣщенной,
Сіяющей кручи.
Воздухъ рвется,
Бьется боръ,
Гнутыя вѣтки.
Ухнулъ громъ,
Грохнулъ внизъ.
Скачетъ въ вихрь огнемъ
По цвѣтамъ зеленыхъ ризъ.
Стрѣлы блещутъ,
Блещетъ мѣткій
Острый взоръ.

Пер. — Кто ты? Здравствуй!

Яр. — Кто ты? Здравствуй!

Пер. — Сколько свадебъ?
Сколько битвъ?

Яр. — Нѣтъ любимыхъ,
Тѣмъ убитыхъ.

Пер. — Тамъ за лѣсомъ
Двадцать дѣвокъ
Расцвѣтало
Краше дня?

Яр. — Тамъ за лѣсомъ
Двадцать лодокъ
Улетало
Въ дымъ огня.

Пер. — Тамъ за лугомъ
Двадцать воевъ
Воевало
Для побѣдъ?

Яр. — Тамъ за лугомъ
Двадцать мертвыхъ
Упадало
Подъ разсвѣтъ.

Пер. — Тамъ за полемъ
Цѣлый городъ
Огороженъ
Для житья?

Яр. — Тамъ за полемъ
Черепами
Путь заложенъ
Отъ житья.

Пер. — Тамъ подальше
Бродить племя
Со стадами
За рѣкой?

Яр. — Тамъ подальше
Воетъ вѣтеръ
Надъ лугами
Горевой.

Пер. — Кто ты? Здравствуй!

Яр. — Кто ты? Здравствуй!

Пер. — Ты куда?

Яр. — Вонъ за тѣ луга поемные.
Ты куда?

Пер. — Вонъ за облаки тѣ темные.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



ДІАВОЛЪ.

Өедору Сологубу.

Я захотѣлъ—и міръ сіяеть:
Планеты, солнце и земля.
Но день седьмой пустой зіяеть,
Такъ воля волила моя.

Послушень Ягве исполнитель:
Онъ до предѣла сотворялъ,
Чтобы потомокъ отомститель
Оковъ отцовыхъ не сорвалъ;

Чтобъ, изнывая въ заточеньи
И задыхаясь въ красотѣ,
Свои творилъ бы сотворенья
На пресыщеніе пустотѣ.

Я неподвижность не нарушу
И съ высоты не снизойду,
Храня незыблемую душу
Въ моемъ невиданномъ аду.

Мелькнутъ вѣка. Озера станутъ,
Гдѣ воздымались хребты.
Погаснетъ солнце—не престанутъ
Служить мнѣ ангелы мечты.

И замѣню міры иными,
И снова имъ небытіе,
Зане надъ долами земными
Пребудетъ царствіе мое.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



ЗЕЛЕНАЯ.

Вся въ зеленомъ, а глаза такъ и зовутъ,

Такъ зовутъ,

Руки гибкія объятія плетутъ.

Вся какъ ива. А уста лобзанья ждуть,

Такъ и ждуть,

А рѣсницы очи карія гнетутъ.

Вся лѣсная. А глаза летятъ и жгутъ,

Такъ и жгутъ.

Брови-прутики поломаны вотъ тутъ.

Вся моя ли? Да, моя. И ноги гнутъ,

Такъ и гнутъ

На земь-мать, гдѣ травы сильныя растутъ.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



НА МАССОВКУ.

Лѣса вѣковые сосновые,

Луга зеленѣе зеленаго,

И неба, лазурью вспоенаго,

Края, засмѣяться готовые,

Нѣжно лиловые.

Стволы, побурѣвшіе въ лѣтахъ,

Гордые ржавыми латами,

И между стволами лохматыми,

Въ дальнихъ просвѣтахъ,

Вразбродъ

Рабочій народъ.

Шапки надвинуты, вскинуты
Лица вспотѣвшіе,
Всѣ одной радостью двинуты,
Всѣ восхотѣвшіе
Счастья свободного.
Міра негоднаго
Пути истлѣвшія
Скинуты.
Пестрыми массами
Движутся, движутся,
Густо на просѣки нижутся.
Въ городѣ дымномъ
Станками, машинами, кассами
Духъ искалѣченъ:
Въ трудѣ заунывномъ
Голодъ всегда обезпеченъ.

Рокотъ и грохотъ и яростный вой
Фабрики, потомъ и кровью живой,
Тамъ, за спиною.
Сердце зардѣлось
Весною.
Въ лѣса захотѣлось,
На волю,
Услышать про новую долю.

Гулко текутъ по оврагу
Моремъ шумливымъ,
Скованы алчнымъ порывомъ,
Снова и снова
Пьютъ заповѣдную брагу—
Воздуха, воли, лучей.
Слова, кипящаго слова,
Смѣлыхъ рѣчей!..
Смолкло. Надъ желтымъ обрывомъ
Ораторъ...

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.





Лѣшій.

Сосенъ красно-синихъ, сосенъ золотыхъ, изумрудныхъ, елокъ темно-голубыхъ хвойною трущобой длится синій строй.

Снизу—боръ могучій дышитъ тишиной. Въ бурю чуть отъ вѣтра дрогнетъ онъ и посыплетъ иглы, издавая стонъ.

Янтарею закаплетъ желтая смола.

Прошуршатъ гиганты—снова тишь и мгла.

Сверху—вѣщій вѣтеръ шепчетъ сны вѣтвямъ.

Эти сны верхушки шепчутъ облакамъ, шепчутъ, застывая въ синей вышинѣ.

Облака проходятъ, таютъ...

Какъ во снѣ, таютъ и проходятъ...

Словно сотни лѣтъ ничего иного не было и нѣтъ.

На глухой полянѣ подъ шатромъ лѣснымъ свѣтится болото зеркаломъ стальнымъ, непроглядной чащей сплошь окружено.

Въ сумерки ли, въ полдень—здѣсь всегда темно.

Здѣсь владыки бора, Лѣшаго, пріютъ.

По ночамъ онъ дремлетъ въ зыбкой тинѣ тутъ.

Старый, весь мохнатый, мягкій, какъ паукъ.

Вмѣсто ногъ—деревья, сучья—вмѣсто рукъ.

Спать ему привольно. До сырой земли сосны-великаны вѣтви заплели. Вмѣсто изголовья молодая ель разстилаетъ на ночь пышную постель. Бѣлыя кувшинки сны его хранятъ. Синія стрекозы сказки шелестятъ.

Но едва лишь солнца первый робкій взоръ золотомъ обрызнетъ заалѣвшій боръ, чуть зардѣютъ елки, млѣя и горя, и запышетъ томно сонная заря, —вскочитъ старый Лѣшій, двинется въ походъ.

По завѣтнымъ тропкамъ чашу обойдетъ.

Съ встрѣчнымъ звѣремъ, съ птицей водить разговоръ.

И владыкъ дружно отвѣчаетъ боръ. Клики, шепетанья, пѣсни, голоса. Мощно оживаютъ синіе лѣса.

Къ озеру выходить онъ въ полдневный зной. Въ озерѣ недвижимъ тѣхъ же елокъ строй, также отражаясь, дремлютъ тростники.

По песку криливо бродятъ кулики. Шустрая касатки рѣзвою семьей, взвизгивая, мчатся гладью водяной.

Вотъ прокаркалъ воронъ на сухой соснѣ. Ястребокъ пестряный крикнулъ въ вышинѣ. Бултыхнула рыба...

Тишина, просторъ, запахъ свѣжей тины, облака да боръ.

Только до опушки не доходитъ онъ. Тамъ рѣдѣетъ чаща. Тамъ со всѣхъ сторонъ неоглядной далью залегли луга. Тамъ студеной рѣчки вьются берега.

Въ ней другой владыка—старецъ Водяной.

Въ ней рѣчныя дѣвы тѣшатся игрой. Днемъ шалятъ русалки. Любо имъ одно: водоросли путать, убѣгать на дно, мелкую плотницу всплесками пугать, пестряя ракушки въ илѣ собирать.

А какъ ночь настанетъ,—чуть лишь надъ рѣкой задрожитъ, качаясь, мѣсяцъ голубой, лишь забрезжутъ звѣзды, и едва въ ночи заснутъ, какъ тѣни, легкіе сычи, водяныя дѣвы, вставъ изъ бѣлыхъ водъ, надъ росистымъ лугомъ водятъ хороводъ.

Комаринымъ пѣньемъ чуть звучить напѣвъ
зеленоволосыхъ серебристыхъ дѣвъ.

Сладко внемлютъ пѣснѣ сонные луга. Бѣлою
росою плачутъ берега. Лунное сіянье въ блескѣ
голубомъ отъ рѣки до неба сыплется столбомъ.
Шороху растущей млѣющей травы вторить, зами-
рая, оханье совы. И поютъ русалки, тянутся къ
лунѣ. Слушаетъ ихъ старецъ на глубокомъ днѣ.

Съ пѣньемъ вьются дѣвы. Между нихъ одна
всѣхъ подругъ прекраснѣй. Какъ туманъ блѣдна,
простираетъ руки, жалобно зоветъ.

Чу! раздался топотъ у туманныхъ водъ.

Тихо ѣдетъ витязь берегомъ ночнымъ. Голу-
быя тѣни тянутся за нимъ. Мнетъ сѣдые травы
конская нога.

Все луга да воды. Воды да луга.

Слѣзъ съ коня, взялъ гусли. Въ синей тишинѣ
золотые звуки полились къ лунѣ. Сладко плачутъ
струны...

Вотъ изъ-за кустовъ свѣтлая русалка на зве-
нящій зовъ выплыла несмѣло.

Руки заломивъ, залилась слезами...

Все нѣжнѣй призывъ, все нѣжнѣй дрожанье
трепетной струны, все свѣтлѣй сіянье дремлю-
щей луны.

Витязь ждетъ недвижно. Млѣютъ берега.

Все луга да воды. Воды да луга.

Вдругъ изъ темной чащи въ тишинѣ ночной
грянулъ дикій хохотъ, уханье да вой. Будить ста-
рый Лѣшій всю лѣсную дичь.

И владыкѣ гулко отвѣчаетъ кличъ. Загудѣли
сосны, оживаетъ мгла...

Съ смѣхомъ тяжкій филинъ мчится изъ дупла.
Внемя зычный посвистъ, плавно взвившись въ
высь, хохотомъ веселымъ совы залились. Рѣютъ,
извиваясь, быстры и мягки.

У корней, сверкая, пляшутъ огоньки. Скалясь,
волчьи пасти горестно поютъ. Имъ въ глуши ме-
двѣди голосъ подають. Гоготанье, клики, ревъ,
рыданья, вой сотней отголосковъ мчатся за рѣкой.

Внемя гуль тревожный, замерь богатырь.

Съ пискомъ надъ шелоомъ пролетѣлъ упырь,
въ ухо крикнулъ филинъ.

Съ дикимъ храпомъ вдругъ конь взвился. По-
мчался въ чашу черезъ лугъ.

Вотъ взвѣвая гривой, въ тростникахъ мелкнулъ.

Вотъ въ лѣсной опушкѣ съ ржаньемъ потонулъ.

Витязь вслѣдъ стремится. Конь въ лѣсу зар-
жалъ.

Горе! нѣтъ дороги,—старый слѣдъ пропалъ.
Черное болото стонетъ въ грозной тѣмѣ.

Гибнетъ смѣлый рыцарь въ тинистой тюрьмѣ.

Тамъ, гдѣ пропадали рѣчки берега, шли луга,
озера и опять луга. Не окинетъ дали соколиный
взоръ...

Море травъ цвѣтушихъ, рѣчекъ да озеръ.

Надъ лугами вьются, пляшутъ мотыльки, золо-
тыя пчелы, мошки и жуки.

По зарямъ съ зеркальныхъ свѣтлыхъ заводовъ
серебромъ играютъ трубы лебедей. Съ сумерекъ
до утра у сѣдыхъ ракитъ соловей безсонный сто-
нетъ и звенитъ.

Вотъ садится солнце огненнымъ щитомъ, и
сіяетъ небо заревымъ огнемъ, и курятся травы...

Изъ закатной мглы съ клеткомъ несутся
сизые орлы.

Вотъ шумятъ на отдыхъ журавлей стада.

Все луга да травы. Травы да вода.

Сосенъ красно-синихъ, желтыхъ, золотыхъ,
елокъ изумрудныхъ, елокъ голубыхъ вновь съ за-
рей зардѣлся безконечный строй.

Что жъ качаетъ Лѣшій хмурой головой? Что
не шлетъ онъ дятловъ ясный боръ будить, не зо-
ветъ кукушекъ по веснѣ грустить?

Сгубленъ имъ соперникъ, витязь молодой. Но
печаленъ Лѣшій. Пасмурный, больной, голову по-
вѣсилъ, нехотя идетъ въ топь и глушь лѣсную, въ
гущину болотъ. Не на радость старцу утренній
дозоръ...

Съ вечера въ трущобѣ все стучитъ топоръ.

БОРИСЪ САДОВСКОЙ.

ЧОРТОВЫ КАЧЕЛИ.

Въ тѣни косматой ели,
Надъ шумною рѣкой
Качаетъ чортъ качели
Мохнатою рукой.

Качаетъ и смѣется,
Впередъ,—назадъ,—
Впередъ,—назадъ,—
Доска скрипитъ и гнется,
О сукъ тяжелый трется
Натянутый канатъ.

Снуетъ съ протяжнымъ скрипомъ
Шатучая доска,
И чортъ хохочетъ съ хрипомъ,
Хватаясь за бока.

Держусь, томлюсь, качаюсь,
Впередъ,—назадъ,—
Впередъ,—назадъ,—
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
Отъ чорта томный взглядъ.

Надъ верхомъ темной ели
Хохочетъ голубой:
—Попался на качели,
Качайся,—чортъ съ тобой!

Въ тѣни косматой ели
Визжать, кружась гурьбой:
—Попался на качели,
Качайся, чортъ съ тобой!

Я знаю, чортъ не бросить
Стремительной доски,
Пока меня не скосить
Грозящій взмахъ руки,

Пока не перетрется
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мнѣ моя земля.

Взлечу я выше ели
И лбомъ о землю—трахъ!
Качай же, чортъ, качели,
Все выше,—выше,—ахъ!

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



ЧЕРЕЗЪ СТОЛѢТІЯ СТОЛѢТІЙ.

Камень. Бронза. Желѣзо. Холодная сталь.
Утро. Полдень звеняшій. Закатность. Печаль.

Солнце. Пьяные Солнцемъ. Ихъ спутанный фронтъ.
Камнемъ первый поверженъ былъ ницъ мастодонтъ.

Солнце. Воины Солнца и дѣти Луны.
Бронза въ бронзу. И смерть. И восторгъ тишины.

Солнце. Ржавчина Солнца. Убить и убить.
Воду ржавую пьютъ, и еще будутъ пить.

Солнце тонетъ въ крови. Мглою окована даль.
Камень былъ. Бронзы нѣтъ. Есть желѣзо и сталь.

Сталь поетъ. Умъ, узнавъ, неспособенъ забыть.
Воду мертвую пьютъ, и еще будутъ пить.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.





Кнутъ Гамсунъ.

Изъ „Пана“

КНУТА ГАМСУНА.

А листва все желтѣеть и желтѣеть, дѣло идетъ къ осени, еще больше звѣздъ появилось на небѣ, и мѣсяцъ теперь уже похожъ на серебряную тѣнь, погруженную въ золото. Вовсе не было холодно, ничуть, только въ лѣсу была прохладная тишина, и кипѣла жизнь. Каждое дерево стояло и думало. Ягоды поспѣли.

И вотъ наступило двадцать второе августа и съ нимъ три желѣзныхъ ночи.

Первая желѣзная ночь.

Въ десять часовъ заходитъ солнце. Полупрозрачный мракъ ложится на землю, показываются двѣ-три звѣзды, два часа спустя показывается серпъ

луны. Я брожу по лѣсу со своимъ ружьемъ и собакой, развожу огонекъ, и свѣтъ отъ моего костра проникаетъ въ глубь лѣса между стволами сосенъ. Мороза нѣтъ.

Первая желѣзная ночь, говорю я. И безумная жгучая радость какъ-то странно потрясаетъ меня всего, при мысли о времени и мѣстѣ...

Вы, люди, звѣри и птицы, я пью съ вами за уединенную ночь въ лѣсу! Пью за мракъ и шепотъ бога среди деревьевъ, за нѣжное, простое благозвучіе, слышимое мной въ молчаніи; за зеленую листву и за желтую листву!.. Пью за звукъ жизни, который я слышу; за собаку, которая съ фыркающей мордой въ травѣ нюхаетъ землю!

Съ бурной радостью пью за дикую кошку, которая вытянулась всѣмъ тѣломъ, высматриваетъ и готовится прыгнуть на воробья во мракъ, во мракъ!

Пью за кроткую тишину въ земномъ царствѣ, за звѣзды и за полумѣсяцъ, да и за нихъ, и за него!...

Я встаю и прислушиваюсь. Никто не слышитъ меня. Я снова сажусь.

Благодареніе за уединенную ночь, за горы, за мракъ и за шумъ моря, что шумитъ у меня въ сердцѣ! Благодареніе за жизнь, за дыханіе, за счастье жить ночью,—я благодарю за это отъ всего сердца! Послушай на востокъ и послушай на западъ, нѣтъ, послушай только! Это вѣчный Богъ. Это тишина, что шепчетъ мнѣ на ухо,—кипучая кровь великой природы, Богъ, пронизывающій міръ и меня. Я вижу блестящую нить паутины при свѣтѣ моего костра, я слышу плывущую по морю лодку, сѣверное сіяніе ползетъ вверхъ по небу на сѣверѣ. Клянусь своей бессмертной душой, о, какъ благодаренъ я и за то, что я здѣсь сижу!...

Тишина. Сосновая шишка глухо падаетъ на землю. Упала шишка! думаю я. Мѣсяцъ—высоко, огонь мигаетъ на полусгорѣвшихъ полѣньяхъ и вотъ-вотъ погаснетъ. И поздней ночью я бреду домой.

ПЕР. С. А. ПОЛЯКОВЪ.

НА ЗАРЬ.

На зарѣ охотникъ, опьяненъ лугами,
Дышитъ изумленно вечеромъ багрянымъ,
Восхищенный, вскрикнетъ вмѣстѣ съ журавлями
И опять упьется травнымъ океаномъ.

Входитъ, зачарованъ, въ сумракъ перелѣска...
Подъ ногой чуть слышно всхлипнуло болотце.
Медленно спустилась съ неба занавѣска,
Небо черплетъ звѣзды будто изъ колодца.

Поползли обрывки синяго тумана,
Сбоку сычъ пронесся медленно и косо,
Замерли громады облачнаго стана,
Лишь бадьи всемірной вертятся колеса.

Дали просіяли звѣздной паутиной—
Кружево алмазовъ въ почернѣвшемъ небѣ.
Опьяненъ охотникъ вѣчною картиной,
Позабылъ о людяхъ, позабылъ о хлѣбѣ.

БОРИСЪ САДОВСКОЙ.



КИММЕРІЙСКІЯ СУМЕРКИ.

I.

Стариннымъ золотомъ и желчью напитальъ
Вечерній свѣтъ холмы. Зардѣли, красны, буры,
Клоки косматыхъ травъ, какъ пряди рыжей шкуры;
Въ огнѣ кустарники, и воды—какъ металлъ.

А груды валуновъ и глыбы голыхъ скалъ
Въ размытыхъ впадинахъ загадочны и хмуры,

Въ крылатыхъ сумеркахъ шевелятся фигуры:
Вотъ лапа тяжкая, вотъ челюсти оскаль;

Вотъ холмъ сомнительный, подобный вздутымъ
ребрамъ...

Чей согнутый хребетъ поросъ, какъ шерстью,
чобромъ?

Кто этихъ мѣстъ жилецъ: чудовище? титанъ?

Здѣсь жутко въ тѣснотѣ... А тамъ просторъ...
свобода...

Тамъ дышитъ тяжело усталый океанъ

И вѣетъ запахомъ гнѣющихъ травъ и юда.

II.

Здѣсь былъ священный лѣсъ. Божественный гонецъ

Ногой крылатою касался сихъ прогалинь...

На мѣстѣ городовъ ни камней, ни развалинь...

По склонамъ выжженнымъ ползутъ стада овецъ.

Какъ четки выси горъ! Зубчатый ихъ вѣнецъ

Въ зеленыхъ сумеркахъ таинственно-печаленъ.

Чьей древней тоской мой вѣщій духъ ужаленъ?

Кто знаетъ путь боговъ: начало и конецъ?

Размытыхъ осыпей, какъ прежде, звонки щебни;

И море скорбное, вздымая тяжело гребни,

Кипитъ по отмелямъ гудящихъ береговъ.

И ночи звѣздныя въ слезахъ проходятъ мимо...

И лики темные отверженныхъ боговъ

Глядятъ и требуютъ... зовутъ неотвратно...

III.

Надъ темной рябью водъ встаетъ изъ глубины

Тяжелый кряжъ земли: хребты скалистыхъ гребней,

Обрывы черные, потоки красныхъ щебней—

Предѣлы скорбные безжизненной страны.

Я вижу грустные, торжественные сны:

Заливы гулкіе земли глухой и древней,

Гдѣ въ позднихъ сумеркахъ грустнѣе и напѣвнѣй

Звучать пустынные гекзаметры волны.

И парусъ въ темнотѣ, скользя по бездорожью,
Трепещетъ древнею таинственною дрожью
Вѣтровъ тоскующихъ и дышащихъ зыбей.

Путемъ назначеннымъ дерзання и возмездья
Стремить мою ладью чужая дрожь морей
И въ небѣ теплятся лампы Семизвѣзды.

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ.



Конь блѣдъ.

I.

Улица была—какъ буря. Толпы проходили,
Словно ихъ преслѣдовалъ неотвратимый Рокъ.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Быль неисчерпаемъ яростный людской потокъ.

Вывѣски, вертясь, сверкали перемѣннымъ окомъ,
Съ неба, съ страшной высоты тридцатыхъ этажей;
Въ гордый гимнъ сливались съ рокотомъ колесъ
и скокомъ

Выкрики газетчиковъ и шелканье бичей.

Лили свѣтъ безжалостный прикованныя луны,
Луны, сотворенныя владыками естествъ.
Въ этомъ свѣтѣ, въ этомъ гулѣ—души были юны,
Души опьянявшихъ, пьяныхъ городомъ существъ.

II.

И внезапно—въ эту бурю, въ этотъ адскій шепотъ,
Въ этотъ, воплотившійся въ земныя формы бредъ,
Ворвался, вонзился чуждый несозвучный топотъ,
Заглушая гулы, говоръ, грохоты каретъ.

Показался съ поворота всадникъ огнеликій,
Конь летѣлъ стремительно и сталъ съ огнемъ
въ глазахъ.

Въ воздухѣ еще дрожали—отголоски, крики,
Но мгновенье было—трепетъ, взоры были—страхъ!

Былъ у всадника въ рукахъ развитый длинный
свитокъ,

Огненные буквы возвѣщали имя: Смерть...
Полосами яркими, какъ пряжей пышныхъ нитокъ,
Въ высотѣ надъ улицей вдругъ разгорѣлась твердь.

III.

И въ великомъ ужасѣ, скрывая лица,—люди
То бессмысленно зывали: „Горе! съ нами Богъ!“
То, упавъ на мостовую, бились въ общей грудѣ...
Звѣри морды прятали, въ смятеньи, между ногъ.

Только женщина, пришедшая сюда для сбыта
Красоты своей,—въ восторгѣ бросилась къ коню,
Плача цѣловала лошадиныя копыта!
Руки простирала къ огневѣющему дню.

Да еще безумный, убѣжавшій изъ больницы,
Выскочилъ, растерзанный, пронзительно крича:
„Люди! Вы ль не узнаете Божіей десницы!
Сгинетъ четверть васъ—отъ мора, глада, и меча!“

IV.

Но восторгъ и ужасъ длились—краткое мгновенье.
Черезъ мигъ въ толпѣ смятенной не стоялъ никто:
Набѣжало съ улицъ смежныхъ новое движенье,
Было все обычнымъ свѣтомъ ярко залито.

И никто не могъ отвѣтить, въ бурѣ многошумной,
Было ль то видѣнье свыше или сонъ пустой.
Только женщина изъ залъ веселья, да безумный
Все стремили руки за исчезнувшей мечтой.

Но и ихъ рѣшительно людскія волны смыли,
Какъ слова ненужныя изъ позабытыхъ строкъ.
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили,
Былъ неисчерпаемъ яростный, людской потокъ.

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.





Эмиль ВЕРХАРНЪ.

ВОЗСТАНИЕ

ИЗЪ Э. ВЕРХАРНА.

Улица, быстрымъ потокомъ шаговъ,
Плечъ, и рукъ, и головъ,
Катится, въ яростномъ шумѣ,
Къ мигу безумій,
Но вмѣстѣ—
Къ свершеньямъ, къ надеждамъ и къ мести!
Улица грозная, улица красная,
Властная,
Въ золотѣ пышномъ заката,
Въ заревѣ яркомъ, окрасившемъ твердь.

Вся смерть
Встала въ призывахъ набата.
Вся смерть,
Какъ ожившія дико мечты,
Встала въ огняхъ и неистовыхъ крикахъ!
Головы чьи-то на пикахъ—
Словно на стебляхъ цвѣты.

Гулы глухія орудій
(Кашель чугунный безжалостныхъ грудей)
Мѣрятъ печальные вздохи минутъ.
Циферблаты разбиты на башняхъ высокихъ,
Не льется на площади ровный ихъ свѣтъ
(Словно очи столицы смежили рѣсницы);
Времени болѣе нѣтъ
Для сердець опьяненныхъ, жестокихъ,
Для толпы, сверщающей судъ!

Ярость великая, съ пламеннымъ ликомъ,
Съ радостнымъ крикомъ,
Съ кровью бушующей въ жилахъ,
Встала на грудѣ камней,
Все она можетъ! все она въ силахъ!
Одно лишь мгновенье
Дастъ болѣе ей,
Чѣмъ цѣлыхъ вѣковъ тяготѣнье.

Все, что мечталось когда-то,
Что гени, въ пѣснѣ крылатой,
Провидѣли въ темной дали,
Что въ душѣ, какъ сѣвъ, западало,
Чѣмъ души, какъ травы, цвѣли,
Все встало,
Въ мигъ, смѣшавшемъ какъ сплавъ:
Ненависть, силу, сознаніе правъ!

Люди празднуютъ праздникъ кровавый,
Люди проходятъ и красны, и пьяны,
Люди проходятъ по мертвымъ тѣламъ.
Солдаты не знаютъ, кто правый, не правый,
Стучать какъ всегда барабаны,
Но пальцы устали касаться къ куркамъ.
Толпы народа проходятъ за толпами слѣдомъ
Сквозь ужасъ, подъ сѣнью веселыхъ знаменъ,
Къ началу новыхъ временъ,
Къ побѣдамъ.

Убивая,—творить, обновлять!
Съ ненасытной природой вонзая
Зубы въ святую мишень!
Въ великій безуміемъ день

Пряжу для жизни ликующей прясть
Иль жертвой строительной пасты!
Умирая,—творить, обновлять!
Горять мосты и строенья,
(Фасады изъ крови на фонѣ ночномъ),
И въ глуби каналовъ дрожать отраженья—
На самое дно уходящимъ столбомъ!
Громадныя тѣни большихъ колоколенъ
Лежать, какъ преграды, по свѣтлой землѣ.
Огонь надъ домами, и весель и воленъ,
Кидаеть пригоршнями искры во мглѣ,
И черные дымы извивомъ могучимъ
Летять, внѣ себя, къ окровавленнымъ тучамъ.
Чу! залпъ!

Смерть, машинально беря на прицѣлъ,
Трескомъ сухимъ разряжаемыхъ ружей
Валить въ кровавыя лужи
Груды причудливо скорченныхъ тѣлъ.
Свинецъ разрѣшаетъ упорныя споры;
Въ небо, предъ смертью, вонзаются взоры;
Отблескъ пожара на лица ихъ всѣхъ
Бросаетъ чудовищный смѣхъ.

Торопясь, задыхаясь, вызываетъ набать
(Такъ сердца перебоемъ стучать),
Но часто настойчивый звукъ,
Какъ голосъ пресѣкшійся вдругъ,
Безсильно смолкаетъ,
И десятокъ пылающихъ рукъ
Кресты колокольны ласкаетъ.

Чу! залпъ!

Толпа—передъ входами сумрачныхъ мѣрій,
Державшихъ весь городъ подъ тяжелой пятой,
Давившихъ порывы къ мечтѣ золотой,
Качаетъ, ломаетъ тяжелыя двери;
Засовы трещать, и взлетаютъ замки;
Отдають изъ утробъ сундуки
Расчетныя книги, счета и бумаги;
Ихъ факелы лижутъ своимъ языкомъ,—
И помнять о черномъ быломъ

Лишь черного дыма зигзаги!
Взвились надъ балконами красные флаги,
И, падая, кто-то руками раскинулъ въ простран-
ствѣ пустомъ!

Своеволие и буйство вездѣ.
Христось, въ полумракѣ церковей,
Сорванный кѣмъ то съ распятя,
Повисъ на послѣднемъ гвоздѣ,
Простирая безсильно объятя.
Лужами разлить елей;
Кѣмъ-то разбиты спокойныя стекла иконъ;
Поль убѣленъ
Снѣгомъ причастья,
И по нимъ проложили не мало дорогъ
Слѣды святотатственныхъ ногъ.

Самоцвѣтные камни убійствъ и возмездій
Горятъ, словно взоры далекихъ созвѣздій.
Городъ сверкаетъ,
Какъ исполинъ золотой, облеченный въ багрецъ!
Городъ во мглу простираетъ
Свой, опоясанный пламенемъ яркимъ, вѣнецъ!
Поля и селенья, безмолвно простерты,
Слѣдятъ, не рѣшаясь дышать,
Какъ нѣкто во глуби громадной реторты
Жизнь и безуміе хочетъ смѣшать,
Какъ дымъ, подымаясь изъ бури народной,
Мететь небосводъ безотвѣтно-холодный.

Убивая, твори, обновляй,
Иль пади и умри!
Открой или руки о двери сломай,—
Ты искра въ сіяньи встающей зари!
И что бы судьба ни судила,—
Сквозь сонмы вѣковъ насъ влечетъ,
Спѣша, задыхаясь, безвѣстная Сила
Впередъ!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Ноябрь.

изъ Э. ВЕРХАРНА.

Большія дороги лучатся крестами
Въ безконечность между лѣсами.
Большія дороги лучатся крестами длинными
Въ безконечность между равнинами.
Большія дороги скрестились въ излучины
Въ дали холодной,
Гдѣ вѣтеръ измученный,
Сыростью вѣя,
Ходить и плачетъ по голымъ аллеямъ.
Деревья, шатаясь, идутъ по равнинамъ,
Въ вѣтвяхъ облетѣвшихъ нависъ ураганъ.
Плывучая выюга гудитъ, какъ органъ.
Деревья сплѣтаются въ шествіяхъ длинныхъ.
На сѣверъ уходятъ процессіи ихъ...
О эти дни „Всѣхъ Святыхъ“,
„Всѣхъ мертвыхъ“...
Вотъ онъ — ноябрь сидитъ у огня,
Грѣя худые и синіе пальцы.
О, эти души, такъ ждавшія дня!
О, эти вѣтры скитальцы!
Бьются объ стѣны, кружатъ у огня.
Съ вѣтокъ срываютъ убранство
И улетають, звеня и стеля,
Въ мглу, въ безконечность, въ пространство.
Деревья... мертвые..
Всѣ въ памяти сплелись.
Какъ звенья въ пѣньи,
Въ вѣчномъ повтореньи
Ряды именъ жужжатъ въ богослуженьи.
Деревья въ цѣпи длинныя сплелись.
Кружатся, кружатся,
Вѣрны проклятью,
Руки съ мольбою
Во тмѣ поднялись:
О, эти вѣтви, простертыя въ высь
Богъ вѣсть къ какому Распятью.

Вотъ онъ, ноябрь, въ дождливой одеждѣ
Въ страхѣ забился въ углу у огня.
Робко глядитъ онъ, а въ полѣ какъ прежде—
Вѣтры... деревья... звеня и стена
Въ сумракѣ тускломъ, сыромъ и дождливомъ
Кружатся, вьются, несутся по нивамъ.
Вѣтры и деревья... мертвые... святые...
Кружатся и кружатся цѣпью безнадежною.
Въ вечерахъ, подернутыхъ сѣрой мглою снѣжною.
Вѣтры и деревья... мертвые... святые...
И ноябрь дрожащими руками
Зажигаетъ лампу зимнихъ вечеровъ
И смягчить пытается слезами
Ровный ходъ безжалостныхъ часовъ.
А въ поляхъ все то же:
Мракъ все тяжелѣе...
Мертвые... деревья...
Вѣтеръ... и туманъ...
И идутъ на сѣверъ длинныя аллеи.
И въ вѣтвяхъ безумныхъ виснеть ураганъ.
Сѣрыя дороги вдаль ушли крестами,
Въ безконечность тусклыхъ
Дремлющихъ полей...
Сѣрыя дороги и лучи аллеи
По полямъ, по скатамъ ...вдаль... между лѣсами...

МАКСИМИЛІАНЪ ВОЛОШИНЪ.





НОВЕЛЛА.

ОЛА ГАНСОНЪ.

Быль уже ноябрь, деревья обнажились, и листья, мокрые и грязные, гнили на землѣ. Паркъ былъ безлюдень въ это время года; мой другъ и я, одинокіе, молча бродили мы по извилистымъ дорожкамъ. Влажный туманъ поздней осени тяжело повисъ въ вѣтвяхъ, точно самъ сѣрый воздухъ осѣдалъ и грузно ложился на тонкую сѣть изъ вѣтокъ, и сырость сгушалась въ капли, что росли и росли, отрывались и падали. Было къ вечеру, въ тотъ поздній часъ, когда близятся сумерки. Иногда мы останавливались; вокругъ насъ было сыро и тихо; гдѣ-то вдали рѣзкій свистокъ локомотива пронзилъ тишину, и вскорѣ послѣ него крикъ ребенка, пронзительный, одинокій, какъ огненная струя ракеты, которая взвивается въ воздухъ, замедляетъ свой полетъ, останавливается и гаснетъ; и безмолвіе и сѣрое пространство снова сомкнулись надъ раной, и само это безмолвіе какъ-бы сгушалось въ эти капли, что падали и падали, одна за другою, то злѣсь то тамъ, крупныя и тяжелыя.

Мы вышли на тянувшийся вдоль опушки парка валъ, съ далекимъ и пустыннымъ видомъ на равнину и море. На одномъ изъ поворотовъ онъ расширился въ круглую открытую площадку, и мы вдругъ увидѣли женскую фигуру, въ мягкихъ очертаніяхъ, четко выступавшую на сѣромъ фонѣ, высокую и стройную, неподвижную и одинокую, въ этой онѣмѣлой и сумрачной ноябрьской обстановкѣ. Когда мы проходили мимо, она обернулась, и на этомъ лицѣ, въ складкахъ вокругъ рта и во взглядѣ темносинихъ глазъ лежалъ отпечатокъ той же сумрачной, мучительной скорби, что сквозила и въ поздней осени вокругъ насъ. На поворотѣ аллеи я оглянулся назадъ: женщина продолжала стоять все въ томъ же положеніи, неподвижная, одинокая, выдѣляясь въ сѣромъ воздухѣ,—какъ тоскливый призракъ поздней осени, какъ само воплощеніе сумерекъ.

Мой спутникъ началъ рассказывать эпизодъ изъ своей жизни; онъ смотрѣлъ прямо передъ собой, съ разсѣянной улыбкой, и говорилъ тихимъ голосомъ, точно обращался не ко мнѣ, но точно зрѣлище поздней осени и лѣтнія воспоминанія наполнили его такимъ избыткомъ волненія, что оно не вмѣщалось въ его душѣ и переливалось въ слова, безрадостно-тяжелыя, какъ одинокое въ безмолвіи паденіе капельъ вокругъ насъ.

„Въ это мгновеніе я вижу одинъ женскій ликъ такъ отчетливо, какъ никогда не видѣлъ его послѣ того часа, когда онъ былъ предо мною въ дѣйствительности. Я не знаю, кто она была, я не знаю, какъ ее звали, и мы никогда не обмѣнялись ни единымъ словомъ; и все же это существо цѣлое лѣто занимало всѣ мои мысли и всѣ мои чувства,—то единственное, что было жизнью для меня. Когда въ мои одинокіе часы—а я только ихъ и переживаю теперь—когда я перебираю мою ушедшую жизнь и мои промелькнувшія переживанія, складаваю и раскладываю—ты понимаешь, чтó я хочу сказать, вѣдь это почти то же, что приводить въ порядокъ старыя письма и вещи на память,—когда

я дѣлаю это, то далекіе два мѣсяца образуютъ одно цѣлое. и, открывая конвертъ съ этимъ числомъ, я ничего не нахожу въ немъ, кромѣ единственнаго портрета неизвѣстной и безымянной женщины, которая все же была такъ бесконечно близка моей душѣ, какъ ни одна изъ всѣхъ тѣхъ, въ чьей близости я жилъ изо дня въ день въ теченіе долгихъ лѣтъ. И если бы я не встрѣтился съ нею, можетъ быть, эти два мѣсяца были бы какъ-бы вычеркнуты изъ моей жизни, точно ихъ никогда и не было; а теперь вотъ я возвращаюсь къ этому воспоминанію, какъ къ завѣтнѣйшему благу въ этой жизни, что мелькнуло и ушло.

Я впервые увидѣлъ ее два года тому назадъ, когда я скрылся въ Г., чтобы купаться, отдохнуть и помолодѣть на лѣтнемъ солнцѣ и морскомъ воздухѣ. Былъ сырой день съ влажнымъ темносинимъ небомъ въ черныхъ тяжелыхъ облакахъ, низко носившихся съ вѣтромъ надъ проливомъ и городомъ,—и солнечный свѣтъ чередовался съ лилнємъ. Къ вечеру стало совершенно тихо, былъ лучезарный закатъ, и, когда я вышелъ на моль, стояла холодная тишина, полная душистыхъ испареній, которыя вызвали дождь изъ зелени и цвѣтовъ; и въ воздухѣ и въ водѣ сверкали яркія краски, ставшія еще рѣзже отъ сырости,—дремотное ликование запаха и красокъ, какое, какъ тебѣ извѣстно, бываетъ въ подобные юньскіе вечера. Какъ ты еще помнишь, недалеко на набережной имѣется расширение, и отъ него, вдоль каменной стѣны, спускается лѣстница на открытую мощеную площадь съ грудями камней, которой городскіе жители дали сентиментальное названіе „Мыса Вздоховъ“, и гдѣ склонная къ тихому мечтанію и дремотѣ молодежь обыкновенно сидитъ въ лѣтніе вечера, убаюкивая свои чувства плескомъ волнъ и охлаждая ихъ соленымъ вѣтеркомъ. Тамъ оказалось много народа. Я присѣлъ на одномъ изъ камней; всѣ молчали; и только, то здѣсь, то тамъ, слышались отдѣльныя тихія слова, которыя какъ-бы возникали изъ общаго настроенія, не ожидая

и не получая никакого отвѣта; и, казалось, каждый сидѣлъ, чтобы думать свое, и никто не рѣшался развлекать другого какимъ-нибудь пошлымъ, будничнымъ разговоромъ. Я сидѣлъ тамъ уже давно, какъ, повернувъ голову, увидѣлъ вдругъ пару глазъ, устремленныхъ на меня. Вначалѣ я ничего не видѣлъ, кромѣ этихъ двухъ глазъ, и не только мой взглядъ, но и все мое существо было захвачено и сковано вдругъ, и меня какъ-бы тянуло и влекло, что-то какъ-бы склоняло меня впередъ, и я со всѣми моими чувствами и мыслями жилъ въ глубинѣ этихъ глазъ. Когда же это прошло, и я снова пришелъ въ себя, и вернулась мысль и разсуждающій взглядъ, то я думалъ только о глазахъ на этомъ женскомъ лицѣ передо мною. Они были темносѣрые, съ почти неестественно расширенными зрачками, точно отъ безпомощно вопрошающаго страха, а въ выраженіи взгляда было нѣчто неопредѣленное, чему я не зналъ имени и чего я никогда не могъ выразить словомъ, но что я теперь снова узнаю, когда вижу эти обнаженные деревья, и этотъ туманный воздухъ и эту одинокую женщину, и слышу, какъ, одна за другой, падаютъ эти крупныя, тяжелыя, одинокія капли... И по мѣрѣ того, какъ мой собственный взглядъ освобождался, я сталъ различать, что у нея маленькая голова и хрупкое тѣло, черное платье и блѣдное лицо, которому линіи вокругъ короткой верхней губы придавали оттѣнокъ унынія. Она была какъ тонкій бѣлый цвѣтокъ, раскрывающій свою болѣзненную красоту на осеннемъ солнцѣ, среди умирающей природы. Я еще не знаю, какъ долго мы сидѣли тамъ, другъ передъ другомъ, устремивъ глаза въ глаза, потому что въ подобныя мгновенія мы теряемъ связь со всѣмъ окружающимъ, и время, какъ слабый гулъ, проносится гдѣ-то далеко, въ сторонѣ отъ насъ. Упали сумерки, всѣ краски погасли, была уже ночь, и она ушла; всталъ и я, и былъ, какъ человѣкъ, проснувшійся отъ долгаго сна и все еще сохраняющій успокоительную легкость въ душѣ. Я напра-

вился домой, и снова, мало-по-малу, возникалъ вмѣстѣ съ дѣйствительностью, и она снова сомкнулась вокругъ меня; но во всемъ, что я встрѣчалъ, слышалъ и видѣлъ, эта внѣшняя дѣйствительность какъ-бы распадалась, растворялась и исчезала, какъ утренній туманъ, и безсознательнымъ чувствомъ я зналъ, что внѣ ея у меня есть на что положиться, чему радоваться, и чего никто не могъ видѣть и никто не понималъ, кромѣ меня, одного меня, и что, стало быть, было мое и только мое.

Это стало любовной связью, продолжавшейся цѣлыхъ три мѣсяца, любовной связью безъ дѣйствія, безъ плотскаго соприкосновенія, безъ единого слова. Повѣришь ли ты мнѣ и можешь ли ты вполне искренно понять, если я тебѣ скажу, что ни съ одной женщиной я никогда не жилъ въ такомъ тѣсномъ сліяніи, какъ съ этой,—даже ни съ одной изъ всѣхъ тѣхъ, чьимъ тѣломъ я обладалъ и съ кѣмъ я шептался въ такія мгновенія, когда души взаимно проникаются?—Видишь ли, я цѣлую зиму влачился кругомъ, и мои дни приходили и уходили своей чередой, и недѣли сливались съ недѣлями и мѣсяцы съ мѣсяцами, и все проходило мимо меня, и я ухватывался только за то, что казалось болѣе достойнымъ вниманія и предоставлялъ остальному идти своей дорогой. У меня было много чувственныхъ связей, въ большинствѣ случаевъ дешеваго свойства, въ двухъ—изъ чистой любви, но у всѣхъ ихъ была одна и та же цѣль, одно и то же заключеніе,—когда я получалъ, что хотѣлъ, исторія кончалась,—похоть, грубый актъ, исчерпанность, обычное отвращеніе, въ лучшемъ случаѣ слабая тоска при воспоминаніи, voilà tout. Когда я пріѣхалъ на воды, мои чувства были пресыщены, и я не могъ видѣть ни одной женщины безъ того, чтобы мысленно не раздѣть ее и не думать съ отвращеніемъ о пошломъ половомъ актѣ, объ этой жалкой звѣрской мѣрѣ всякаго любовнаго блаженства; и я видѣлъ этотъ образъ передъ собою, онъ возникалъ съ

четкостью галлюцинаціи; и я не могъ освободиться отъ него и испытывалъ отвращеніе къ женщинѣ и отвращеніе къ самому себѣ; и въ то же время алчнѣе и нетерпѣливѣе, чѣмъ когда-либо, томился по этому свѣтлому, безмолвному трепету, который только одна женщина и можетъ вызвать въ душѣ мужчины.

Каждый вечеръ, около захода солнца и наступленія сумерекъ, я шелъ на молъ и былъ почти увѣренъ, что увижу ее сидящей на томъ же мѣстѣ, гдѣ увидѣлъ ее впервые; и чувствовалъ себя совершенно сбитымъ съ толку, если, что бывало рѣдко, ея тамъ не оказывалось. Я усаживался на нѣкоторомъ разстояніи отъ нея; отблескъ потонушаго солнца, какъ умиротворяющее сіяніе, сверкалъ высоко въ воздухѣ, когда внизу была уже полутьма; поверхность пролива, бывало, уже протянула свою рѣзкую линію на вечернемъ небѣ на сѣверѣ; она же смотрѣла передъ собою, одинокая и неподвижная, выдѣляясь на водѣ и въ воздухѣ; она могла медленно поворачиваться ко мнѣ, и я вдругъ, чисто инстинктивно, еще видя, чувствовалъ на себѣ ея пристальный взглядъ; и въ то время, какъ никто изъ сидѣвшихъ тамъ ничего не зналъ объ этомъ, мы принадлежали другъ другу такъ безостаточно, какъ только два человѣка и могутъ принадлежать другъ другу. Неужели же въ самомъ дѣлѣ физическое единеніе мужчины и женщины интимнѣе, чѣмъ это сліяніе двухъ человѣческихъ существъ, когда чувства сплетаются и оплодотворяютъ другъ друга, и мысли взаимно проникаются и даютъ плодъ?

Проходила ночь, сидѣвшіе, одинъ за другимъ, поднимались и исчезали, все становилось безлюднѣе вокругъ насъ, и камни пустѣли. Когда же уходила и она, поднимался и я и шелъ домой; и уносилъ съ собою чувство того, что въ душѣ у меня тайна, которой никто не знаетъ, кромѣ меня, и одного меня; и точно нѣчто ждало меня и должно было унести меня за безконечныя времена и далеко, далеко впередъ. Это росло во мнѣ

и наполняло меня, точно я приобрѣлъ новыя чувства и новое зрѣніе, и все кругомъ получило для меня значеніе и мѣняло свой видъ, и то, что раньше какъ-бы не существовало для меня, оказывалось теперь костью отъ моей кости и плотью отъ моей плоти. Вода, въ которой я купался, солнце, что грѣло и ослѣпляло, голубое лѣтнее небо, цвѣты и зелень, улицы и дома, малое и великое,—все было какъ совершенно новая тайна, которой, казалось, я не видѣлъ раньше никогда, и которая теперь вдругъ обнажалась передо мной. Человѣческое слово приобрѣло новый звукъ и новое значеніе, и сами люди были какъ новыя существа, которыхъ я раньше не знавалъ. И это новое чудо, въ которое я входилъ и которое я носилъ въ себѣ,—не зная ни вопли, ни приближительно, что оно было,—могло возникать и волноваться вдругъ; въ моей крови былъ трепетъ мучительной радости; она кипѣла и вызывала влагу подъ вѣками; мое зрѣніе обострилось, моя вострепнувшаяся мысль проникала, какъ лучъ, въ жизненную тайну существованія, и эта тайна превращалась въ видѣнія, и я дрожалъ и корчился отъ насильственной потребности пасть ницъ на землю и плакать обо всемъ, или ни о чемъ, или о томъ, чего я не зналъ. И когда я спрашивалъ себя, почему я это чувствую такъ и откуда оно пришло,—это состраданіе ко всему и ко всѣмъ, гдѣ раньше было одно лишь равнодушіе,—то въ видѣ единственного отвѣта передо мною вставала эта скорбная женщина съ унылыми складками рта и вопрошающимъ страданіемъ въ глазахъ. И эта странная любовь, болѣзненно утонченная, какъ цвѣтъ лица у выздоравливающаго,—достигнувъ наибольшей силы и полноты своей мучительной сладости, превратилась въ сумрачную тоску по тому, чтобы намъ обоимъ, ей и мнѣ, тѣсно прижаться другъ къ другу, какъ двумъ запуганнымъ, захваченнымъ грозой звѣрямъ, и предоставить жизни бурлить вдали отъ насъ,—этой печальной, безжалостной, чудовишной жизни“.

Стало совсѣмъ темно, надъ городомъ вскинулось туманное зарево, и капли падали часто и грузно въ тишинѣ.

„И дни проходили, и лѣто кончилось, и настала осень. Какъ-то вечеромъ, въ сентябрѣ, въ такой же вотъ вечеръ, когда сырой тяжелый туманъ лежалъ надъ проливомъ, и душа была сумрачна, какъ воздухъ, мы сидѣли почти одни на нашихъ обычныхъ камняхъ, и, наконецъ, улыбнулись другъ другу,—скорбные и безпомощные, точно въ это мгновеніе мы оба чувствовали, что пережили вмѣстѣ лучшее въ жизни и любви, и что каждому изъ насъ больше нечего дать другому, и что это теперь уже прошло, и что одно единственное сказанное слово было бы святотатствомъ, и что намъ только остается лелѣять воспоминанія каждому про себя.

На слѣдующее утро я уѣхалъ.

Но тамъ была также и благодарность, во взглядѣ“.

ПЕР. Ю. БАЛТРУШАЙТИСЬ.



* * *

Умолкаетъ свѣтлый вѣтеръ,
Наступаетъ сѣрый вечеръ,
Воронъ канулъ на сосну,
Тронулъ сонную струну.

Въ сторонѣ чужой и темной
Какъ ты вспомнишь обо мнѣ?
О моей любви скромной
Закручинишься во снѣ?

Пусть душа твоя мгновенна,—
Надъ тобою неизмѣнна
Гордость юная твоя,
Вѣрность женская моя.

Не гони летящій мимо
Призракъ легкій и простой,
Если будешь, мой любимый,
Счастливъ съ дѣвушкой другой...

Ну, такъ съ Богомъ! Вечеръ близокъ,
Быстрый летъ касатокъ низокъ,
Надвигается гроза.
Ночь глядитъ въ твои глаза.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



СЧАСТЬЕ.

О счастье ихъ слова и слезы, и мольбы.
Къ добру и подвигу взывая лицемѣрно,
Сердца ихъ ждутъ утѣхъ и молятъ суевѣрно
Объщанныхъ даровъ отъ Бога и судьбы.

Свобода имъ страшна. Надежды ихъ слабы.
И знаетъ ихъ любовь, что вѣчное—невѣрно,
И достиженье—смерть для любящихъ безмѣрно.
Къ чему свобода имъ? Счастливые—рабы.

Но мы, жрецы безъ жертвъ, безъ храма и безъ Бога,
Мы, жизнь постигшіе у темнаго порога
Таинственныхъ дверей, мы молимся о томъ,
Чему названье нѣтъ. Въ предчувствіи тревожномъ
Любви несбыточной, въ тоскѣ о невозможномъ
Мы грезимъ о мірахъ, несозданныхъ Творцомъ...

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.

Колдунокъ.

На полѣ за горкой, гдѣ горка низаесть,
Гдѣ красныя луковки солнце сажаетъ,
Гдѣ желтая рожь спорыньей поросла,
Пригнулась, дымитъ избенка сѣдая,
Зеленыя бревна, а крыша рудая,
Въ червонную землю давненько выросла.

Хихикаетъ, морщится темный комочекъ,
Въ окошкѣ убогомъ колдунъ-колдуночекъ,
Бородка по вѣтру лети, полетай.
Тю-тю вамъ, красавицы, дѣвки пустыя,
Скончались деньки, посидѣлки цвѣтныя,
Ко мнѣ на лужайку придешь невзначай.

Приступишь тихоней: водицы напиться
Пожалуйте, дяденька, сердце стыдится...
Иди, напивайся, проси журавля.
Журавль долгоспинный, журавликъ высокій,
Нагнися ко мнѣ, окунися въ истоки,
Водицы студеной пусти-ка, земля.

Бадья окунется, журавль колыхнется,
Утробушка-сердце всполохнется, забьется:
Кого-то покажетъ живая струя!
Курчавенькій, русый, веселый являйся,
Журавликъ качайся, скорѣй подымайся,
Вотъ на тебѣ алая лента моя.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



МОРСКАЯ ПѢСНЯ.

Подарило намъ море обручальное кольцо,
Цѣловало насъ море въ загорѣлое лицо!

Приневѣстилась морская быстрина,
Неневѣстная морская глубина!

Съ ней жизнь вольна,
Съ ней смерть не страшна,
Она, матушка, свободна, холодна!

Съ ней погуляемъ на вольномъ просторѣ!
Синее море! Красныя зори!

Вѣтеръ, ты, пьяный, трепли волоса!
Вѣтеръ соленый, неси голоса!
Вѣтеръ, ты, вольный, раздуй паруса!

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



Умъ.

Не тѣло, не духъ,
А съ крыльями кругомъ.
И думаетъ вслухъ,
И думаетъ тайкомъ.

И крыльями бьетъ
Надзвѣздныя поля.

Взлетитъ на Небосводъ,
Но вотъ она, Земля.

И пусть—на Землѣ,
Но все жъ въ Небесахъ!
Въ добрѣ и во злѣ
Несется на крылахъ.

И столько тѣхъ крылъ
Что счесть невозможно ихъ.
Ихъ больше, чѣмъ свѣтилъ
Въ пространствахъ голубыхъ.

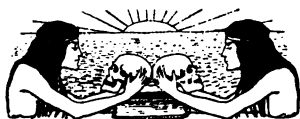
Ихъ больше чѣмъ песковъ,
И отсвѣтовъ морскихъ.
Ихъ болѣе, чѣмъ сновъ,
Хоть много сновъ людскихъ.

Ихъ больше, чѣмъ дѣтей,
Чѣмъ стариковъ, старухъ.
Сильнѣе всѣхъ людей,
Не тѣло и не духъ.

Живетъ несчетность лѣтъ
По смерти здѣшнихъ тѣлъ.
Живетъ какъ новый свѣтъ
Для нерожденныхъ дѣлъ.

И крылья, крылья мчатъ,
Темнѣй, чѣмъ глубь могилъ,
Свѣтлѣй, чѣмъ быстрый взглядъ,
Свѣтлѣе всѣхъ свѣтилъ.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.





ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.

* * *

По улицамъ узкимъ, и въ шумѣ и ночью, въ теат-
рахъ, въ садахъ я бродилъ,
И въ явственной думѣ грядущее видя, за жизнью,
за сущимъ слѣдилъ.

Я пѣсни слагалъ вамъ о счастья, о страсти, о вы-
сяхъ, границахъ, путяхъ,
О прежнихъ столицахъ, о будущей власти, о всемъ,
распростертомъ во прахъ.

Спокойныя башни, и бѣлыя стѣны, и пѣна раздро-
бленныхъ рѣкъ
Въ восторгѣ' всегдашнемъ дрожали, внимали сти-
хамъ, прозвучавшимъ навѣкъ.

И дѣвы и юноши встали, встрѣчая, вѣнчая меня,
какъ царя,
И тѣнямъ подобно лилась по ступенямъ потокомъ
широкимъ заря.

Довольно, довольно! я васъ покидаю! берите и сны
и слова!

Я къ новому раю спѣшу, убѣгаю: мечта неиз-
мѣнно жива!

Я создалъ, и отдалъ, и поднялъ я молотъ, чтобъ
снова сначала ковать.

Я счастливъ и силенъ, свободенъ и молодъ, творю,
чтобы кинуть опять!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Золото.

Avec un peu de soleil et du sable blond
J'ai fait de l'or.

Fr. Vielé-Griffin.

Золото сдѣлалъ я, золото—
Изъ солнца и горсти песку.
Тайна не стоила дорого,
Какъ игра смѣшна старику.
Падалъ песокъ изъ руки у меня,
Тихо звеня,
Въ волны ручья.
Ручей ускользалъ какъ змѣя,
Дрожа отъ вѣтра и холода...
Золото сдѣлалъ я, золото!

Изъ пшеницы бѣлѣющей сдѣлалъ я снѣгъ,
Снѣгъ и декабрьскую вьюгу,
Саней заметаемый бѣгъ.
Дѣвушки радостный смѣхъ
И близость къ желанному другу.
Я сдѣлалъ снѣгъ,

Какъ сдѣлалъ золото;
Я сдѣлалъ вьюгу, счастье холода;
Во мгль властительныхъ снѣговъ—
Воспоминанія цвѣтовъ.
Я сдѣлалъ снѣгъ
Изъ лепестковъ.
Изъ жизни медленной и вялой
Я сдѣлалъ трепеть безъ конца.
Миръ созданъ волей мудреца:
И первый свѣтъ зелено-алый,
И волнъ встающіе кристаллы,
И тѣни страстнаго лица!
Какъ всѣ слова необычайны,
Такъ каждый мигъ исполненъ тайны.
Изъ жизни блѣдной и случайной
Я сдѣлалъ трепеть безъ конца!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Поэту.

Ты долженъ быть гордымъ, какъ знамя;
Ты долженъ быть острымъ, какъ мечъ;
Какъ Данте подземное пламя
Должно тебѣ щеки обжечь!
Всего будь холодный свидѣтель,
На все устремляя свой взоръ.
Да будетъ твоя добродѣтель—
Готовность войти на костеръ!
Быть можетъ, все въ жизни лишь средство
Для ярко-пѣвучихъ стиховъ,
И ты съ безпечальнаго дѣтства
Ищи сочетанія словъ.
Въ минуты любовныхъ объятій
Къ безстрастью себя приневолю,

И въ часъ безошадныхъ распятій
Прославъ изступленную боль!

Въ снахъ утра и въ безднѣ вечерней
Лови, что шепнеть тебѣ Рокъ,
И помни: отъ вѣка изъ терній
Поэта завѣтный вѣнокъ!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Закаты.

Даль—безъ конца. Качается лѣнливо,
Шумить овесть.
И сердце ждетъ опять нетерпѣливо
Все тѣхъ же грезъ.
Въ печали блѣдной, виннозолотистой,
Закрывшись тучей
И окаймивъ дугой ее огнистой,
Сребристо жгучей,
Садится солнце красно-золотое...
И вновь летить
Вдоль желтыхъ нивъ волненіе святое,
Овсомъ шумить:
„Душа, смирись: средь пира золотого
„Скончался день.
„И на поляхъ туманнаго былого
„Ложится тѣнь.
„Уставшій міръ въ покоѣ засыпаетъ,
„И впереди
„Весны давно никто не ожидаетъ.
„И ты не жди.
„Нѣтъ ничего... И ничего не будетъ...
„И ты умрешь...

„Исчезнетъ міръ, и Богъ его забудетъ.
„Чего жъ ты ждешь?“
Въ дали зеркальной, огненно-лучистой,
Закрывшись тучей,
И окаймивъ дугой ее огнистой,
Пунцово-жгучей,
Огромный шаръ, склонясь, горитъ надъ нивой
Багрянцемъ розъ.
Ложится тѣнь. Качается лѣнливо,
Шумитъ овесъ.

II.

Я шель домой согбенный и усталый,
Главу склонивъ.
Я различалъ далекій, запоздалый
Родной призывъ.
Звучало мнѣ: „Пройдетъ твоя кручина,
„Умчится сномъ“.
Я вдаль смотрѣлъ—тянулась паутина
На голубомъ
Изъ золотыхъ и лучезарныхъ нитокъ...
Звучало мнѣ:
„И времена свиваются, какъ свитокъ...
„И все—во снѣ...
„Для чистыхъ слезъ, для радости духовной.
„Для бытія,
„Мой падшій сынъ, мой сынъ единокровный
„Зову тебя“...
Такъ я стоялъ счастливый, безотвѣтный.
Изъ пыльныхъ тучъ
Надъ далью нивъ вознесся златосвѣтлый,
Янтарный лучъ.

III.

Шатаясь, склоняется колось.
Прохладой вечерней пахнетъ.
Вдали замирающій голосъ
Въ безвременье грустно зоветъ.

Зоветъ онъ тревожно, невнятно
Туда, гдѣ воздушный чертогъ,

А тучекъ скользящія пятна
Надъ нивой плывутъ на востокъ.
Закатъ полосой багряной
Блѣднѣетъ въ дали за горой.
Шумитъ въ лучезарности пьяной
Вкругъ насъ океанъ золотой.

И мѣръ, догорая, пируетъ,
И мѣръ славословитъ Отца,
А вѣтеръ ласкается, цѣлуется.
Цѣлуется меня безъ конца.

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.



* * *

На ясныхъ полянахъ рвала цвѣты.
Гудѣли надъ Нею весенніе звоны.
Золотые мосты
Изъ солнечныхъ нитей воздушно спускались...
А тучки, въ лазури, какъ дѣти, гонялись.
Сверкали березки, шумѣли клѣны.
Бродила полями, плела вѣнки...
Напѣвала.

Задумалась тихо у тихой рѣки
И въ воду кидала
Вѣнки.
Они уплывали, и съ ними далеко-далеко
Мечта уплывала... Шуршала осока...
Просторно вокругъ разбѣгались откосы.
Она распустила тяжелыя косы,
Въ рѣкѣ отражалась...
Глубокому ясному дню улыбалась.

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.





БАЯТЕЛЬ.

ОСКАРА УЙЛЬДА.

Однажды вечеромъ въ душу его снизошло желаніе создать изображеніе „Наслажденія, которое длится одно мгновеніе“. И онъ пошелъ въ міръ за бронзой. Онъ могъ думать только о бронзѣ. Но вся бронза исчезла и нигдѣ во всемъ свѣтѣ не находилось бронзы, кромѣ той, что изображала „Печаль, длящуюся вѣчно“. Это изображеніе онъ самъ, собственными руками, создалъ и поставилъ на могилѣ единственнаго существа, которое онъ любилъ въ своей жизни. На могилѣ умершей, бывшей ему дороже всего, поставилъ онъ это произведеніе своихъ рукъ, чтобы оно служило знакомъ человѣческой любви, которая не умираетъ, и символомъ человѣческаго горя, которое длится вѣчно. И въ цѣломъ мірѣ не было другой бронзы, кромѣ бронзы этого изваянія.

И, взявъ созданное имъ произведеніе, онъ бросилъ его въ большую печь и предалъ пламени.

И изъ бронзы „Печали длящейся вѣчно“, онъ создалъ изображеніе „Наслажденія, которое длится одно мгновеніе“.

Х. Х.

ДВА ГОЛОСА.

ВЕЧЕРНЯЯ ПѢСНЬ.

1. Если солнце свѣтитъ кротко и не жжетъ,
Знайте, братья: часъ заката настаетъ.

2. Часъ безсилья, умиленья и мечты,
Предвозвѣстникъ ненасытной темноты.

1. Если въ сердце жало жалости впилося,
Знайте, братья: неизбежное сбылося.

2. Искупленья многотрудный конченъ путь.
Время жертвъ пострадать и отдохнуть.

1. Посмотрите: блещетъ золотомъ рѣка,
Грустью солнца озарились облака.

2. Кровью солнца, обезсиленнаго днемъ
И своимъ же побѣжденнаго огнемъ.

1. Посмотрите: изъ лазурной глубины
Вышелъ призракъ выжидающей луны.

2. Выжидая, сталъ во мракѣ голубомъ
Бѣлый призракъ съ угрожающимъ серпомъ.

1. Бѣлый призракъ всезабвенія и сна...

2. Всезабвенье, примиренье, тишина...

Н. МИНСКИЙ.



Е. и.

Темноликая, тихой улыбкою
Ты мнѣ душу ласкаешь мою.
О, прости меня, если ошибкою
Я не такъ тебѣ пѣсни пою.

Ты разсыпала щедро узорами
Свѣтляковъ золотые огни.
Благосклонными вѣщими взорами
На открывшаго душу взгляни!

Черносиними, звѣздными тканями
Ты вселенной окутала сонъ.
Одинокій, съ простертыми дланями
Я зываю къ Царицѣ Временъ.

Ты смѣешься очами бездонными,
Неисчетныя жизни тая,
Да прольется надъ дѣвами сонными
Безконечная благодать Твоя!

Будь щедра къ нимъ, о, Матерь Великая,
Сѣя радостно въ мѣръ бытіе,
И прими меня вновь, Темноликая,
Въ благодатное лоно Твое!

АЛ. КОНДРАТЬЕВЪ.



ВЪ ЧЕРТУ.

Онъ пришелъ ко мнѣ,—а кто, не знаю,
Очертилъ вокругъ меня кольцо.
Онъ сказалъ, что я его не знаю.
Но плащомъ закрылъ себѣ лицо.

Я просилъ его, чтобъ онъ помедлилъ,
Отошелъ, не трогалъ, подождалъ.
Если можно, чтобъ еще помедлилъ,
И въ кольцо меня не замыкалъ.

Удивился Темный: „Что могу я?“
Засмѣялся тихо подъ плащемъ.
„Твой же грѣхъ обвился, что могу я?“
„Твой же грѣхъ обвилъ тебя кольцомъ“.

Уходя, сказалъ еще: „Ты жалокъ!“
Уходя, сникая въ пустоту:
„Разорви, кольцо, не будь такъ жалокъ!“
„Разорви и вытяни въ черту“.

Онъ ушелъ, но онъ опять вернется.
Онъ ушелъ—и не открылъ лица.
Что мнѣ дѣлать, если онъ вернется?
Не могу я разорвать кольца.

3. гиппиусъ.



* * *

Въ густыхъ аллеяхъ крылья черныя
Запутала слѣпая ночь.
Легла, измученно покорная,
И волю окрылить—невмочь.
И ночь слѣпую въ сердце темное,
Какъ жала, жаятъ писки совъ.
Чье горе горькое, бездомное
Вздохнуло глухо у кустовъ?
Чья доля-пагуба скитается
Въ ночи затерянной тропой?
То не мое ли сердце мается
Въ безпутьи темени слѣпой?

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.

Осенняя пѣсня.

изъ П. ВЕРЛЕНА.

Осенній стонъ—
Протяжный звонъ,
Звонъ похоронный—
Въ душѣ больной
Звучить струной
Неугомонной.

Томлюсь въ бреду.
Блѣднѣя, жду
Ударовъ ночи.
Твержу привѣтъ
Снамъ прежнихъ лѣтъ,
И плачутъ очи.

Подъ бурей злой
Мчусь въ міръ былой
Невозвратимый,
Въ путь безъ слѣда
Туда, сюда,
Какъ листъ гонимый.

Н. МИНСКІЙ.



* * *

Путь мой трудный, путь мой длинный,
Я одинъ въ странѣ пустынной...
Но улады есть въ пути,—
Улыбаюсь, забавляюсь,

Самъ собою вдохновляюсь,
И не скучно мнѣ итти.

Широки мои поляны,
И бѣлы мои туманы,
И свѣтла луна моя,
И поетъ мнѣ вѣтеръ вольный
Рѣчью буйной, безглагольной
Про блаженство бытія.

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



* * *

Пьяный боръ къ водѣ склонился,
Берегъ кровью обагрился:
Солнце стало надъ рѣкой,
Солнце рдѣетъ надъ рѣкой.

Взмахи вижу сильныхъ веселъ,
Кто-то камень въ воду бросилъ...
Снова тягостная тишь;
Надъ водою спитъ камышъ.

Не хочу унылой доли,
Сердце жаждетъ дикой воли,
Воли царственныхъ орловъ.
Прочь отъ мертвыхъ береговъ!

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ.





Осипъ Дымовъ.

Осень.

Наступила осень. Какъ?

Недалеко отсюда билось море волнами все лѣто, всю весну и лѣто. Берегъ былъ плоскій, песчаный; оно грохотало мелкими камушками, накидывая ихъ съ послѣдней прозрачной волной и захватывая съ первой обратной. Казалось страннымъ: чего море такъ бьется? И откуда являются волны, все новыя, безъ конца?

Надъ этимъ никто не задумывался, но вотъ 22 іюля, около часу дня, море таки добилось своего: волны выбросили ее на берегъ. Возможно, что они выбрасывали ее постепенно, комковатыми клочьями все лѣто—всю весну и лѣто, но этого никто не зналъ. Теперь же все стало ясно. Тѣнь лодки, зарывшейся въ песокъ, легла совсѣмъ не на то мѣсто, что недѣлю назадъ. Въ свѣтломъ, жаркомъ воздухѣ закричалъ пѣтухъ, но уже не напомнилъ

дѣтства. Велосипедистъ на пыльномъ шоссе остановился, поднялъ голову, потную шею его обдало внезапно вспорхнувшимъ, какъ воробей, вѣтромъ.

Это была осень. Волны, наконецъ, оттащили ее съ середины океана и выбросили на берегъ.

* * *

Это произошло 22 іюля, въ часъ съ минутами. Свершилось! Осень прыгнула на песокъ, шурша пробѣжала по немъ, замата слѣды человѣческихъ ногъ, два раза споткнулась, при чемъ схватилась за рябину, и бросилась на деревню. Вотъ тогда-то закричалъ сразу состарившійся пѣтухъ, и, вѣясь вокругъ огромнаго подсолнечника, загудѣла согнувшись, какъ баба подъ ношей, мохнатая пчела.

Осень пряталась, выжидая. Гдѣ? Въ очень потаенныхъ мѣстахъ: въ лѣсу подъ опавшими листьями, въ рывинахъ на полѣ, гдѣ валялись осколки разбитой бутылки, въ измѣнившемся полетѣ птицъ. И, когда поэтъ раскрывалъ свою записную книжку, чтобы закрѣпить нѣжно-некрасивымъ почеркомъ новую рифму, онъ находилъ осень между бѣлыми листочками, словно кѣмъ-то засушенный цвѣтокъ. Рифма тяжелѣла и, какъ ударъ вечерняго колокола, тонула въ меланхолическомъ сонетѣ. Или тоже какъ ударъ весломъ по вечернему озеру.

До вечера она многое успѣла. Достаточно сказать, что на протяженіи десятковъ квадратныхъ верстъ въ эту ночь выпала густая, крупная, какъ безпричинныя слезы дѣвушки, роса. Объ этомъ даже писали въ нѣкоторыхъ газетахъ.

Ну, а ужъ вечеромъ я ее встрѣтилъ.

* * *

Видите ли, вечеромъ не прячутся, вечеромъ не надо прятаться. Это солнце дѣлитъ и разграничиваетъ и каждому назначаетъ особое мѣсто. А при лунѣ всѣ равны. При лунѣ принцъ бесѣдуетъ съ дочерью портного и цѣлуетъ ея руки: бываетъ!

Утромъ Маша (дочь портного зовутъ Маша), просыпаясь, чувствуетъ острую, тонкую боль въ пальцахъ; ей кажется, что это уколы иголки, но на самомъ дѣлѣ это—поцѣлуи принца.

Вечеромъ я ее встрѣтилъ—осень; то есть я такъ ее называлъ въ шутку. Но, конечно, это была женщина, какъ всѣ. Даже одинъ разъ пришла съ головной болью и жмурила лѣвый глазъ—вотъ видите.

Странность, пожалуй, была въ томъ, что мы не понимали другъ друга: она не знала по-русски ни слова. Виновать, одно слово затвердила:

—Приду.

А для меня шведскій языкъ былъ совершенно чуждъ. Возможно, впрочемъ, что она была не шведкой, а финкой или даже еще другой національности. Не знаю.

Я шелъ мимо вечернихъ дачъ, все было сѣро: такъ какъ разсвѣтъ долженъ былъ заняться рано—то понимаете, не стоило дѣлать особенной темноты.

Уже всѣ спали. Въ садахъ, прижавшись къ частоколу, стояли одинокія человѣческія фигуры и глядѣли на дорогу. Вы замѣтили? Такія одинокія фигуры стоятъ во всѣ ночи до глубокой осени, и луна освѣщаетъ ихъ. Вотъ лежать обгорѣлыя балки и жестяной листъ съ крыши. Это цѣлая исторія!.. Тутъ была мелочная лавка, бойко торговала, а конкурентъ ее поджогъ. Теперь здѣсь просвѣтъ на море, гдѣ наискось легла свѣтлая полоса отъ луны. Думаешь: луна такая маленькая и тусклая, а...

Вдругъ она прошла мимо меня, окинувъ строгимъ взглядомъ, какъ будто бросивъ слово на незнакомомъ языкѣ. Я ничего не примѣтилъ, кромѣ этихъ черныхъ, глубокихъ глазъ и сѣрой жизни моей назади. Объясню: потому такъ вспыхиваютъ, обжигая сердце, мимо проходящія женщины, что идутъ онѣ не по тротуару зимняго дня и не по дорогѣ у моря, а появляются, пересекая полосу нашей сѣрой жизни. Прошла—и послѣ нея, какъ траурный шлейфъ, все та же сѣрая дорога—дорога

нашей жизни. Ну, значить, идутъ они не по камнямъ, а близко-близко отъ нашего слабаго, самолюбиваго, непрочнаго и очень одинокаго мужского сердца.

Возвращаясь къ себѣ въ избу, которую нанялъ у финна, я видѣлъ, какъ, прижавшись къ заборамъ, стояли живыя фигуры, словно садовыя украшенія, вродѣ гномовъ, аистовъ, и ждали, ждали...

* * *

Миновало еще нѣсколько росистыхъ ночей, но газеты уже не писали объ этомъ, потому что въ странѣ тогда было неспокойно, и даже многіе говорили: революція. Такъ что подобнымъ не интересовались.

Она приходила ко мнѣ въ мою избу. Сидѣли мы въ сѣняхъ на низкихъ табуретахъ, и очень очень далеко лаяли двѣ собаки. Зимой во фракъ на прѣмъ или на официальномъ торжествѣ я вдругъ вспоминалъ лунную полосу за обгорѣлыми балками и далекій, ночной лай... да еще вѣтеръ, вѣтеръ, который несется выше человѣческаго роста, не трогаетъ лица, а только листья, а изъ вѣтвей—наибольше тоненькія, молодыя.

Вотъ мы сидимъ и говоримъ. Очень странно. Она не понимаетъ ни одного слова, а, когда говорить она, я смотрю внизъ (я чуть выше ея), на ея волосы и думаю свое. И такъ мы бесѣдуемъ двумя несливающимися монологами, двумя цѣпями мыслей, не переплетающимися въ легко рвущійся діалогъ. А надъ нами вѣтеръ и листья рассказываютъ ночь—какъ будто жуютъ ее—да, это немного некрасиво такъ выражаться, но, если прислушаться, то похоже.

Я никому такъ много не говорилъ, какъ ей. Не было стыдно словъ. Намъ ничто не мѣшало, потому что мы не понимали другъ друга.

—Послушай,—говорилъ я и глядѣлъ на ея тонкіе блѣдныя при лунѣ пальцы:—мои друзья умираютъ. Это все даровитые, славные люди. Я ихъ любилъ. Когда умеръ первый, я былъ безумно

потрясенъ, второй—меньше, а мѣсяцъ назадъ скончался въ чахоткѣ седьмой или восьмой—и я даже не заплакалъ. Вотъ скверно: душа грубѣетъ...

Мы сидимъ на порогѣ въ темнотѣ, черные кусты неподвижны, а листья жуютъ ночь.

Она отвѣчаетъ—я перевозжу.

— Ты не первый подходишь ко мнѣ. Каждого я ждала и думала: мы вмѣстѣ отгадаемъ эту тайну, эту странную тайну любви. Но до сихъ поръ были все фальшивые отгадки. Чѣмъ больше я обманывалась, тѣмъ грустнѣе становились мои глаза. А вотъ уже морщины на моемъ лбу, и близка зима, я уйду, мы не встрѣтимся...

Я:

— Кто ты такая—я не знаю. Чужая. Но такъ странно и безшумно ты подошла къ моему сердцу. У насъ обоихъ обручальныя кольца на рукѣ, и гдѣ-то сзади жизнь, которая ждетъ насъ, какъ привычное платье. Мы войдемъ въ нее снова, и никому не скажемъ о нашей встрѣчѣ.

Она:

— Умираетъ лѣто, уходитъ молодость. Можно ли было думать, что двадцать лѣтъ назадъ придвинется вотъ эта минута, и мы будемъ сидѣть здѣсь въ сѣверную ночь августа, глядѣть и вспоминать, что двадцать лѣтъ назадъ объ этомъ не думали. Казалось: двадцать лѣтъ,—ахъ, это конечно, это огромный промежутокъ времени—а вотъ...

Я ее провожаю. Поздно. Она устала. Ея движенія опали, и вѣки полуопущены. Она прекрасна.

Я говорю ей:

— Вы прекрасны.

— Приду,—отвѣчаетъ она по-русски.

У забора въ саду одна запоздавшая тѣнь. Голова окутана. Холодно. Съ моря, какъ туманъ, несетъ тоскою.

Я возвращаюсь. Въ стойлахъ бьетъ ночнымъ копытомъ лошадь. Скрипитъ что-то: дерево или птица? Или плачетъ Маша, дочь портного—ее покинулъ принцъ.

* * *

Знакомые мнѣ говорятъ: осень. Да. Между деревьями протянулись тонкія, какъ лезвіе сабли, паутины. Играютъ шарманки. Иногда слышишь двѣ-три мелодіи разомъ. Въ фруктовыхъ садахъ около двухъ часовъ дня—самый жаркій моментъ—начинаютъ срываться яблоки одно за другимъ: та—та—трата. По шоссе, уже непыльному, тянутся возы съ мебелью, и на нихъ важно покачивается, какъ баринъ, платяной шкафъ. Трава придавлена, а вѣдь никто по ней не ходилъ.

Восемь дней подъ рядъ лилъ дождь, а когда окончился, ямъ, дачникамъ, подали счета—длинные листочки бумаги, на которыхъ расписывается осень.

Вечеромъ я ее ждалъ: нѣтъ. Я укладывался и слушалъ—не придетъ ли? Не пришла. До самаго разсвѣта гудѣли море и лѣсъ. Они все гудѣли, отъ этого дѣлалось холоднѣе.

На моемъ столѣ горѣла свѣча, и въ пламени ея скрючился, страдая тоской, фитиль. Я тушилъ ее и зажигалъ. Подъ босой ногой скрипѣли доски. Страшное одиночество со стиснутыми зубами положило мнѣ на грудь руку.

Заснулъ и снилось счастье. Такое простое, такое далекое. Снился сѣноваль и мои прежніе двадцать три года, сквозь щели крыши свѣтитъ деревенская луна волшебными четырехугольными кусочками. Больше ничего. Ахъ, Боже мой...

* * *

Уѣхалъ. Все позади. Было ли? Вотъ рисунокъ обоевъ передъ глазами. Жена удачно провезла изъ-за границы контрабандой перчатки и кружева. Въ карманѣ осенняго пальто нашлись двѣ копейки съ прошлой весны. Стало грустно. Продають газеты.

А вечеромъ—ночью—жена удивленно глядитъ на меня. Она опускаетъ вѣки—какъ похожа на свою покойную мать!

Мы друзья, мы прожили вмѣстѣ рядъ лѣтъ.
Мое тѣло какъ будто часть ея—такъ ей кажется.
Она удивленно глядитъ на меня, на мою растерян-
ную, безпомощную улыбку, наклоняется ко мнѣ въ
сорочкѣ, и голыя, худыя руки обнимаютъ меня.
Она прижимается къ моимъ волосамъ, и мы оба
тихо раскачиваемся въ бѣломъ, какъ жрецы на
праздникѣ, который отмѣненъ... навсегда отмѣненъ.
Такъ мы сидѣли на краю нашей кровати.

Вдругъ я чувствую, какъ катится по моему
лбу слеза острая, какъ лезвіе сабли, и задѣваетъ
мое ухо.

Теперь я понимаю, кто приходилъ ко мнѣ.

Осень... осень...

ОСИПЪ ДЫМОВЪ.



Ц В Ъ Т Ы.

Въ моей душѣ—волшебный храмъ цвѣтовъ...
Не подходи! Тамъ бѣлыхъ астръ мечтанья,
И пѣсни розъ, и взгляды васильковъ,
И лилій царственныхъ святое созерцанье.
Не подходи... ты не поймешь цвѣтовъ!

Не подходи... Не говори со мной!
Оставь меня... пока не слышать астры
И васильки твой смѣхъ и голосъ твой.
Они умрутъ тогда... Твой смѣхъ такой земной,
И голосъ твой... Тебя не любятъ астры!

Не говори! Я тишину прошу.
Чтобъ тишина еще безмолвнѣй стала.

Я шорохъ думъ моихъ и звуки слезъ гашу,
Чтобъ рѣчь цвѣтовъ яснѣе мнѣ звучала.
Не подходи, не говори, прошу...

Сегодня рано, съ солнечнымъ лучомъ
Моя душа наполнилась. Земная,
Ты не поймешь... И, если ты, страдая,
Мнѣ станешь говорить о сердцѣ, о быломъ,—
Я не пойму—ты мнѣ теперь чужая.

Не говори со мной... Одинъ лишь мигъ,—
И вновь я нищъ,—скупые злые люди!..
Не разрушай чертоговъ золотыхъ,
Не заглушай мольбы о свѣтломъ чудѣ..
Я ихъ люблю за то, что тѣла нѣтъ у нихъ,—
То души выросли на тонкихъ стебелькахъ.

О, земная!

Ты не поймешь... И если ты, страдая,
Мнѣ станешь говорить о сердцѣ, о быломъ,—
Я не пойму,—ты мнѣ теперь чужая..

.....
Не подходи, ты не поймешь цвѣтовъ!..

Т. АРДОВЪ.





Морисъ Метерлинкъ.

ДУША ТЕПЛИЦЫ.

ИЗЪ М. МЕТЕРЛИНКА.

Проходятъ предъ взорами вновь вереницы.
Душа въ заточеньи, подъ зыбкимъ стекломъ,
Цвѣтетъ, расцвѣтаетъ въ плѣну голубомъ,
И тянутся стебли до кровли теплицы.
Теплица живой, но усталой души!
О, эти желанья мои безъ отвѣта!
О, 'лилии, ждущія полного свѣта!
На тихой водѣ въ полуснѣ камыши!
О, какъ бы желалъ я—найти подъ забвеньемъ
Закрытыхъ очей, утомленныхъ отъ слезъ,
Давно пожелтѣвшіе вѣнчики грезъ,
Пройти къ полумертвымъ, забытымъ растеньямъ.
Я жду, что засохшія листья вотъ-вотъ
Опять оживутъ предъ моими очами,
Я жду, что луна голубыми перстами
Въ молчаньи раскроетъ мнѣ замкнутый входъ.

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.

НАМЪРЕНІЯ.

ИЗЪ М. МЕТЕРЛИКА.

Сжальтесь надъ цвѣтами упованій,
Чуть раскрытыми въ моихъ глазахъ!
Сжальтесь надъ часами ожиданій
На вечернихъ, смутныхъ берегахъ.

Смущены таинственные воды,
Лилии дрожать въ ихъ глубинѣ,
И бѣгутъ по влагѣ вдаль разводы...
Я закрылъ глаза, и міръ во мнѣ.

Боже! Боже! на стебляхъ отъ лилій
Вырастаютъ странные цвѣты.
Тихо взмахи серафимскихъ крылій
Двигаютъ волны въ озерѣ мечты.

И за стеблемъ стебель расцвѣтаетъ
На водѣ, по знаку, въ этотъ часъ.
И душа, какъ лебедь, раскрываетъ
Крылья бѣлые усталыхъ глазъ.

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.



Изъ „Пятнадцати пѣсень“

М. МЕТЕРЛИКА.

II.

— А если онъ вернется,
Что я сказать должна?
„Скажи: его ждала я,
Пока не умерла“!..

— А еслибъ, какъ чужую,
Разспрашивать онъ сталь?
„Отвѣтъ ему, какъ брату,
Быть можетъ, онъ страдалъ“.

— А если спросить: гдѣ ты?
Какой я дамъ отвѣтъ?
„Кольцо мое безмолвно
Отдай ему въ отвѣтъ“.

— А если онъ увидить,
Что комната пуста?
„Скажи: угасла лампа
И дверь не заперта“.

— А если о послѣднихъ
Минутахъ спросить онъ?
„Скажи: я улыбалась,
Чтобъ не заплакалъ онъ“.

О. ЧЮМИНА.



III.

Трехъ малыхъ дѣвочекъ убили,
Хотѣли знать, что въ сердцѣ ихъ.

И счастье было въ первомъ сердцѣ:
Ручьи тамъ крови потекли—
И зашипѣли три змѣи.

Другое было кротко сердце:
Потоки крови разлились—
И три барашка тамъ паслись.

И было горе въ третьемъ сердцѣ:
И тамъ, гдѣ кровь его струилась,
Три свѣтлыхъ ангела молились.

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ.



VI.

Кто-то мнѣ сказалъ
(О, дитя, мнѣ страшно!),
Кто-то мнѣ сказалъ:
Чась его насталь.

Лампу я зажгла
(О, дитя, мнѣ страшно!),
Лампу я зажгла,
Близко подошла.

Въ первыхъ же дверяхъ,
(О, дитя, мнѣ страшно!)
Въ первыхъ же дверяхъ,
Пламень задрожаль.

У вторыхъ дверей
(О, дитя, мнѣ страшно!),
У вторыхъ дверей
Пламень зашепталъ.

У дверей послѣднихъ,
(О, дитя, мнѣ страшно!),
Вспыхнувъ только разъ,
Огонекъ угасъ.

О. ЧЮМИНА.



IV.

Дѣвы, повязки неся на глазахъ,
(Прочь удалите златыя повязки!)
Дѣвы, повязки неся на глазахъ,
Ишуть судьбу на далекихъ путяхъ.

Въ часъ полудневный открыли онѣ
(О, сохраните златыя повязки!)
Въ часъ полудневный открыли онѣ
Входъ во дворецъ на лугу, въ вышинѣ.

Жизни онѣ прошептали привѣтъ
(Крѣпче стяните златыя повязки)
Жизни онѣ прошептали привѣтъ
И не вернулись: имъ выхода нѣтъ.

Л. В.



XV.

пѣсня МАДОННЫ.

Всѣмъ—кто грѣшенъ, кто въ слезахъ,
Всѣмъ—кто принялъ муки,
Открываю въ небесахъ
Благостныя руки.

Гдѣ звучалъ любви привѣтъ,
Тамъ грѣха не стало;
Душамъ скорбнымъ смерти нѣтъ,
Гдѣ любовь рыдала.

Для нея дорогъ во тьмѣ
Безконечно много.
Но слезамъ любви—ко мнѣ
Лишь одна дорога.

СЕРГѢЙ РАФАЛОВИЧЪ.



МАСКАРАДЪ.

Въ глухихъ коридорахъ и залахъ пустынныхъ
Сегодня собрались веселыя маски,
Въ увитыхъ ночными цвѣтами гостиныхъ
Открылись ихъ странныя, дикія ласки.

Надъ ними повисли тяжелыя чары,
Высокія свѣчи горѣли, краснѣя,
И въ темные сны погружались пары,
Монахъ, арлекинъ, или свѣтлая фея.

Гремѣла веселая музыка вальса
И я танцевалъ съ куртизанкой Содома,

О чемъ-то вздыхалъ я, чему-то смѣялся
И что-то мнѣ было такъ близко знакомо.

Молилъ я подругу: „сними свою маску!
Меня такъ волнуютъ и дразнятъ напѣвы,
Какую роскошную, дивную сказку
Сплетемъ мы съ тобою, о, смуглая дѣва!

Для всѣхъ ты останешься странно-чужою
И лишь для меня безконечно знакома,
И я отъ людей и отъ масокъ сокрою,
Что знаю тебя я, царица Содома!

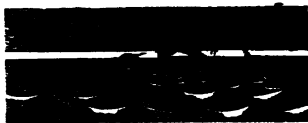
Ты вся такъ прекрасна и такъ непонятна,
Мнѣ душу измучила вѣчная тайна“...
„Пойдемъ же“, она мнѣ шепнула чуть внятно,
Какъ будто невольно, какъ будто случайно.

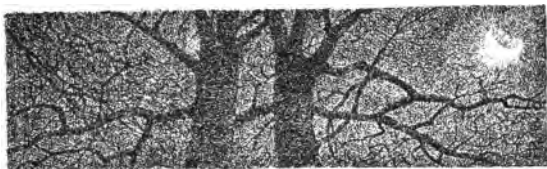
И тамъ, гдѣ поднялись въ концѣ коридора
Колонны, похожія больше на сказку,
Она улыбнулась мерцаніемъ зора
И быстрымъ движеніемъ сняла свою маску.

Я вспомнилъ, я вспомнилъ... такія же тѣни,
Такую же дикую дрожь сладострастья
И ласковый вкрадчивый шепотъ: „воскресни“,
„Умри и воскресни для нѣги и счастья“.

Я многое понялъ въ тотъ мигъ сокровенный,
Но страшную клятву мою не нарушу.
Царица, царица! Ты видишь, я—плѣнный.
Возьми мое тѣло, возьми мою душу!

Н. ГУМИЛЕВЪ.





ПОМРАЧЕНІЕ КУМИГОВЪ.

ПЕТЕРА АЛЬТЕНБЕРГА.

Она была хороша, хороша, какъ Киферея, изъ моря вышедшая и своими бѣлыми пальцами нѣжно выжимающая морскія брызги изъ бѣлокурыхъ волосъ. Ее звали Анитой.

Въ 14 лѣтъ она уже производила чудеса, и, подобно чарующей и сверкающей магнитной скалѣ притягивала къ себѣ жизненные кораблики съ ихъ капитанами, и они разбивались.

О! При взглядѣ на нее всѣ гимназисты превращались во взрослыхъ, и всѣ взрослые въ гимназистовъ! А одинъ изъ школьниковъ сунулъ ей записку, въ которой было написано: „я хотѣлъ бы умереть за васъ Анита—“.

Она же подумала: „такими словами можно жить, жить!“

Такъ явилось у нея чудное, сладкое сознаніе, что въ ней живетъ огромная божественная сила, испускающая свои золотые лучи на темныхъ, холодныхъ людей, согрѣвающая и освѣщающая страждущую землю мистеріями своего солнца! И она поняла, что сила эта, подобно электрическимъ волнамъ, исходитъ изъ ея бѣлокурыхъ волосъ и сѣроголубыхъ глазъ, ея ослѣпительной груди и бѣлыхъ рукъ, ея шумящаго шелкового платья! Она поняла это!

Такъ жила она, какъ она и начала жить, какъ великія богини—жила тѣмъ, что была любима! Мелодіей мольбы, укоризненнымъ взглядомъ влажныхъ глазъ, псалмами опьяненныхъ сердецъ, атмосферой поклоненія и обожанія жила она, зажигаемымъ ею огнемъ и разбиваніемъ сердецъ. Что приносили ей, она принимала съ благодарностью и дарила улыбкой. Такъ росла она, даря тепло и свѣтъ, расточая изъ мистерій собственной солнечной системы и мягкіе весенніе лучи, и жгучія лѣтнія жары,—и снова возвращаясь къ зимнему солнцу!

Какъ-то она сказала, смѣясь, о своихъ поклонникахъ: „это—мои земли“!

Въ другой разъ она сказала: „я знаю одного единственнаго счастливаго человѣка, мою старую банщицу. Она можетъ видѣть меня во всемъ великолѣпіи!“

Какъ-то разъ,—это было въ школѣ для плаванія—она крикнула, смѣясь, изъ своей каморки: „Mesdames, кто хочетъ посмотрѣть на меня, платитъ всего одну крону. Деньги пойдутъ бѣдной Маріи“.

И многія дѣвушки приходили и платили крону. Только одна не пришла.

И Киферея сказала ей: „Стефани, почему ты не придешь взглянуть на меня?“

„Другія приходятъ,—сказала Стефани,—не за тѣмъ, чтобы созерцать твою красоту, Анита, но чтобы найти въ тебѣ какой-нибудь недостатокъ. Я же знаю, что ты—совершенство. Такъ какъ лишъ тотъ, кто безъ недостатковъ, теряетъ чувство стыда, испытываетъ радостное чувство греческой наготы, Анита!“

Однажды появился богъ—лирическій поэтъ, ударилъ по струнамъ арфы и запѣлъ: „Киферея, изъ моря вышедшая“... И дальше не пошелъ.

Она спросила: „Кто вы, кто вы такой?“

„Я?! Сынъ боговъ, я, поэтъ“.

Она сочла его себѣ подобнымъ и подарила ему лучшую изъ своихъ улыбокъ. Но ему хотѣлось

больше, больше. Тогда она коснулась его плеча и сказала: „Вы обманули меня. Вы—не сынъ боговъ!“

„Откуда вы знаете это?“

„Вы не можете жить нектаромъ и амброзіей. Вамъ нужно наѣдаться, какъ быку на лугу. Уйдите прочь!“

Онъ же подумалъ: „Ну, однимъ вдохновеніемъ у меня больше“.

Спустя нѣкоторое время явился настоящій сынъ боговъ.

„А, ты тоже изъ такихъ“, подумала она и бросила ему самую бѣглую улыбку.

Онъ же жилъ этой улыбкой! Тогда она почувствовала, что онъ истинный сынъ боговъ, могущій жить нектаромъ и амброзіей, и равный ей.

Затѣмъ явилось новое поколѣніе, поколѣніе просвѣтителей.

И одинъ изъ нихъ, который уже не былъ язычникомъ, для котораго уже не существовало никакой Кифереи съ обрызганными моремъ волосами и никакихъ греческихъ храмовъ, сказалъ: „Я хочу имѣть васъ своей женой, Анита. Я буду уважать васъ и буду вамъ вѣренъ. Но эту языческую улыбку вы должны оставить, дорогая моя. Предоставьте это Кольмаръ, Диркенсъ, Отеро и другимъ чествуемымъ богинямъ“.

И она стала считать его съ тѣхъ поръ за самаго настоящаго, такъ какъ онъ не былъ язычникомъ и не цѣнилъ ея улыбки. Она бросила эту улыбку. И когда она бросила языческую улыбку, дѣлавшую ее прежде царицей міра,—она перестала быть язычницей, Кифереей, изъ моря выходящей, какъ пѣлъ мнимый поэтъ и какъ чувствовалъ поэтъ настоящій,—и стала госпожей Анитой Т., дамой такой-то и такой-то, имѣющей по четвергамъ приемы съ ужиномъ, за исключеніемъ театральныхъ вечеровъ.

А ея супругъ сказалъ: „Я не хочу больше философствовать на эту тему,—но я знаю, что я далъ

тебѣ миръ и спокойствіе, Анна. И пора было. Сама по себѣ ты погибла бы. Неправда-ли?!"

„Да“, сказала серьезно, безъ улыбки сверженная богиня—„благодарю тебя!“

Х. Х.



* * *

Поля мои,—снопы мои,—
Некошены,—невязаны!
Хожу по нимъ,—гляжу на нихъ,—
А быть ихъ не рассказана.

Безгрозные, безгрезные,
Надъ ними дни маячатся;
Не дѣтъ чаръ скупая ночь—
Стоячая, незрячая.

Не сѣется, не зрѣется
Среди жнивья забытаго.
Жалѣю ли, горюю ли,—
Про то нельзя испытывать.

Какія-то видѣнія—
Небужены, застужены—
Вздымаются зыбучими
Туманами—курганами...

АДЕЛАИДА ГЕРЦЫКЪ.





Юргисъ Балтрушайтисъ.

СЛАВЬСЯ, УТРО.

ОРАТОРІЯ.

Io nacqui ogni mattina.
G. d' Annunzio.

Ты каждый день, жемчужно-золотое,
Приходишь къ намъ изъ Божьей глубины—
Сзывать сердца на пиршество святое,
Возжечь людскіе трепетные сны!

Едва—взметнувъ свой факелъ огнецвѣтный—
На выси горъ Ты кинешь первый лучъ,
Ты всюду въ мірѣ слышишь гимнъ отвѣтный,
Гдѣ каждый возгласъ празднично-пѣвучъ...

Сверкнувъ росой на каждомъ темномъ склонѣ,
Ты льешься съ пѣньемъ въ каждый дынный доль,—
Дрожишь, гудишь—и въ колокольномъ звонѣ
И въ радостномъ жужжаньи раннихъ пчелъ;

Въ Твой звонкій часъ, въ готовности раскрыться,
Просторъ лишь ждетъ воскресшаго луча,
Чтобъ трепетомъ сверканья озариться,—
Чтобъ стала жизнь, какъ пламя, горяча...

И вотъ, расторгнувъ дымную преграду
Въ Твой свѣтлый вихрь вплетенныхъ облаковъ,
Ты ринулось, подобно водопаду,
И нѣтъ границъ—и нѣтъ Тебѣ оковъ!

И въ первый мигъ живого содраганья
Весь міръ поетъ, какъ вѣщая струна,
И вся земля, что кубокъ ликования,
Тобой—до края—огненно-полна!—

Но если Ты своей лазурной славой
Зажгло поля и даль зеркальныхъ водъ
И пронеслось надъ каждою дубравой,
Какъ звонкихъ вихрей свѣтлый хороводъ;

И если Ты, живымъ прикосновеньемъ,
Коснулось ярко-каждаго цвѣтка
И свой же лучъ, волшебнымъ дуновеньемъ,
Спѣшишь раздуть въ порывѣ вѣтерка,—

Ты все жъ нигдѣ съ такою силой знойной,
Такъ пламенно, раскрыться не могло,
Пока, во мглѣ, своею пѣсней стройной—
Людское сердце въ мірѣ не зажгло!

Едва пастухъ, на Твой призывъ звенящій,
Запѣлъ о часѣ радостныхъ чудесъ,
Уже оно, что птица въ темной чашѣ,
Приемлетъ кличъ отъ пламенныхъ небесъ,—

И все, что Ты, владѣя Божьимъ міромъ,
Могло раскрыть въ восторгѣ красоты,
Въ горячемъ сердцѣ дышитъ вешнимъ пиромъ,
Таинственнымъ просторомъ высоты.—

Твой горній свѣтъ, пролившійся обильно,
Воззвалъ къ нему, склоненному ко сну,

И вотъ, оно теперь уже безсильно
Свою—Твою—измѣрить глубину!

Еще морской напѣвный валъ
Къ дневной тревогѣ не воззвалъ,—
Еще, въ горахъ, туманъ ночной
Виситъ, дымясь, надъ крутизной,—
Еще орелъ своимъ крыломъ
Не машетъ въ небѣ голубомъ,—
Уже земля обнажена,
Какъ ширь, какъ даль, какъ глубина,
И пѣнно каждая струя,
Стремится въ русла бытія,
Чтобъ всѣхъ коснулось Торжество
Всѣмъ свѣтомъ часа своего!
И вотъ, въ просторѣ безъ границъ
Сверкнулъ за роемъ рой зарницъ
И всюду ливнемъ изъ огня
Поетъ-пылаетъ радость дня,
И въ дальній гулъ и въ ближній крикъ,
Восторгъ стремленія проникъ!
Какою сказкой неземной,
Во всемъ, возникъ алмазный зной!
Какая сила у луча!
Какъ ласка жизни горяча!

Безконечно шумна свѣтовая волна,
Гдѣ, въ жемчужномъ вѣнцѣ, голубѣетъ весна,
Гдѣ, какъ огненный щитъ, Божье утро горитъ,—
Гдѣ просторъ безпредѣльно раскрытъ!

Много замкнуто въ ней искрометныхъ огней
И мгновений и долгихъ безоблачныхъ дней,
Что зажгутся не разъ, какъ рубинъ, какъ алмазъ,
Въ благодатный строительный часъ!

Въ брызгахъ этой волны, неземной глубины,
Вспыхнуть мысли, засвѣтятся вѣщіе сны,—
Оросятся поля, утолится земля,
О продленіи часа моля!

Подъ дождемъ огненнымъ станетъ сердце живымъ,
Беззавѣтно-упорнымъ, разсвѣтно-инымъ,—
И заискрятся всѣ, въ первозданной красѣ,
Какъ сіяніе Утра въ ростѣ!—

Льются волны воскресшаго свѣта
Въ безпредѣльный просторъ безъ конца,
Чтобы вспыхнуло празднество лѣта
И на нивѣ и—въ сердцѣ жнеца!

Разгораясь пожаромъ всемірнымъ,
Чередуются вихремъ огни
И горять трепетаніемъ пирнымъ
Даже въ тѣхъ, кто томится въ тѣни...

Въ ликованіи кубковъ заздравныхъ
На разсвѣтномъ великомъ пиру,
Нѣтъ у знойнаго Солнца неравныхъ,
Невплетенныхъ въ живую игру,—

То, что вспыхнуло въ сердцѣ усталомъ,
То, что утро зажгло въ небесахъ,—
Трепетанье въ великомъ и маломъ
Равновѣсно на вѣчныхъ вѣсахъ,—

Всюду, Утро, безмѣрно и щедро
Воспылало Твое торжество—
Да расторгнутся темныя нѣдра
Благодатью луча Твоего!

ЮРГИСЬ БАЛТРУШАЙТИСЬ.



Похоронный звонъ.

изъ ив. жилькѣна.

О звонъ тяжелый, монотонный,
Звонъ отдаленный,
Похоронный!

И тихій звонъ по днямъ унылымъ,
По днямъ проклятымъ
Днямъ постылымъ,

О звонъ желѣзный, звонъ печальный,
Тревожный, слезный,
Погребальный!..

О звонъ, несущій въ часъ молитвы
Раскаты битвы,
Стоны битвы!..

Печальный звонъ, греми, гуди же
И внятнѣе и ближе,
Ближе!

Пусть звонъ вѣщаетъ погребальный,
Что близокъ, близокъ мракъ печальный,
Мракъ печальный!

Пусть внемлетъ воздухъ потрясенный
Звонъ похоронный,
Монотонный!

Греми жъ надъ нами суднымъ громомъ,
Какъ надъ Содомомъ,
Надъ Содомомъ!

Пусть рухнетъ городъ нашъ проклятый,
Огнемъ объятый,
Весь объятый!

Греми карающимъ набатомъ
Надъ каждымъ ложемъ, надъ развратомъ,
Надъ развратомъ!

Надъ каждымъ мерзостнымъ притономъ

Раздайся стономъ,
Перезвономъ!

Надъ башней, молніей спаленной
Испепеленной,
Опаленной!

.....

Да не сквернятъ Дары святыя,
Во храмъ души проклятыя
Въ часъ литургіи!..

И надъ убійствомъ и надъ тьмою
Греми проклятьемъ и чумою,
И чумою!

Рази невѣрныхъ, словно молоть,
Зови къ нимъ голодь,
Смерть и голодь!

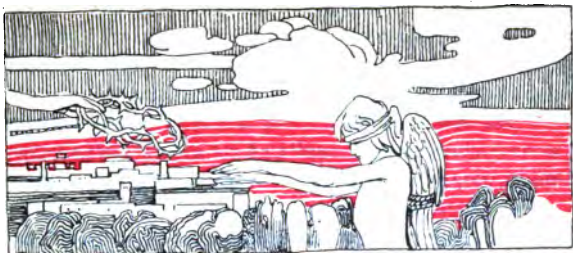
Надъ страшной бездной, злобной бездной,
Греми, какъ кличъ войны желѣзной,
Кличъ желѣзный!

Но нѣтъ отвѣта на упреки,
О звонъ далекій,
Одинокій!

Не такъ ли я зову всечасно,
Звоню всечасно
И напрасно!..

эллисъ.





КРЕСТОВЫЙ ПОХОДЪ ДѢТЕЙ.

МАРСЕЛЯ ШВОБА.

РАЗКАЗЪ ТРЕХЪ МАЛЕНЬКИХЪ ДѢТЕЙ.

Мы трое, Николай, который не умѣетъ говорить, Алень и Денисъ, тронулись въ путь, чтобы итти въ Іерусалимъ. Мы идемъ уже много времени. Бѣлые голоса звали насъ ночью. Они звали всѣхъ маленькихъ дѣтей. Они были какъ голоса птицъ, умирающихъ зимой. И сначала мы видѣли много бѣдныхъ птицъ, распростертыхъ на замерзшей землѣ, много бѣдныхъ птицъ съ красными шейками. Затѣмъ мы видѣли первые цвѣты и первыя листья и сплетали изъ нихъ кресты. Мы пѣли передъ деревьями, какъ дѣлали обыкновенно передъ Новымъ годомъ. И всѣ дѣти бѣжали къ намъ. И мы подвигались передъ толпой. Были люди, которые насъ проклинали, не зная совершенно Господа. Были женщины, которыя брали насъ за руки и задавали вопросы и покрывали поцѣлуями наши лица. И за-

тѣмъ были добрые, которые приносили намъ деревянные миски, теплое молоко и фрукты. И всѣмъ было жаль насъ. Ибо они совсѣмъ не знаютъ, куда мы идемъ, и они не слышали голосовъ.

На землѣ есть густые лѣса, и рѣки, и горы, и тропинки, полныя терній. А на концѣ земли находится море, которое мы скоро переплывемъ. А на концѣ моря находится Іерусалимъ. У насъ нѣтъ ни начальниковъ, ни проводниковъ. Но всѣ дороги хороши для насъ. Хотя Николай не умѣетъ говорить, онъ идетъ какъ мы, — Алень и Денисъ, — и всѣ земли одинаковы и одинаково опасны для дѣтей. Вездѣ густые лѣса и рѣки, и горы и терновники. Но повсюду голоса будутъ съ нами. Здѣсь есть ребенокъ, его зовутъ Евстафій и онъ родился слѣпымъ. Онъ простираетъ впередъ руки и улыбается. Мы видимъ не божье, чѣмъ онъ. Маленькая дѣвочка ведетъ его и несетъ его крестъ. Ее зовутъ Алисой. Она никогда не говоритъ и никогда не плачетъ; глаза ея все время слѣдятъ за ногами Евстафія, чтобы поддерживать его, когда онъ споткнется. Мы любимъ ихъ обоихъ. Евстафій не сможетъ увидѣть святыхъ лампадъ гроба. Но Алиса возьметъ его руки, чтобы дать ему дотронуться до плитъ гробницы.

О, какъ прекрасенъ міръ! Мы не вспоминаемъ ни о чемъ, такъ какъ мы никогда ничего не знали. Однако, мы видѣли старыя деревья и красные утесы. Иногда мы подолгу движемся впотѣмахъ. Иногда мы идемъ до вечера по свѣтлымъ лугамъ. Мы кричали имя Іисуса на ухо Николаю, и онъ хорошо его знаетъ. Но онъ не умѣетъ его произнести. Онъ радуется вмѣстѣ съ нами на то, что мы видимъ. Ибо губы его могутъ открываться для радости, и онъ ласкаетъ намъ плечи. И, такимъ образомъ, они совсѣмъ не несчастны: ибо Алиса заботится объ Евстафій, а мы, Алень и Денисъ, ухаживаемъ за Николаемъ.

Намъ говорили, что мы встрѣтимъ въ лѣсахъ людоедовъ и оборотней. Это ложь. Никто насъ не напугалъ; никто не сдѣлалъ намъ зла. Отшельники и больные приходятъ смотрѣть на насъ, и

старыя женщины зажигаютъ намъ свѣтъ въ своихъ хижинахъ. Для насъ звонятъ въ церковные колокола. Крестьяне отрываются отъ полевыхъ работъ, чтобы поглядѣть на насъ. Животныя также смотрятъ и не убѣгаютъ. И съ тѣхъ поръ, какъ мы вышли, солнце стало горячѣе, и мы срываемъ иные цвѣты. Но всѣ стебли могутъ сплетаться одинаковымъ образомъ, и наши кресты постоянно свѣжи. Итакъ, мы полны надежды и скоро увидимъ голубое море. А на краю голубого моря—Иерусалимъ. И Господь позволить приблизиться къ Своей гробницѣ маленькимъ дѣтямъ. И бѣлые голоса будутъ радостны въ ночи.



РАЗСКАЗЪ МАЛЕНЬКОЙ АЛИСЫ.

Я не могу больше итти, какъ слѣдуетъ, такъ какъ мы находимся теперь въ пылающей странѣ, куда насъ привезли два злыхъ человѣка изъ Марселя. А сначала насъ качало на морѣ, въ одинъ темный день, при молніи на небѣ. Но мой маленькій Евстафій ничего не боялся, такъ какъ онъ ничего не видѣлъ и я держала его за руки. Я его очень люблю и пришла сюда изъ-за него. Ибо я не знаю, куда мы идемъ. Уже такъ давно мы вышли. Нѣкоторые говорили намъ о городѣ Иерусалимѣ, который на концѣ моря и о нашемъ Господѣ Иисусѣ, Который насъ тамъ приметъ. А Евстафій хорошо знаетъ Спасителя нашего Иисуса Христа, но онъ не зналъ, что такое Иерусалимъ, не зналъ никакого города, никакого моря. Онъ пошелъ, подчиняясь голосамъ, и онъ слышалъ ихъ каждую ночь. Онъ слышалъ ихъ ночью благодаря тишинѣ, ибо онъ не отличаетъ ночи отъ

дня. Онъ разспрашивалъ меня объ этихъ голосахъ, но я ничего не могла сказать ему. Я ничего не знаю, но только мнѣ тяжело за Евстафія. Мы шли рядомъ съ Николаемъ, Аленомъ и Денисомъ: но они сѣли на другой корабль, и, когда солнце снова возшло, кораблей уже не было. Увы, что случилось съ ними? Мы снова съ ними встрѣтимся, когда придемъ къ Господу Іисусу. Это еще очень далеко. Говорятъ, какой-то великій царь призываетъ насъ, и въ его власти весь городъ Іерусалимъ. Въ этой странѣ все бѣлое,—дома и одежды, а лица женщинъ завѣшены покрывалами. Бѣдный Евстафій не можетъ видѣть этой бѣлизны, но я ему рассказываю о ней, и онъ радуется. Ибо онъ говоритъ, что это признакъ конца. Господь Іисусъ бѣлый. Маленькая Алиса очень устала, но она держитъ Евстафія за руку, чтобы онъ не упалъ, и ей некогда думать объ усталости. Мы отдохнемъ сегодня вечеромъ, и Алиса заснетъ, какъ обыкновенно, возлѣ Евстафія, и если голоса насъ не покинули, она попыбуетъ слышать ихъ въ тишинѣ свѣтлой ночи. И она будетъ держать Евстафія за руку, до самаго бѣлаго конца великаго пути, ибо ей нужно показать ему Господа. И конечно Господь сжа-лится надъ терпѣніемъ Евстафія и позволить Евстафію взглянуть на себя. И быть можетъ, тогда Евстафій увидитъ маленькую Алису.

ПЕР. БОРИСЪ ЗАЙЦЕВЪ.



Къ землѣ.

Въ разсвѣтнѣй вечерѣ окно открою,
Навстрѣчу росамъ и вѣтру мгlistому.
Мое Страданье, вдвоемъ съ тобою
Молиться будемъ разсвѣту чистому.

Я знаю: сила и созиданье
Въ послѣдней тайнѣ,—въ ея раскрытіи.
Теперь—мы двое, мое Страданье,
Но будемъ Два мы,—въ одномъ совитіи.

И съ новымъ ликомъ, безъ рабства счастью,
Въ лучахъ страданья, въ тѣни влюбленности,
Къ разсвѣтнѣй росамъ пойдемъ со властью,
Разбудимъ росы отъ смертной сонности.

Сойдемъ туманомъ, веселымъ дымомъ,
Прольемся въ небѣ зарю алою,
Зажжемъ желаньемъ неутолимымъ
Большую землю, сестру усталую...

Нѣтъ не къ сестрѣ мы—къ Землѣ-Невѣстѣ
Пойдемъ съ дарами всесильной ясности,
И если нужно—сгоримъ съ ней вмѣстѣ,
Сгоримъ мы трое въ огнѣ всестрастности.

3. ГИППІУСЪ.



* * *

Dormio et cor meum vigilat.

изъ Ш. ВАНЪ-ЛЕРБЕРГА.

Эти руки, прялкой утомленныя,
Спать, прозрачной влагой усыпленныя;
Миръ тревогъ—далеко, позади!..
Какъ царевны нѣжныя, стыдливыя,

Эти руки спятъ и видятъ сонъ,
 Ихъ ласкаютъ грезы горделивыя,
 Передъ нами блещетъ пышный тронъ...
 Эти косы блѣдны помертвѣлыя,
 Эти очи гаснутъ, не блестя,
 На груди легли лилеи бѣлыя...
 Я—міровъ царица и дитя!..

ЭЛЛИСЪ.



* * *

Abend ward es: vergebt
 mir dass es Abend ward...
 Nietzsche.

Сумракъ нѣжный, словно нити,
 Струны пронизали.
 Тихій часъ моей печали,
 Часъ наитій!

Въ нѣжномъ сумракѣ касаясь
 Струнъ неуловимыхъ,
 Внемлю пѣснь міровъ незримыхъ,
 Улыбаясь.

Звонъ далекій, звонъ забвеній
 Внемлю, вспоминая.
 Вечеръ! Арфа золотая
 Сновидѣній...

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.





Максимиліанъ Волошинъ.

ГОЛОВА MADAME DE-LAMBALLE.

Это гибкое, страстное тѣло
Растоптала ногами толпа мнѣ.
И надъ нимъ надругалась, раздѣла,
И на тѣло не смѣла
Взглянуть я.
Но меня отрубили отъ тѣла,
Бросивъ лоскутья
Воспаленнаго мяса на камнѣ.

И парижская голь
Унесла меня въ уличной давкѣ,
Кто-то пилъ въ кабацѣ алкоголь,
Меня бросивъ на мокромъ прилавкѣ.

Куаферъ меня поднималъ съ земли,
Расчесалъ мои свѣтлыя кудри,

Нарумянилъ онъ щеки мои
И напудрилъ...

И тогда, вся избита, изранена,
Грязной рукой
Какъ на балъ завита, нарумянена,
Я на пикъ взвилась надъ толпой
Хмѣльнымъ тирсомъ...

Неслась вакханалія,
Пѣлъ въ священномъ безумьи народъ.
И казалось, на балъ въ Версали я...
Плавный танецъ кружить и нестись...

Точно пламя гудѣли напѣвы,
И тюремную узкою лѣстницей
Въ Башню Тампля, къ окну королевы,
Поднялась я народною вѣстницей...

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ.



Полынь.

Костеръ мой догоралъ на берегу пустыни.
Шуршали шелесты струистаго стекла.
И горькая душа тоскующей полыни
Въ истомной тѣмѣ качалась и текла.

Въ гранитахъ скалъ—надломленные крылья,
Подъ бременемъ холмовъ изогнутый хребетъ,
Земли отверженной застывшія усилья,
Уста Праматери, которымъ слова нѣтъ...

Дитя ночей призывныхъ и пытливыхъ
Я самъ—твои глаза, разверстые въ ночи
Къ сіянью древнихъ Звѣздъ, такихъ же сиротли-
выхъ,

Простершихъ въ темноту зовущіе лучи.

Я самъ—уста твои безгласныя, какъ камень,

Я тоже изнемогъ въ оковахъ нѣмоты.

Я—свѣтъ потухшихъ Солнцъ. Я—словъ за-
стывшій пламень,

Незрячій и нѣмой, безкрылый, какъ и ты!.

О, Мать Невольница, на грудь твоей пустыни

Склоняюсь я въ разсвѣтной тишинѣ...

И горькій дымъ костра и горькій духъ полыни

И горечь волнъ останутся во мнѣ.

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ.



Осень.

Рдяны краски.
Воздухъ чистъ.
Вьется въ пляскѣ
Красный листь.
Это осень,
Далей просинь,
Гулы сосень,
Вѣтокъ свистъ.

Вѣтеръ клонить
Рядъ ракиль,
Листья гонить
И вихрить
Вихрей рати,
И на скатъ
Перекаати-
Поле мчить.

Воды мутить,
Гомить гамъ,

Рыщетъ, крутить
Здѣсь и тамъ,
По нагорьямъ,
Плоскогорьямъ,
Лукоморьямъ
И морямъ.

Заверть пыли
Чрезъ поля
Вихри взвили,
Пепеля,
Чьи-то руки
Напружили,
Точно луки,
Тополя.

Въ море прянетъ—
Виръ встаетъ.
Воды стянетъ,
Загудетъ,
Рветъ на части
Лодокъ снасти,
Дышетъ въ пасти
Пѣнныхъ водъ.

Ввысь въ червленый
Солнца дискъ—
Милліоны
Алыхъ брызгъ,
Гребней взвивы
Струй отливы,
Коней гривы,
Пѣны взвизгъ.

МАКСИМИЛІАНЪ ВОЛОШИНЪ.



Крылья.

Крылья легкія раскину,
Стѣны воздуха раздвину,
Страны дольнія покину.

Вейтесь, искристыя нити,
Льдинки звѣздныя, плывите,
Вьюги дольнія, вздохните!

Въ сердцѣ—легкія тревоги,
Въ небѣ—звѣздныя дороги.
Среброснѣжные чертоги.

Сны метели свѣтлозмѣйной,
Пѣсни вьюги легковѣйной,
Очи дѣвы чародѣйной.

И какія-то печали
Издали,
И туманныя скрижали
Отъ земли.
И покинутые въ дали
Корабли.

И какіе-то за мысомъ
Паруса.
И какіе-то надъ моремъ
Голоса.

И вверху смежаетъ очи
Лишь одна.
И расплеснуть межъ мірами,
Надъ забытыми пирами—
Кубокъ долгой страстной ночи—
Кубокъ темнаго вина.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



СУМЕРКИ.

Черныя впадины оконъ
Нѣжно цѣлуетъ закатъ.
Землю и дали облекъ онъ
Въ розово-грустный нарядъ.
Сумерки—темныя челны
Близятъ къ закатнымъ огнямъ.
Сумерекъ мягкія волны
Солнечнымъ ранамъ—бальзамъ!
Кроткимъ, молитвеннымъ гимномъ
Встрѣчу прибытіе ихъ;
Въ воздухѣ вечера дымномъ
Тихо зарѣетъ мой стихъ.

ОДИНОКІЙ.



* * *

Я бродилъ по улицамъ крикливымъ,
Я искалъ въ вечерней желтизнѣ
Чьихъ-то глазъ, молящихъ о веснѣ,
Чьихъ-то глазъ съ серебрянымъ отливомъ.
И, когда прозрачная вуаль
Мнѣ сулила вздохи наслажденій,
Я считалъ истертые ступени
И ласкалъ и снова видѣлъ даль.
И опять по улицамъ крикливымъ,
Въ темныхъ ртахъ визгливыхъ кабаковъ,
Я искалъ неуловимыхъ сновъ,
Чьихъ-то глазъ съ серебрянымъ отливомъ.

П. ПОТЕМКИНЪ.





Оскаръ Уайльдъ.

Великанъ-эгоистъ.

Каждый день послѣ полудня, когда кончались уроки въ школѣ, дѣти приходили играть въ садъ великана.

Это былъ прекрасный большой садъ, густо заросшій мягкой травой. Тамъ и сямъ въ травѣ, точно звѣзды, мелькали цвѣты и двѣнадцать персиковыхъ деревьевъ возвышались среди зелени лужаекъ. Весной всѣ они одѣвались нѣжными бѣлыми и розовыми цвѣтами, а осенью приносили обильные плоды. Птицы ютились между ихъ вѣтвями и пѣли такъ сладко, что дѣти прерывали свои игры, чтобы ихъ послушать.

Какъ хорошо намъ здѣсь!—говорили они другъ другу.

Но вотъ насталъ день, когда великанъ вернулся домой. Цѣлая семь лѣтъ провелъ онъ въ гостяхъ у своего друга, корнвалійскаго людоеда. По прошествіи этого времени темы ихъ разгово-

ровъ истощились—они все сказали, что имѣли сказать одинъ другому—и великанъ рѣшилъ возвратиться въ свой собственный замокъ. Первое, что онъ увидѣлъ дома, были дѣти, играющія въ его саду.

—Что вы тутъ дѣлаете?—закричалъ онъ на нихъ грубымъ голосомъ, и дѣти испуганно бросились вонъ.

— Это мой садъ, онъ мнѣ принадлежитъ,—сказалъ великанъ,—кажется, это должно бы быть всѣмъ понятно, и никто кромѣ меня не смѣетъ играть въ немъ.

И вотъ онъ обнесъ садъ высокой стѣною съ такой надписью: „Нарушители права собственности будутъ преслѣдоваться по закону“. Великанъ былъ жестокимъ эгоистомъ.

Съ тѣхъ поръ бѣднымъ дѣтямъ не стало мѣста для игръ. Они попробовали играть на дорогѣ, но она была полна пыли и острыхъ камней и не понравилась имъ. Послѣ окончанія своихъ уроковъ они часто бродили вдоль высокой стѣны и вспоминали про чудный садъ.

— Какъ мы были тогда счастливы!—грустно говорили они.

Настала весна и вся окрестность разубралась пестрыми цвѣтами и оживилась маленькими птицами. Только въ саду жестокосердаго великана еще царила зима. Птицы не захотѣли оглашать его своимъ пѣніемъ, такъ какъ въ немъ не видно было дѣтей, а деревья не рѣшались цвѣсти. Однажды хорошенькій цвѣточекъ высунулъ изъ травы свою головку, но, увидѣвъ жестокую надпись на стѣнѣ, преисполнился обидой за дѣтей, спрятался опять въ землю и снова заснулъ. Единственными цѣнителями распоряженія гиганта были снѣгъ и морозъ.

— Весна позабыла этотъ садъ,—радовались они,—зато мы будемъ жить здѣсь круглый годъ.

Снѣгъ закрылъ всю траву своимъ большимъ бѣлымъ покрываломъ, а морозъ одѣлъ серебрянымъ инеемъ всѣ деревья. Они пригласили въ гости сѣверный вѣтеръ, и онъ не замедлилъ явиться.

Онъ весь былъ укутанъ мѣхами и цѣлыми днями завывалъ по саду, срывая колпаки съ печныхъ трубъ на крышѣ.

— Это прекрасное мѣстечко,—сказалъ онъ,— позовите и градъ къ себѣ въ гости.

И градъ явился. Каждый день въ продолженіе трехъ часовъ барабанилъ онъ по крышѣ замка, пока не проломилъ на ней почти всѣ черепицы; затѣмъ, со всей свойственной ему быстротою, начиналъ кружиться по саду. Онъ былъ одѣтъ въ сѣрое и дыханіе его было холодно, какъ ледъ.

— Я не могу понять, почему это весна такъ запоздала,—говорилъ эгоистичный великанъ, сидя у окна и глядя на свой холодный поблѣвшій садъ.— Надѣюсь, что погода скоро измѣнится.

Но ни весна, ни лѣто не приходили. Осень принесла съ собою золотые плоды во всѣ сады, кромѣ сада великана.

— Онъ слишкомъ эгоистиченъ,—сказала она.

Итакъ, тамъ всегда стояла зима, и сѣверный вѣтеръ, градъ и морозъ водили хороводы между собою.

Однажды утромъ только-что проснувшійся великанъ, лежа въ своей постели, услышалъ какую-то чудную музыку. Она такъ сладко ласкала его ухо. „То королевскіе музыканты вѣрно проходятъ мимо“,—подумалъ онъ. На самомъ же дѣлѣ это маленькая коноплянка запѣла подъ его окномъ, но онъ такъ давно не слышалъ пѣнія птицъ въ своемъ саду, что оно показалось ему теперь лучшей музыкой въ мірѣ. Потомъ градъ пріостановилъ свой танецъ надъ его головой, а вѣтеръ прервалъ свои завыванья; а черезъ открытое окно до него донесся нѣжный ароматъ.

— Кажется, весна наконецъ настала,—сказалъ великанъ и, вскочивъ съ кровати, онъ выглянулъ въ окно.

И что же онъ увидѣлъ?

Ему представилась чудная картина. Черезъ небольшое отверстіе въ стѣнѣ дѣти пробрались въ садъ и теперь сидѣли на вѣтвяхъ деревьевъ. На

каждомъ деревѣ, которое онъ могъ видѣть, сидѣло по маленькому существу. А деревья такъ обрадовались возвращенію дѣтей, что мгновенно покрылись цвѣтами и привѣтливо кивали вѣтвями надъ головками своихъ гостей. Птицы весело летали и восторженно щебетали, а цвѣты изъ травы ласково улыбались. Это было дивное зрѣлище. Только въ одномъ уголкѣ стояла еще зима. То былъ самый отдаленный уголокъ сада. Тамъ стоялъ маленькій мальчикъ; онъ не могъ дотянуться до вѣтвей дерева и, горько плача, озирался по сторонамъ. Бѣдное дерево все еще было покрыто инеемъ и снѣгомъ, а вѣтеръ, завывая, метался надъ нимъ.—Карабкайся, малютка!—говорило дерево, низко нагибая къ нему свои вѣтви; но мальчикъ былъ чересчуръ малъ.

И сердце великана вдругъ растаяло.

—Какой я былъ эгоистъ!—сказалъ онъ,—теперь я понимаю, почему весна не заглядывала сюда. Я посажу этого бѣдняжку на верхушку дерева, я разрушу стѣну и садъ мой навсегда сдѣлается пріютомъ дѣтскихъ игръ.

Онъ въ самомъ дѣлѣ раскаивался въ томъ, что дѣлалъ до сихъ поръ.

И вотъ онъ спустился съ лѣстницы, безшумно отворилъ дверь и вышелъ въ садъ. Завидѣвъ его, дѣти испугались и бросились бѣжать, и садъ снова принялъ зимній видъ. Лишь маленькій мальчикъ остался на мѣстѣ: глаза его были полны слезъ и онъ не замѣтилъ подходившаго великана. А великанъ тихо подкрался къ нему и, осторожно взявъ его на руки, посадилъ на дерево. И дерево внезапно зацвѣло, птички съ пѣніемъ слетѣлись къ нему, а малютка протянулъ свои ручки и, охвативъ ими шею великана, поцѣловалъ его. Другія дѣти, увидѣвъ, что великанъ уже больше не сердится, прибѣжали обратно, а съ ними вернулась и весна.

—Теперь этотъ садъ вашъ, дѣтки!—сказалъ великанъ, и, взявъ большую кирку, онъ разрушилъ стѣну. А проходившіе на рынокъ въ полдень люди

видѣли, какъ гигантъ забавлялся съ дѣтьми въ этомъ чудеснѣйшемъ изъ садовъ.

Цѣлый день играли дѣти, а вечеромъ пришли къ великану проститься.

— Но гдѣ же вашъ маленькій товарищъ,—спросилъ онъ ихъ,—мальчикъ, котораго я посадилъ на дерево?—За тотъ поцѣлуй великанъ полюбилъ его больше, чѣмъ другихъ.

— Не знаемъ,—отвѣчали дѣти,—онъ ушелъ.

— Скажите ему, чтобы онъ не боялся и пришелъ сюда завтра,—сказалъ великанъ.

Но дѣти отвѣтили, что они не знаютъ, гдѣ онъ живетъ и прежде никогда его не видѣли. И печаль овладѣла великаномъ.

Каждый день послѣ школы дѣти приходили играть съ великаномъ. Только мальчикъ, полюбившійся ему, никогда не появлялся. Великанъ былъ добръ ко всѣмъ дѣтямъ, но тосковалъ по своему первому маленькому другу и часто, вспоминая его, говорилъ:

— Какъ бы мнѣ хотѣлось снова его увидѣть!

Прошли года; великанъ состарился и одряхлѣлъ. Онъ больше не могъ играть, но, сидя въ громадномъ креслѣ, наблюдалъ за дѣтьми и любовался своимъ садомъ.

— У меня много прекрасныхъ цвѣтовъ,—говорилъ онъ,—но дѣти прекраснѣе ихъ.

Однажды въ зимнее утро, одѣваясь, онъ выглянулъ изъ своего окошка.

Теперь уже зима не была ему ненавистна: онъ зналъ, что это лишь сонъ весны и что цвѣты только отдыхали.

Вдругъ, удивленный, онъ широко открылъ глаза. Въ самомъ дальнемъ углу сада стояло дерево, все въ нѣжныхъ бѣлыхъ цвѣтахъ. Съ золотыхъ вѣтвей его свѣшивались серебряные плоды, а подъ нимъ стоялъ маленькій мальчикъ, такъ любимый великаномъ.

Охваченный радостью, великанъ побѣждалъ въ садъ и бросился къ ребенку. Но, подойдя къ нему, онъ весь побагровѣлъ отъ гнѣва и вскричалъ:

— Кто посмѣлъ тебя ранить?

Ладони ручекъ дитяти были пробиты гвоздями; такія же раны виднѣлись на его маленькихъ ножкахъ.

— Кто же посмѣлъ тебя ранить?—кричалъ великанъ:—скажи мнѣ, я возьму свой большой мечъ и изрублю его.

— Нѣтъ!—отвѣчало дитя,—потому что это раны любви.

— Кто ты?—спросилъ великанъ; странное благоговѣніе наполнило его душу и онъ преклонилъ колѣна передъ малюткой.

А дитя улыбнулось великану и сказало:

— Однажды ты позволилъ мнѣ играть въ твоёмъ саду; сегодня ты пойдешь со мною въ мой садъ, который называется Раемъ.

А пришедшія въ этотъ день дѣти нашли великана мертвымъ подъ цвѣтущимъ деревомъ.

ОСКАРЪ УАЙЛЬДЪ.





СРЕДИ ХИЩНЫХЪ ПТИЦЪ.

ФР. НИЦШЕ.

Кто хочет здѣсь внизъ,
какъ скоро
поглотить того глубина!
Но ты Заратустра,
Любишь даже бездну,
ты подобенъ въ этомъ ели?—

Которая пускаетъ корни тамъ,
гдѣ сама скала съ трепетомъ
смотреть въ глубь,—
которая медлитъ у бездны,
гдѣ все вокругъ
стремится внизъ:
среди нетерпѣнія
дикихъ обваловъ, низвергающагося ручья,
терпѣливо терпя, твердо, молчаливо,
одиоко...

Одинок о!
Кто бы отважился
быть гостемъ здѣсь,
быть твоимъ гостемъ?...

Быть можетъ, хищная птица:
которая вцѣпится
непоколебимому страдальцу
злорадно въ волосы,
съ безумнымъ смѣхомъ,
смѣхомъ хищной птицы...

Зачѣмъ такъ непоколебимо?
— издѣвается она свирѣпо:
нужно имѣть крылья, если любишь бездну...
не нужно висѣть,
какъ ты, повѣшенный!—

О, Заратустра,
лютяйшій Нимвродъ!
Недавно еще ловецъ передъ Господомъ,
тенета всяческой добродѣтели,
стрѣла злого!—

Теперь—
уловленный самимъ собою,
своя собственная добыча,
вбуравленный въ самого себя...

Теперь—
одинокій съ собою,
двоящійся въ собственномъ знаніи,
среди ста зеркалъ
искаженный передъ самимъ собою,
среди ста воспоминаній
полный сомнѣній,
усталый отъ каждой раны,
знобимый каждымъ морозомъ,
душимый собственными веревками,
Самопознающій!
свой собственный палачъ!

Зачѣмъ связалъ ты себя
веревкой своей мудрости?
Зачѣмъ завлекъ ты себя
въ рай древняго змѣя?
Зачѣмъ забрался ты
въ себя—въ себя?...

Теперь больной,
который боленъ отъ змѣйнаго яда;
узникъ,
вытянувшій тягчайшій жребій;
работающій сгорбась
въ собственномъ рудникѣ,
виѣдренный въ самого себя,
раскапывающій самого себя,
безпомощный,
окоченѣлый,
трупъ,—
обремененный собою,
обремененный ста грузами,
знающій!
самопознающій!...
мудрый Заратустра!...

Ты искалъ тягчайшаго бремени:
и вотъ нашель ты себя,—
ты не отбросишь себя отъ себя...

Подслушивая,
скорчиваясь,
человѣкъ, уже не стоящій прямо!
Ты еще сростешься со своимъ гробомъ,
сросшійся духъ!...

А недавно еще такой гордый,
на всѣхъ ходуляхъ своей гордости!
Недавно еще отшельникъ безъ Бога,
удединившійся вдвоемъ съ дьяволомъ,
багряный принцъ всяческой заносчивости!...

Теперь—
между двумя Ничто,
искривленный
вопросительный знакъ,
усталая загадка—
загадка для хищныхъ птицъ...
— Онѣ ужъ „разгадають“ тебя,
онѣ алчуть твоей „разгадки“,
онѣ уже рѣютъ вокругъ тебя, ихъ загадки,

вокругъ тебя, повѣшенный!...
О Заратустра!...
Самопознающій!...
Свой собственный палачъ!...

ПЕРЕВ. Н. ПОЛИЛОВА.



Родинѣ.

I.

О Русь! въ тоскѣ изнемогая,
Тебѣ слагаю гимны я.
Милѣ нѣтъ на свѣтѣ края,
О родина моя!

Твоихъ равнинъ нѣмая дали
Полны томительной печали,
Тоскою дышать небеса,
Среди болотъ, въ безсильи хиломъ,
Цвѣткомъ поникшимъ и унылымъ,
Восходитъ блѣдная краса.

Твои суровые просторы
Томятъ тоскующіе взоры
И души, полныя тоской.
Но и въ отчаяньи есть сладость.
Тебѣ, отчизна, стонъ и радость,
И безнадежность, и покой.

Милѣ нѣтъ на свѣтѣ края,
О Русь, о родина моя.
Тебѣ, въ тоскѣ изнемогая,
Слагаю гимны я.

II.

Люблю я грусть твоихъ просторовъ,
Мой милый край, святая Русь.
Судьбы унылыхъ приговоровъ
Я не боюсь и не стыжусь.

И всѣ твои пути мнѣ милы,
И пусть грозитъ безумный путь
И тьмой и холодомъ могилы,
Я не хочу съ него свернуть.

Не заклинаю духа злого,
И, какъ молитву наизусть,
Твержу все тѣ жъ четыре слова:
„Какой просторъ! Какая грусть!“

III.

Печалью, безсмертной печалью
Родимая дышетъ страна.
За далью, за синею далью
Земля весела и красна.

Свобода побѣды ликуетъ
Въ чужой лучезарной дали,
Но русское сердце тоскуетъ
Вдали отъ родимой земли,

Въ безумныхъ, въ напрасныхъ томленьяхъ
Томясь, какъ заклтая тѣнь,
Тоскуетъ о скудныхъ селеньяхъ,
О дымѣ родныхъ деревень.

ВЕДОРЬ СОЛОГУБЪ.



Ave Maria.

Angelus къ намъ на рѣкѣ долетѣлъ.
Вечеръ надъ городомъ дальнимъ горѣлъ,
Струи плескали въ борты золотые,
Розовый воздухъ дрожалъ и гудѣлъ—

Ave Maria—

Колоколъ пѣлъ.

Свѣсилась блѣдная ручка съ борта,—
Влага рѣчная свѣжа и чиста.
Слезы въ глазахъ у тебя огневныя,
Вскинула къ небу глаза: высота!

Ave Maria—

Шепчуть уста.

Angelus къ сердцу ласкается, льнетъ,
Дѣва Марія надъ нами плыветъ—
Вѣютъ одежды ея голубыя,
Ангеловъ рѣветъ надъ ней хороводъ...

Ave Maria—

Небо поетъ.

Пыль золотая клубится за ней.
Слезы бѣгутъ у тебя изъ очей,
Свѣтлыя слезы, какъ струи рѣчныя...
—Лилія Божьихъ, лазурныхъ полей—

Ave Maria—

Насъ пожалѣй...

Райскими розами небо цвѣтетъ.
Angelus таетъ надъ ясностью водъ.
Въ струяхъ ужъ зыблются тѣни ночныя
Берегомъ сизая дымка ползетъ...

Ave Maria—

Сердце поетъ...

Вл. ЛЕНСКИЙ.





Станиславъ Пшибышевскій.

Тоска.

СТ. ПШИБЫШЕВСКАГО.

Вокругъ твоей головы вѣнокъ изъ поблекшихъ цвѣтовъ, словно корона изъ черныхъ солнцъ, а въ лицѣ твоёмъ грусть застывшихъ звѣздъ.

У ногъ твоихъ замираетъ буря моей жизни, гаснущей волной обливаетъ твои стопы болѣзненный плодъ моей души — сѣрыми крыльями окружаетъ тебя безуміе моихъ туманныхъ предопредѣленій — колыбель ты моя, гробница!... Изъ черныхъ туманныхъ дымокъ моего начала выросла ты въ пасмурный небосводъ, и въ хрупкой, перламутровой раковинѣ моего бытія, плывешь ты въ глухія, безбрежныя дали ты — скорбная, надъ всѣмъ царящая красота.

Ты — тоска!

И отчего же ты стала гробницей моей, отчего же твои пламенные пѣсни, которыми ты увлекаешь другихъ въ непостижимый міръ прекраснаго, звучать въ моемъ сердцѣ карканьемъ вороновъ, злыми

предчувствіями?.. Отчего красные факелы, которыми ты другимъ освѣщаешь путь къ счастью,—обступили мое ложе, какъ погребальныя свѣчи?..

Ты была для моихъ братьевъ словомъ Бога, который изъ ничего создалъ міры, ты была для нихъ ребромъ Адама, которое скрываетъ въ себѣ святыя чудеса, ты была для нихъ вѣчностью, безграничнымъ могуществомъ—и только въ мою голову вонзила ты сухіе шипы терноваго вѣнца.

Ты—скорбная, высшая красота!

Ты—тоска!

А вѣдь въ книгахъ предопредѣлений было написано, что моя душа, насытившись твоей божественною силой, возродитъ весь міръ къ новому могуществу и новой красотѣ: онъ и я произошли отъ одного начала.

Было написано, что моя душа будетъ могуществомъ твоего могущества, воздухомъ, который напоитъ плодъ земли новымъ наслажденіемъ,—обниметъ собою всѣ міры, сорветъ печати ихъ тайнъ, въ междувѣздномъ пространствѣ повиснетъ, словно царская мантия, а надъ ней упокоится твое святое величіе Искушения.

И еще было написано, что ты отдашься во власть моего могущества, обручишься со мною обручальнымъ кольцомъ моего слова; и дашь свѣтъ звукамъ, которые поплывутъ изъ-подъ моихъ рукъ въ солнечную даль родимыхъ полей и той силой и жизнью, которыми полна весна въ своихъ вѣчныхъ родахъ, будетъ биться пульсъ моихъ красокъ.

Изъ-за темныхъ горъ ты должна была взойти кровавымъ солнцемъ надъ своимъ новымъ царствомъ, и не заходить уже никогда,—вѣдь въ твоемъ новомъ царствѣ солнце никогда не заходить.

Моими муками, моей Геенной ты должна была искупить себя къ новой жизни, къ Новому Завету.

И вотъ смотри!—Здѣсь, какъ Царь Царей, царствую я, я—твое искупленіе и адъ твой!

Смотри! Величіе мое владычествуетъ надъ всебытіемъ. Я—послѣднее твое слово,—слово, которое

записывается во мракъ будущаго безконечной и все-
могущей рукой дѣло рожденное отъ Бога, дѣло
Новаго Завѣта, святое дѣло срыванія всѣхъ печатей.

Я сижу здѣсь на моемъ тронѣ и думаю, чѣмъ
бы можно тебя искупить.

Я вижу тебя!

Вокругъ твоей головы вѣнецъ изъ тысячи на-
гихъ молній, буря тысячелѣтій разметала твои во-
лосы, и цѣлая вѣчность отчаянья и счастья страш-
нымъ ураганомъ бушуетъ въ Тебѣ.

Ты плывешь въ радугахъ безумныхъ силъ, а
воля твоя, какъ ихъ клочущая бездна.

О, дай мнѣ тотъ аккордъ, который бы обнялъ
всю твою мощь. Дай мнѣ то всесильное слово „да
будетъ“ перваго дня созданія, въ которомъ бы я
могъ всю тебя высказать.

Тотъ аккордъ, то слово, что сталкиваетъ
планеты съ ихъ путей, аккордъ, который разоль-
ется по небу отъ одного края до другого, словно
громодное солнце, словно огромное зарево солнеч-
наго пожара,—о, тотъ аккордъ, то слово!

Сильнѣе! Ближе! Страшнѣе! Ха! Кто же знаетъ
это слово, кто знаетъ этотъ аккордъ?

Я, я знаю эту пѣснь,—я, сынъ твоихъ бурь,
твоего отчаянья, твоего вѣчнаго безумія!

Дай мнѣ эту новую пѣснь!

— Сильнѣе, ближе!

Разлейся въ мировомъ пространствѣ потоками
кричащихъ молній, пронесись обезумѣвшимъ ура-
ганомъ, который выбрасываетъ къ небу цѣлыя го-
ры пѣску, разразись молніей леговы, когда Онъ
мечетъ громы съ Синая: Азъ есмь Господь
Богъ, твой!

Я уже слышу бѣшеный вихрь отъ крыльевъ
этой пѣсни. уже поднимается ураганъ ея силъ въ
моихъ жилахъ, я выпрямляюсь, расту, ухожу голо-
вой въ небо... Вотъ прорывается напоръ волнъ,
вотъ уже проблескъ безграничнаго простора, вотъ
ужъ дыханіе вѣчности, вотъ ужъ...

Напрасно! Все исчезло!

Какъ червь, подтачивала ты мой царскій тронъ,
подтачивала неустанно, пока онъ не пошатнулся.
Покачнулась на моей головѣ царская корона, и
вмѣстѣ со своимъ трономъ Кесарей упалъ я на
землю: отрепья и лохмотья—вотъ моя пурпурная
мантія...

Въ холодномъ блескѣ мертвыхъ солнцъ уга-
саетъ твое лицо... На твоей головѣ вѣнокъ поблек-
шихъ цвѣтовъ... Въ хрупкой, перламутровой рако-
винѣ моей немощи плывешь ты въ темную даль
вѣчныхъ тѣней и безсилія.

Ты—страшная, высшая красота!

Ты—тоска!

ПЕРЕВ. В. ВЫСОЦКІЙ.



СКВОЗЬ ЧЕРТОГИ ДУШИ ЕГО.

СТ. ПШИБЫШЕВСКАГО.

Она шла къ нему, какъ лучъ свѣта, заблудив-
шійся въ туманѣ—словно пробивая съ трудомъ
лучами своей благодати глухую и темную мглу,
которая нависаетъ надъ болотами при разсвѣтѣ
осенняго дня. Она шла къ нему, какъ стонъ коло-
коловъ, который на десятки верстъ разносится
надъ снѣжною равниною полей, надъ черными пе-
релогами, надъ окоченѣвшимъ отъ холода бурья-
номъ въ необъятной степи.

Она шла медленно, какъ волна сумрака, зали-
вающая снѣжныя, окутанныя фіолетовымъ очаро-
ваньемъ вершины горъ. Сквозь рифы и щели проби-
ваются острыя, длинныя, клинообразныя тѣни; въ
ихъ сумракѣ таютъ чистыя полосы свѣта и тоск-
ливый фіолетовый свѣтъ, онѣ вливаются длинными,
острыми языками въ искрящуюся бѣлизну вѣч-
наго снѣга; гаснутъ понемногу хрустальныя искры;

темнѣютъ плоскогорья и спуски; по нимъ разливается тѣнь,—глубокая, вдохновенная, полная грусти и тишины...

Она шла къ нему, какъ блѣдное сіяніе серебристыхъ тополей въ ночь поминовенія усопшихъ,—въ страшную, полную отчаянія ночь. Гдѣ-то на застывшія въ страданьи поля опустился и свиститъ клубящійся туманъ вѣтра, раздается грустный шелестъ послѣднихъ листьевъ, блѣвующихъ металлическимъ блескомъ.

Онъ отступилъ назадъ въ ужасъ.

А сквозь лѣсъ колоннъ шло къ нему навстрѣчу серебристое сіяніе,—тихое, какъ сіяніе свѣта, раздражающаго тяжелую пелену мглы,—шли къ нему волнистые стоны колокольнаго звона, унылая тоска сумрака, плывущаго съ горъ въ долины.

ПЕРЕВ. В. ВЫСОЦКІЙ.



СЕРДЦЕ ВОДЫ.

LE COEUR DE L'EAU.

ИЗЪ Ж. РОДЕНБАХА.

Какъ сладостно душѣ порою изучать
То сердце, что полно мгновенныхъ измѣненій,
Больное сердце водъ и блѣдную ихъ гладь,
Гдѣ тонуть всѣ мечты и таютъ, словно тѣни!

Вода и блѣдная береза—двѣ сестры!...
Заката нѣжнаго къ ней такъ идутъ румяны...
Вода тревожно спитъ,—ей снятся океаны
И бури грозныя и новые міры...

Больная, чуткая тревожно спитъ вода,
Но пряди нервныя, незримыя для взора,
На днѣ колышутся волною... и тогда
Оно чуть морщитъ гладь нагую кругозора!

Таится въ сердцѣ боль, тамъ глубоко, на днѣ,
И эта сердца боль ничѣмъ не вырази́ма,
Пусть жаждетъ сводъ небесъ найти въ ея волнѣ
Игру своихъ цвѣтовъ,—она неуловима!..

Ея оттѣнки кто возьмется сосчитать?!.
Но вотъ изъ сердца водъ съ тоскою безотрадной
Всплываютъ лиліи гирляндю нарядной;
Средь нѣжной зелени такъ сладко имъ мечтать!

Надъ сердцемъ трепетнымъ своимъ вода не властна,
Покорна небесамъ и такъ безъ нихъ слаба,
Она скрываетъ боль... увѣ, ея борьба
Въ волненьѣ чистыхъ струй безропотна, безгласна!..

Такъ кружевной уборъ въ себѣ еще хранить
Межъ складокъ ароматъ, будя воспоминанья;
Въ живыхъ волнахъ воды нѣмая грусть царить
И идеальныхъ грезъ и сновъ очарованье!..

Такъ въ сердцѣ дѣвушки, когда тринадцать лѣтъ
Ей минуло едва—поры начало брачной—
Созрѣла тайная отрава горькихъ бѣдъ,
Что первой зрѣлости удѣлъ готовить мрач-
ный...

Вода—тревога, дрожь, внезапное смятенье,
И—блѣдность легкая; среди ея зыбей,
Какъ груди дѣвственной стыдливое рожденье,
Плѣнителенъ расцвѣтъ нетронутыхъ лилей.

О, сердце тихихъ водъ, ты все въ себѣ вмѣщаешь,
Ты сердца женскаго загадочнѣй, сложнѣй,
И ты зовешь меня, но вдругъ себя скрываешь,
Сливая контуры и тѣни всѣхъ вещей!..

Чуть вѣтерка порывъ внезапный, какъ лобзанье,
Коснется лона водъ, вода, смутившись въ мигъ,
Въ дворецъ стеклянный свой скрываетъ робкій
ликъ...

Проникнуть въ сердце водъ напрасное страданье!..

эллисъ.





Гуго фонъ-Гофмансталь.

БЕЗУМЕЦЪ И СМЕРТЬ.

ГУГО ФОНЪ-ГОФМАНСТАЛЯ.

Смерть.
Клавдіо, дворянинъ.
Слуга.

Мать Клавдіо	} мертвые.
Любовница его	
Другъ юности	

Въ домѣ Клавдіо. Костюмы двадцатыхъ годовъ.

Кабинетъ Клавдіо, въ стилѣ *en prime*. Въ глубинѣ сцены справа и слѣва большія окна, посрединѣ—стеклянная дверь, ведущая на балконъ, откуда спускается въ садъ деревянная лѣстница. Слева бѣлая дверь, справа такая же бѣлая дверь, ведущая въ спальню, завѣшенная зеленымъ бархатнымъ занавѣсомъ. У лѣваго окна письменный столъ и кресло предъ нимъ. У колоннъ стеклянные шкафы съ древностями. У стѣны справа темный рѣзной сундукъ въ готическомъ стилѣ; надъ нимъ висятъ старинные музыкальные инструменты. Картина итальянскаго художника, почти совсѣмъ почернѣвшая отъ времени. Основной тонъ обоевъ—свѣтлый, почти бѣлый: украшенія бѣлая лѣпнина и золотыя.

К л а в д і о.

(Одинъ: онъ сидитъ у окна. Вечернее солнце).

Еще сіяетъ цѣпь далекихъ горъ
Въ горячемъ блескѣ влажности воздушной.
Плыветъ вѣнецъ изъ бѣлоснѣжныхъ тучъ
На высотѣ съ каймою золотою

И съ сѣрыми тѣнями. Такъ писали
Старинные художники Мадонну—
Грядущу ея несущихъ облаковъ.
Ихъ тѣней синева лежитъ на склонахъ,
А тѣни горъ наполнили долину,
Смягчая блескъ зеленого простора;
Вершина рдѣетъ въ яркости заката.
Моей тоскѣ такъ близки стали тѣ,
Которые живутъ уединенно
Тамъ, далеко внизу, среди полей!
Богатства ихъ, добытыя руками,
Вознаграждаютъ за усталость тѣла.
Ихъ будить утра чудный, рѣзвый вѣтеръ,
Бѣгушій босикомъ по тихой степи;
Вокругъ летаютъ пчелы, въ вышинѣ
Струится жаркій, свѣтлый Божій воздухъ.
Природа отдалась имъ на служенье,
Во всѣхъ желаньяхъ ихъ течетъ природа,
Они вкушаютъ счастье въ перемѣнной
Игрѣ усталости и свѣжихъ силъ.
Ужъ потонуло солнце золотое
Въ зеленомъ дальнемъ зеркалѣ морей;
Послѣдній свѣтъ блистаетъ сквозь деревья;
Теперь клубится красный дымъ; побережье
Пылаетъ заревомъ; тамъ—города,
Изъ волнъ они выходятъ, какъ наяды,
Качаютъ на высокихъ корабляхъ,
Какъ на рукахъ, дѣтей своихъ любимыхъ—
Отважныхъ благородныхъ и лукавыхъ.
Они скользятъ надъ дальними морями,
Гдѣ никогда корма не прорѣзала
Волну, гдѣ рѣетъ таинство чудесъ,—
И душу будить дикій гнѣвъ морей,
Ее врачуетъ онъ отъ грезъ и боли...
Благословенно все, и полно смысла,
И жадно я смотрю на дальній мѣръ.
Когда же взоръ скользитъ надъ тѣмъ, что ближе,
Все кажется пустыннымъ и печальнымъ
И оскорбительнымъ; какъ будто здѣсь,
Надъ улицей и домомъ этимъ вѣется
Вся жизнь моя, упущенная мной,

Всѣ радости утраченныя, слезы,
Пролитыя въ тиши моей душой,
Безцѣльность всѣхъ исканій и надеждъ.

Стоя у окна.

Они теперь зажгли огни; весь міръ
Въ домахъ ихъ тѣсныхъ заключенъ для нихъ,
Со всѣмъ богатствомъ скорби и восторговъ,
Со всѣмъ, что держитъ душу въ заключеньи.
Они сердечно близки межъ собой,
Горюють о разлукѣ съ дальнимъ другомъ,
И если горестп постигнуть ихъ,
Они сумѣютъ и утѣшить—я же
Не въ силахъ утѣшать людей.
Въ простыхъ словахъ они передаютъ
Все нужное для смѣха и для слезъ;
Не надо имъ кровавыми ногтями
Рвать гвозди изъ дверей запечатлѣнныхъ...

Что знаю я о жизни? Только съ виду
Среди нея стоялъ я, никогда
Я съ нею не сливался. Тамъ, гдѣ люди
Берутъ или даютъ, я оставался
Нѣмымъ въ душѣ, въ бездѣйствіи, поодаль.
Я не касался устъ, любимыхъ всѣми,
Напитки жизни не пилъ я: скорбь
Могучая меня не потрясала;
Съ рыданьемъ одинокимъ никогда
Я не бродилъ по улицамъ пустыннымъ!
Когда я ощущалъ въ себѣ волненье,—
Нѣтъ,—только тѣнь естественнаго чувства,
Природы щедрой даръ,—стремился я
Умомъ чрезмерно зоркимъ все назвать,
Все взвѣсить и сравнить—а между тѣмъ
Довѣріе и счастье исчезали.

И горе,—разъѣдала мысль моя
Его, какъ щелокомъ: оно блѣднѣло,
На пряди и на нити распадалось!
Къ груди моей хотѣлъ прижать я скорбь,
Упитъся ею, въ ней найти блаженство:
Едва она крыломъ меня касалась,

Ослабѣвалъ я, и печаль смѣняли
Досада и неловкость.

Пугаясь.

Ужъ темнѣеть.

Опять томлюсь я думами... Да! время
Дѣтей имѣеть разныхъ... Я усталъ.

Слуга вносить лампу, уходитъ.

Теперь при блескѣ лампы вижу снова
Весь мертвый хламъ, здѣсь собранный годами,
Хотѣлъ проникнуть тайно я чрезъ вещи
Въ ту жизнь, куда не зналъ прямыхъ путей
И о которой молча тосковалъ.

Ходить нѣкоторое время въ задумчивости вздѣ и впередъ.
За сценою раздаются манящіе и волнующіе звуки скрипки,
сначала издалека, потомъ прибѣгаются и звучать полно и
могуче, какъ будто они врываются изъ комнаты рядомъ.

Что? Музыка?.. Какъ странно говорить
Она душѣ! Не вздорныя ли рѣчи
Меня смутили?—Нѣтъ, я никогда
Не слышалъ раньше звуковъ столь глубокихъ!

Она останавливается съ правой стороны, прислушиваясь.

Всесильно проникаютъ они въ душу,
Давно-желаннымъ трепетомъ волнуютъ;
Въ нихъ жалоба печали безконечной
И безконечность радостной надежды.
Какъ будто съ этихъ старыхъ, тихихъ стѣнъ
Струится просвѣтленной жизнь моя.
Какъ матери приходъ, какъ появленіе
Возлюбленной, какъ ласковый возвратъ
Давно потеряннаго безнадежно,—
Такъ эти звуки сердце согрѣвають!
И молодости море вижу я,
И вновь стою, какъ отрокъ въ блескѣ мая,
Когда душою съ міромъ я сливался
И ощущалъ стремленій безконечность,
Предчувствуя богатства бытія!
Потомъ пришла пора моихъ скитаній,
И въ опьяненіи я взиралъ на міръ,
И розы рдѣли, и колокола
Звенѣли чуждымъ, свѣтлымъ ликованьемъ:

Какъ все тогда дрожало чудной жизнью,
Такъ близко пониманью и любви!
Я, въ восхищеньи, чувствовалъ себя
Живымъ звеномъ въ кольцѣ великомъ жизни!
Въ своей душѣ я предвкушалъ любовь,
Которая питаетъ всѣ сердца,
Я счастливъ былъ сознаниемъ блаженнымъ,
И сердце расширялось ликованиемъ,
Какъ иногда, теперь, едва въ летучемъ снѣ...
Не умолкайте, звуки! Сердце жадно
Васъ ловить, и волнуется былымъ;
Я жизнь минувшую переживаю,
Веселой, теплой кажется она;
Воспламенились нѣжные огни,
Застывшія движенія растопили
И разгорѣлись, и взлетаютъ къ небу!
Охваченъ звукомъ совѣсти начальной,
Младенчески-глубокими тонами,—
Спадаетъ гнетъ тяжелаго познания,
Нагроможденный долгими годами.
И жизнь, которой я почти не вѣдалъ,
Звенить издалика побѣднымъ звономъ,—
Со всѣмъ своимъ значеніемъ безконечнымъ,
Простая и могучая въ дарахъ
И тамъ, гдѣ отнимаетъ и лишаетъ.

Музыка умолкаетъ почти внезапно.

Умолкло то, что сердце взволновало,
Гдѣ въ человѣчески-понятномъ слышалъ
Я голоса божественные!—Тотъ,
Кто вызвалъ этотъ чудный міръ случайно,
Теперь стоитъ со шляпой, подающа
Онъ ждетъ,—бездомный, поздній музыкантъ!

У окна справа.

Здѣсь нѣтъ его внизу. Какъ странно это!
Но гдѣ же онъ? Взгляну еще сюда.

Въ то время, какъ онъ идетъ къ двери направо, занавѣсъ
тихо откидывается, и въ дверяхъ появляется Смерть со смыч-
комъ въ рукѣ; скрипка виситъ у нея у пояса. Она спокойно
глядитъ на Клавдію, который въ ужасѣ отступаетъ.

Безумный трепетъ леденить меня!
Когда такъ чудны были звуки скрипки,

Зачѣмъ же видъ твой ужась возбуждаетъ?
Дышать мнѣ трудно, волосы встаютъ,—
Уйди! Ты—смерть. Зачѣмъ пришла сюда?
Уйди! Мнѣ страшно, я кричать не въ силахъ—
Падаетъ.

Нѣтъ воздуха—я падаю—слабѣю—
Уйди! Кто звалъ тебя, выпустилъ ко мнѣ?

С м е р т ь.

Откинь твой страхъ наслѣдственный, и встань.
Я не страшна, я не скелетъ сухой:
Изъ рода Діониса и Венеры
Великое ты видишь божество.
Когда въ прекрасный, тихій лѣтній вечеръ
Листъ упалъ въ сѣни золотомъ—
Я вѣянемъ своимъ тебя касалась,
Которымъ я ласкаю все, что зрѣло.
Когда переполняли душу чувства
Могучими и теплыми волнами,
Когда въ огнѣ внезапныхъ содроганій
Огромный міръ тебѣ роднымъ казался,
Великому отдавшись хороводу,
Ты ощущалъ, какъ близокъ ты вселенной,—
Во всякій истинно-великій часъ,
Когда твоя земная оболочка
Горѣла трепетомъ—я прикасалась
Священною, таинственною силой
Къ незримымъ глубинамъ твоей души.

К л а в д і о.

Довольно. Я привѣтствую тебя
Душой стѣсненной.

Небольшая пауза.

Ты зачѣмъ пришла?

С м е р т ь.

Одну лишь цѣль имѣетъ мой приходъ.

К л а в д і о.

Я ждать еще могу. Упившись сокомъ,
Осенній листъ на землю падаетъ.
Оставь меня. Я не жилъ до сихъ поръ.

Смерть.

Какъ всѣ, ты въ жизни шелъ своимъ путемъ.

Клавдіо.

Какъ сорванные травы луговая
Потокомъ увлекаются глубокимъ,
Такъ ускользали молодые дни,
И я не зналъ, что это—жизнь уходитъ!
Потомъ стоялъ я у рѣшетокъ жизни;
Чудесъ я жаждалъ въ сладостномъ томлѣннѣ,
Желая страстно, чтобъ они взлетѣли,
Какъ молніи средь величавыхъ тучъ!
Я ждалъ напрасно,—наконецъ, утратилъ
Благоговѣніе предъ тайной жизни,
Забылъ, чего желалъ такъ жарко прежде,
Тупымъ оцѣпенѣніемъ охваченъ.
Смушенный мглою, вѣчно угнетенный,
Окованный досаднымъ раздвоеніемъ,
Отдаться чувству больше неспособный—
Я охладѣлъ, и никогда уже
Не разгорался внутреннимъ огнемъ,
Великою волной не увлекаемъ.
Я на пути своемъ не встрѣтилъ бога,
Съ которымъ человѣкъ въ борьбу вступаетъ,
Чтобъ Онъ его благословилъ потомъ.

Смерть.

Тебѣ была дана земная жизнь,
Чтобъ могъ ее прожить ты по земному.
У васъ въ сердцахъ течетъ великій духъ,
Онъ вамъ велитъ вдохнуть соотношеніе
Въ безжизненный хаосъ, чтобъ изъ него
Вы создали себѣ прекрасный садъ
Для счастья, огорченій и труда.
И горе тѣмъ, кто этого не знаютъ!
То властвуютъ, то сами служатъ люди,
Броженіе молодости духъ тѣснить,
Вы плачете во снѣ и въ утомлѣннѣ,
Но все впередъ стремитесь вашей волей,
Согрѣты теплою жизненной волной;
Тоскуете, въ отчаяннѣ дрожите—

И, зрѣлые, вы падаете всѣ
Въ мои объятія.

К л а в д і о.

Оставь меня!

Еще я не созрѣлъ, еще не жилъ!
Не стану больше дни терять въ уныньи.
Цѣпляться стану я за нашу землю;
Глубокая тоска меня волнуетъ,
Она кричитъ во мнѣ, взываетъ къ жизни!
Мой страхъ порвалъ старинныя оковы—
Я чувствую, что жить могу! Уйди!
Въ порывѣ безграничномъ, всей душою
Я привяжусь къ земному. Ты увидишь,
Что люди станутъ для меня родными,
Не куклами, не жалкими звѣрями;
Они заговорятъ съ моей душой,
Проникну я въ ихъ радости и скорби.
И вѣрности, опорѣ цѣлой жизни.
Я научусь,—и пусть добро и зло
Владѣютъ мною, какъ людьми другими!
Я стану веселъ, стану дикъ и смѣлъ,
И мертвенныя маски оживятся.
Я на пути своемъ найду людей,
Я научусь давать и брать отважно,
Я буду властвовать и подчиняться.
Замѣчая невозмутимое спокойствіе на лицѣ Смерти, съ растушимъ страхомъ.

Повѣрь, я ничего не испыталъ!
Ты думаешь, что я узналъ любовь
И ненависть? Знакома только мнѣ
Игра обманныхъ словъ, притворныхъ чувствъ?....

С м е р т ь.

Безумецъ! Научись же предъ концомъ
Цѣнить богатство жизни! Встань сюда
И молча слушай, какъ любовь земная
Другихъ дѣтей земли переполняла,
А ты одинъ остался нѣмъ и пустъ.

Смерть нѣсколько разъ проводитъ смычкомъ по струнамъ скрипки какъ бы призывая кого-то. Она стоитъ у дверей

спальни на авансценѣ справа. Клавдіо стоитъ въ полутьмѣ налѣво у стѣны. Изъ дверей справа выходитъ Мать. Она не очень стара. На ней длинное черное бархатное платье, черный бархатный головной уборъ, съ каймою изъ бѣлыхъ кружевныхъ оборокъ, обрамляющихъ лицо. Въ тонкихъ блѣдныхъ пальцахъ она держитъ бѣлый кружевной платочекъ. Она тихо выступаетъ изъ дверей и беззвучно ходитъ по комнатѣ.

Мать.

Какъ много сладкихъ мукъ вдыхаю я!
Какъ ароматъ лаванды, здѣсь остались
Слѣды существованья моего.
Жизнь матери—мученье и заботы,
И скорби безъ числа—вотъ наша доля!
Мужчины развѣ знаютъ нашу жизнь?

У сундука.

Вотъ острый край, гдѣ онъ тогда разбилъ
Себѣ високъ до крови. Былъ онъ малъ
И рѣзвъ и дикъ, и удержать его
Я не могла. А вотъ окно. Здѣсь часто
Стояла я въ тревогѣ по ночамъ,
Къ его шагамъ прислушивалась жадно,
Съ постели гналъ меня невольный страхъ.
И било два часа, и три... и онъ
Не возвращался на разсвѣтѣ блѣдномъ...
Я—чаще все одна... Займешься дѣломъ—
Польешь цвѣты, подушку выбьешь, ручки
Дверей потрешь, чтобъ мѣдъ блестѣла ярко—
И день прошелъ... А въ празднои головѣ
Круговоротъ предчувствій, темныхъ сновъ;
Томить тревога, связанная тѣсно
Съ святыней материнства,—да, она
Сродни, должно быть, сокровенной силѣ,
Которою живетъ весь міръ кругомъ.
Но не дано мнѣ болѣе дышать
Здѣсь этимъ сладкимъ воздухомъ былого,
Волнующимъ такъ скорбно и такъ нѣжно:
Вѣдь я должна уйти отсюда...

Входитъ въ среднюю дверь.

Клавдіо.

Мать!

С м е р т ь .

Молчи. Ея ты къ жизни не вернешь.

К л а в д і о .

О, мать моя! Приди: позволь мнѣ только
Дрожащими губами — да, онѣ
Всегда молчали гордо—на колѣняхъ—
Верни ее! Уйти ей не хотѣлось!
Ты видѣла, жестокая! Зачѣмъ
Велишь ты ей уйти? Верни ее!

С м е р т ь .

Оставь, она моя. Была твоею.

К л а в д і о .

И ничего не чувствовалъ я прежде!
Все сухо, все! И никогда не зналъ,
Что къ ней стремились корни моей жизни,
Что душу переполнить ея близость,
Какъ божества таинственного близость,
Любовью человѣческой и скорбью!
Смерть, не обращая вниманія на его мольбы, играетъ мелодію старинной народной пѣсни. Медленно входитъ молодая дѣвушка, на ней ростое платье изъ пестрой цвѣтистой ткани, башмаки съ тесемками, охватывающими ногу крестъ на крестъ, на шеѣ обрывокъ покрывала; голова у нея покрыта.

М о л о д а я д ѣ в у ш к а .

Такъ чудно было все,—о такъ прекрасно!
Ты никогда не думаешь о томъ?
Черезъ тебя такъ горько я страдала—
Но чтó же не кончается въ скорбяхъ!
Я видѣла такъ мало ясныхъ дней,
А эти были точно чудный сонъ!
Ты помнишь—на окнѣ моемъ цвѣты,
И старенькія эти клавикорды,
И шкафъ, гдѣ я хранила свои письма
И то, что ты порою мнѣ дарилъ.
Не смѣйся: все мнѣ мило становилось
И, какъ живое, говорило мнѣ...
Ты помнишь—мы стояли у окна,
И дождикъ шелъ—такъ душно было днемъ!
И пахли влагой свѣжія деревья...

Все умерло—погибло все живое,
Покоится въ гробу моей любви!
И все-таки,—ты далъ мнѣ это счастье
Ты былъ причиной тѣхъ прекрасныхъ дней,
И если ты потомъ безъ состраданья
Меня съ пренебреженіемъ отбросилъ,
Какъ рѣзвое дитя цвѣтокъ бросаетъ,
Жестоко, безъ вниманья—Боже мой,
Мнѣ нечѣмъ было удержать тебя!

Маленькая пауза.

Гораздо позже—послѣ долгихъ лѣтъ
Мучительной, холодной пустоты
Дано мнѣ было лечь и умереть.
И я просила предъ своимъ концомъ,
Чтобъ было мнѣ дано придти къ тебѣ
Въ твой смертный часъ, не для того чтобъ мучить,
Но чтобъ напомнить о себѣ,—какъ тотъ,
Который пьетъ вино изъ кубка, вдругъ
О счастіи забытомъ вспоминаетъ,
Вдыхая мимолетный аромать.

Она уходитъ. Клавдіо закрываетъ лицо руками. Тотчасъ послѣ ея ухода появляется человекъ приблизительно однихъ лѣтъ съ Клавдіо. На немъ дорожное платье, въ беспорядкѣ. Въ груди его вонзенный ножъ съ торчащей деревянной рукояткой. Онъ останавливается посрединѣ сцены, обратившись къ Клавдіо.

М у ж ч и н а.

Ты живъ еще, играющій сердцами?
Горация читаешь, и пріятель
Тебѣ его холодный, острый умъ?
Ты подошелъ ко мнѣ съ словами дружбы,
Охваченъ тѣмъ, чѣмъ я взволнованъ былъ;
Ты мнѣ сказалъ, что разбудилъ я мысли,
Дремавшія въ тебѣ—какъ вѣтеръ ночи
Намъ говорить порой о дальнихъ цѣляхъ.
Ты былъ струной, звучащею подъ вѣтромъ,
Я - вѣтеръ тотъ влюбленный; и всегда
Ты пользовался чѣмъ-нибудь дыханьемъ,
Душа друзей тебѣ служила. Другомъ
Я былъ твоимъ. Мы все дѣлили дружно:
И ночь и день съ людьми, и разговоры,

И увлеченье женщиной одной.
Дѣлили мы, какъ дѣлитъ господинъ
Съ рабомъ своимъ и домъ, и столъ, и кнутъ,
Носилки и собаку у воротъ.

.....
И встрѣтилась намъ женщина тогда.
Меня любовь неожиданно захватила,
Какъ сильная болѣзнь, когда всѣ чувства
Колеблются,—когда не спать они,
Устремлены къ одной завѣтной цѣли,
Исполненной и сладости, и скорби,
И блеска дикаго, и аромата,
И трепета зарницъ въ глубокой тьмѣ..
Ты видѣлъ все, и самъ за мной увлекся.
„Вѣдь на тебя похожъ я иногда,
И дѣвушкой, какъ ты, увлекся сильно;
Такъ строго-сдержанна, такъ молода
И такъ разочарована прелестно!“
Вѣдь такъ ты говорилъ?.. Увлекся ты!
А для меня она была дороже,
Чѣмъ эта кровь и этотъ мозгъ!.. Потомъ,
Когда ты вдоволь наигрался ею,
Ты кинулъ мнѣ безжизненную маску
Съ душою искаженной, какъ твоя,
Лишенную одеждъ очарованья,
Съ лицомъ безъ выраженья, съ волосами,
Безжизненно разметанными... да,
Убилъ ты отвратительнымъ искусствомъ,
Въ ничто живую душу превратилъ
Загадочно-прелестнаго созданья!
Тебя возненавидѣлъ я за это,
Какъ ненавидѣло тебя всегда
Мое предчувствіе. И я исчезъ.
Тогда судьба меня благословила,
Вдохнула въ душу мертвую мою
Желаніе и цѣль,—да, не совсѣмъ
Я умеръ въ этой ядовитой дружбѣ,
Я ожилъ вдругъ, судьбою увлеченный
Къ великой цѣли,—и кинжалъ убійцы
Меня пронзилъ, и былъ я сброшенъ въ ровъ,
Гдѣ долго разлагалось мое тѣло.

Я умеръ за великое, чего
Понять не въ силахъ ты своей душою,
И трижды я блаженнѣе тебя—
Не нуженъ никому, влачилъ ты жизнь
И никого ты въ жизни не любилъ.

Уходить.

К л а в д і о.

Такъ,—въ жизни не любилъ я никого,
И самъ я не былъ нуженъ никому.

Медленно приподнимается.

Плохой актеръ на сцену такъ, выходитъ
И равнодушно, ко всему тупой,
Сказавъ, что нужно, снова исчезаетъ,
Не тронуть голосомъ своимъ холоднымъ
И никого не тронувъ. Я прошелъ
Черезъ сцену жизни, жалкій и ненужный.
Но какъ же все случилось? Почему
Ты, смерть, впервые учишь видѣть жизнь
Безъ пелены, прекрасною и цѣльной?
И почему предчувствіе такъ ярко
Душѣ ребенка будущность рисуетъ,
Что жизнь потомъ ужъ кажется блѣднѣй,—
Однимъ воспоминаньемъ дѣтскихъ грезъ?
О, почему не слышимъ въ жизни мы
Глубокихъ звуковъ чудной этой скрипки?
Зачѣмъ они не будятъ спящій міръ,
Въ груди живущій тайно, неизвѣстный
Сознанью, какъ засыпанный цвѣтокъ?
О, если бъ жить, гдѣ слышны эти звуки,
Гдѣ мелочи, смолкая, не гнетутъ!
Гдѣ жъ эта жизнь? Да,—подари мнѣ то,
Чѣмъ ты грозила! Если жизнь моя
Была мертва,—такъ будь моею жизнью
Ты, смерть! Зачѣмъ страшиться предъ тобой.
Ты мнѣ дала въ одинъ короткій часъ,
Чего вся жизнь не подарила мнѣ,—
Вся призрачная жизни! Ее забуду,
Твоимъ чудеснымъ силамъ предаюсь!

Онъ на мгновеніе задумывается.

Возможно, что охваченъ я теперь
Предсмертной думою, волной послѣдней
Моей смертельно возбужденной крови.
Что жъ? Хорошо. Не зная я никогда
Подобныхъ чувствъ. И если долженъ я
Угаснуть въ полнотѣ глубокихъ думъ—
Такъ исчезай же, блѣдной жизни тѣнь!
Я понялъ, что живу,—лишь умирая!
Когда мы грезимъ, то избытокъ чувствъ,
Волнуя душу, будить челоѡка:
Въ избыткѣ чувствъ проснулся я теперь
Отъ сна всей жизни къ новой жизни въ смерти.

Онъ падаетъ мертвый къ ногамъ Смерти.

С м е р т ь .

Качая головою, медленно удаляется.

Какъ странны эти существа: къ познанью
Непостижимаго они стремятся,
И то, что не было написано,
Читаютъ. Хаосъ въ порядокъ претворяютъ.
Пути находятъ даже въ Вѣчно-Темномъ.

Исчезаетъ въ средней двери; ея слова теряются въ отдаленіи.
Въ комнатѣ тишина. Снаружи черезъ окно видна Смерть,
которая проходить, играя на скрипкѣ. За нею слѣдуетъ Мать,
потомъ Дѣвушка, послѣ нихъ фигура, напоминающая Клавдіо.

ПЕР. С. ОРЛОВСКІЙ.





Опять.

Я хотѣлъ бы тебя заласкать вдохновеніемъ,
Чтобъ мои надъ тобой трепетали мечты,
Какъ стремится ручей мелодическимъ пѣніемъ
Заласкать наклонившихся лилій цвѣты,
Чтобы съ каждымъ нахлынувшимъ новымъ мгновеніемъ

Ты шептала: „Опять! Это—ты! Это—ты!“

О, я буду воздушнымъ и нѣжно-внимательнымъ.
Буду вкрадчивымъ,—только не бойся меня,
И къ непознаннымъ снамъ, такъ желанно-желательнымъ,

Мы уйдемъ чрезъ сліяніе ночи и дня,
Чтобъ угаданный свѣтъ былъ какъ будто гадательнымъ,

Чтобъ мы оба зажглись отъ того же огня.

Я тебя обожгу поцѣлуемъ томительнымъ,
Несказаннымъ—однимъ—поцѣлуемъ мечты,
И блаженство твое будетъ сладко-медлительнымъ,
Между ночью и днемъ, у завѣтной черты,

Чтобъ, закрывши глаза, ты въ восторгѣ мучитель-
номъ

Прошептала: „Опять! Ахъ, опять! Это—ты!“

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



* * *

Лишь въ мигъ разставанья возможно понять со-
кровенное,

Понять сокровенное, скрытое тамъ—въ глубинѣ,
Все то, что таилось, святое, но робкое, плѣнное,
Что долго дремало и чуть трепетало во снѣ.

Лишь въ черныхъ изломахъ, въ провалахъ тупой
обыденности

Живетъ нашъ прекраснѣйшій, сказочный, при-
зрачный мигъ,

Мигъ лучшей, не первой—не первой, послѣдней
влюбленности,

Послѣднихъ страданій бездонный и чистый родникъ.
Какъ сладко, какъ больно... И сердцу такъ яв-
ственно чудится—

Надъ нами двумя—погребальный, отзвучивый звонъ,
Стонъ боли о томъ, что мечта обманула, не сбудется.
Что вотъ мы такъ любимъ—и губимъ мелькнувшій
намъ сонъ.

И въ сердце вгрызается съ дико-нежданною силою
Нежданно-живучій, тоскующій, раненый звѣрь.
Какъ больно, какъ сладко намъ... Дѣточка, дѣточ-
ка милая,

Зачѣмъ же не раньше, зачѣмъ, о, зачѣмъ лишь
теперь...

ЕВГ. ТАРАСОВЪ.



Поэту нашихъ дней.

Разувѣреніе во всемі.
Вал. Брюсовъ.

Землѣ и Небу не простила
Твоя огромная душа,
Отвергла все, за все отпустила,
Грозой безумія дыша.

Она чудовишной обидой
Отвѣтила на судъ слѣпцовъ
И встала черной пирамидой
Превыше храмовъ и дворцовъ.

Вкусивъ смертельнаго напитка,
Змѣей безумья оплетенъ,
Ты не кричишь, сведенный пыткой,
Какъ не кричить Лаокоонъ.

Упорствомъ всемогущей воли
Смиривъ мистическую дрожь,
Гигантъ, изваянный изъ боли,
Ты башней замкнутой встаешь,

Съ улыбкою ты носишь путы,
И дремлешь въ темнотѣ тюрьмы.
Какъ Гулливера лиллипуты,
Тебя во снѣ связали мы.

Надъ горькой бездной все тревожнѣй
Твой духъ, качаемъ вѣщимъ сномъ,
И безнадежнѣй, безнадежнѣй
„Разувѣреніе во всемі“.

Твой путь, созвѣзды затмевая,
Влекла огромная звѣзда,
Но у дверей завѣтныхъ Рай
И ты услышишь „Никогда!“

Ты молвилъ: „Къ небу нѣтъ возврата!
Землѣ молиться не хочу!“
И въ душномъ капишѣ разврата
Затешилъ красную свѣчу.

И все жъ, какъ рабъ, влечешься къ Раю,
Упавъ на этомъ берегу,
И ты не скажешь словъ: „Не знаю“
И не помыслишь: „Не могу!“

Но тамъ, во мглѣ души суровой,
Гдѣ день, какъ ночь, угрюмъ и строгъ,
Я разглядѣлъ цвѣтокъ лиловый,
Полураскрывшійся цвѣтокъ...

Да, ты любилъ людей когда-то,
Какъ нынѣ любишь лишь слова,
Но, претворяя ихъ въ стигматы,
Твоя душа всегда жива.

Прими жъ восторгъ моихъ привѣтовъ
Ты, чаръ не знавшій чародѣй,
Счастливѣйшій среди поэтовъ,
Несчастнѣйшій среди людей.

эллисъ.



ЧЕТЬ И НЕЧЕТЬ.

МЕДЛЕННЫЯ СТРОКИ.

Утромъ рано,
Изъ тумана,
Солнце выглянетъ для насъ.
И освѣтитъ,
И замѣтитъ
Всѣхъ, кто любитъ этотъ часъ.

Ночью, скучно,
Однозвучно,
Упадаетъ звонъ минутъ.
О минувшемъ,
Обманувшемъ
Ихъ напѣвы намъ поютъ.

Точно съ крыши,
Тише, тише,
Капли падаютъ дождя.
Всѣ прольются,
Не вернутся,
Этотъ темный путь пройдя.

Звукъ неясный,
Безучастный,
Панахиды намъ поетъ.
„Вѣрьте, вѣрьте
Только смерти!
„Четъ и нечетъ! Нечетъ, четъ!“

„Четъ счастливымъ
„И красивымъ,
„Слабымъ нечетъ, недочетъ!
„Но, радѣя,
„Холодѣя,
„Четъ и нечетъ протечетъ!“

Звукъ неясный,
Безучастный,
Ты поешь, обманъ тая.
Нѣтъ, не вѣрю,
И въ потерю
Смыслъ иной влагаю я.

Вѣрьте, вѣрьте
Только смерти
Насъ понявшего Христа!
Солнце встанетъ,
Не обманетъ,
Вѣчно свѣтитъ красота!

Цѣль страданья,
Ожиданья,
Всѣмъ намъ свѣтлый дасть отчетъ.
Въ міръ согласный,
Вѣчно-ясный,
Четъ и нечетъ насъ влечетъ.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



Мой сонетъ.

Эй ты, старый сонетъ! Эй ты, мѣдный сонетъ!
Подолью я въ тебя серебра.
Я не спалъ до утра. Я мечталъ до утра.
Я мечталъ—не мечталъ, я гадалъ до утра.
А гадалъ я: пора или нѣтъ.
Все о томъ же: пора или нѣтъ.

Я такъ долго любилъ. Но пора или нѣтъ?
Жизнь—игра. Но любовь не игра.
И хотѣлъ бы я знать, я—угрюмый поэтъ—
Да! Хотѣлъ бы я знать—мнѣ пора или нѣтъ
Закричать въ мою старость: „Пора!“

Но вѣдь старость моя это—да или нѣтъ.
Не люблю. Не люблю... Но полюбить поэтъ.
Онъ вѣдь знаетъ, гдѣ тьма и гдѣ свѣтъ.
Я такъ молодъ. Но жизнь неизбежно стара.
Но пора или нѣтъ. Пусть еще не пора.
Ну! Звони же, сонетъ, что еще не пора.
Въ мѣдный колоколъ твой я подлилъ серебра.
Ну, звони: Не пора! Не пора...

ИВАНЪ РУКАВИШНИКОВЪ.





ПЕТЕРЬ АЛЬТЕНБЕРГЪ.

ПЕРВОБЫТНАЯ.

ПЕТЕРА АЛЬТЕНБЕРГА.

Ночью въ кафе. Четыре часа утра.
За однимъ столомъ сидятъ семь ночныхъ гулякъ
и, какъ туристы на Риги, ждутъ разсвѣта—золо-
той, розовой зари.

Но воздухъ здѣсь далеко не горный.

„Гуляка“—это человѣческая машина, выбитая
изъ колеи. Она начинаетъ останавливаться на ходу,
бросается направо, налево, понапрасну расходуетъ
силу, опрокидывается и лежитъ неподвижно, какъ
пьяница въ уличной грязи.

Эти люди сидятъ, пропиваютъ гроши, говорятъ,
говорятъ, похваляются и все больше пьянѣютъ.
Бьются объ закладъ, горячатся и ссорятся.

За другимъ столомъ сидятъ извозчики. Они
грубы, неповоротливы и молчаливы. Очень рѣдко,

почти никогда, не разгораются ихъ страсти. Все какъ-бы сковано въ нихъ. Они все вымещаютъ на лошадахъ. „Ну, ты, дьяволъ!..“ Ударъ ногой въ животъ. Но дьяволъ сидитъ здѣсь въ ресторанѣ, или въ другомъ мѣстѣ. Бѣдное животное только представитель его. Всѣ страсти срываються на лошадахъ.

Молодая дѣвушка съ прекраснымъ блѣднымъ лицомъ поникла надъ столомъ, за которымъ сидитъ блѣдный молодой человѣкъ.

—Что съ вами?—спросилъ молодой человѣкъ и прикоснулся къ ея красивой бѣлой рукѣ.

—Я боюсь,—сказала дѣвушка.

—Что нужно отъ васъ этому субъекту?

—Ничего!.. Я боюсь, что онъ меня побьетъ, когда я выйду на улицу. Я не хочу домой, я боюсь. Мнѣ совсѣмъ не надо, чтобъ меня любили. Мнѣ нужны только деньги, хорошія платья. А онъ меня будетъ бить.

— Пойдемте со мной,—сказалъ молодой человѣкъ и поднялся съ мѣста.

У него пробудилось глубокое сочувствіе къ ней за то, что уста ея вѣщали искреннія, правдивыя слова души, хотя и грубой, какъ сама природа.

„Мнѣ не нужно, чтобъ меня любили... Мнѣ нужны только деньги, хорошія платья“... Это восхищало его.

Онъ любилъ тѣхъ, чья рѣчь полностью выражаетъ сущность ихъ природы. Онъ любилъ, чтобъ звучала сама природа человѣка, а не отдѣльный инструментъ, какъ флейта или кларнетъ, изъ которыхъ можно по желанію извлечь любой звукъ. А потомъ бросить.

По этому нельзя узнать, каковъ человѣкъ. Онъ бросаетъ инструментъ—и все обрывается. Онъ—музыкантъ, а не человѣкъ... Человѣкъ не можетъ перестать звучать. Онъ всегда долженъ пѣть свою человѣческую душу, хотя бы тихо, чуть слышно... И если она грубая—пѣть грубо...

А эти культурные люди играютъ то, что имъ вздумается...

Пусть прежде всего будет правда. А изъ нея можетъ потомъ произрасти и красота! Да, можетъ.

Такъ думалъ онъ. Онъ довольствовался одной правдой.

— Вотъ я какая!—говорила она, и это восхищало его.

Онъ думалъ:—Это земля въ мѣловомъ періодѣ. Что будетъ дальше?

Вотъ почему взялъ онъ ее подъ свою охрану, сталъ ея рыцаремъ.

Она повисла на его рукѣ, прижалась къ нему изъ страха передъ своимъ Петруччіо.

— Мнѣ не надо, чтобъ меня любили,—шептала она.

Было пять часовъ утра. Кому знакомо уличное утро? Эта ранняя утренняя жизнь жалкихъ людей, промѣнявшихъ мягкое тепло постели на холодный воздухъ за 30 крейцеровъ, за 40, за 60... Изъ булочныхъ несется чудесный, теплый запахъ. Что еще? На душѣ нерадостно. Какъ непохоже все это на то состояніе, которое испытываютъ люди, когда солнце струитъ и разсыпаетъ на улицахъ теплый свѣтъ, трепеща лучами...

Онъ привелъ молодую дѣвушку къ себѣ домой. У него была маленькая комната, но она носила печать его личности. Во-первыхъ, она всегда была пропитана запахомъ айвы, которая лежала въ углу, въ деревянномъ ящикѣ. Во-вторыхъ, чистотой своей она напоминала фламандскую живопись, а на окнахъ висѣли красивыя занавѣски, прозрачныя, вязаныя, какъ старинныя брюссельскія кружева. Надъ кроватью висѣла великолѣпная гравюра „Тайная вечеря“ Гебгарда. На мѣстѣ лица Іуды, на фонѣ полуоткрытой двери была наклеена толстая золотая медаль съ художественно вырѣзанной на ней головой Спинозы.

— Этотъ смываетъ позоръ того. Онъ покрываетъ его своимъ чистымъ золотомъ, искупаетъ его.

Таковъ былъ смыслъ этого.

Молодой человекъ положилъ нѣсколько щепокъ душистаго смолистаго дерева въ широкую свѣтло-зеленую печь. Потомъ зажегъ ихъ и положилъ сверху рядъ чистыхъ сухихъ дровъ.

Скоро пламя разгорѣлось. Въ комнатѣ стало тепло и уютно.

Молодая дѣвушка сидѣла обнаженная въ углу, у печки.

Молодой человекъ сидѣлъ за своимъ столомъ, противъ нея, и писалъ въ тетради.

De pudore. Стыдливость! Быть можетъ, это лишь сознаніе той пропасти, которая лежитъ между тѣмъ, чѣмъ мы должны и можемъ быть физически, и тѣмъ, что мы есть. Мы тоскуемъ о нашемъ собственномъ „я“, которое изуродовано жизненными тисками. Эта тоска называется стыдливостью. Не смотрите на меня, люди, каковъ я есть! Мы стыдимся всего того, что разрушаетъ наше я, что препятствуетъ его расцвѣту. Это грусть о томъ, что мы еще не „последніе“, не „богоподобные“... Но что скрывать тебѣ, если ты стала собственнымъ идеаломъ, если ты сіяешь, какъ воплощенная идея?! Ты опять въ раю, и опять обнажаешь себя, какъ прежде... Красота убиваетъ стыдъ! Быть можетъ, это чувство заложено въ насъ для того, чтобъ мы своимъ совершенствомъ преодолѣвали его. Если ты таковъ, какимъ долженъ быть—сбрось съ себя всѣ покровы, побѣдоносный!

— Что вы тамъ пишете?—спросила дѣвушка.

Онъ прочелъ ей и объяснилъ свои слова.

— Это—вы,—сказалъ онъ,—я только списалъ это съ васъ.

— Это правда, я люблю свое тѣло,—сказала она.—Я чту его, какъ святыню, и очень о немъ забочусь. Для него нужно, напимѣръ, чтобъ я долго спала и чтобъ никто меня не будилъ; ему нужна простая легкая пища и еще многое другое. Когда я просыпаюсь—печь у меня уже топится, и въ комнатѣ тепло. Посреди комнаты стоитъ большая ванна съ холодной ключевой водой. Весело вскакиваю я съ постели прямо въ воду и лежу въ

ней пять минутъ. И потомъ—назадъ въ постель... Ахъ, цѣлый жизненный потокъ струится во мнѣ!.. Потомъ я встаю. Мнѣ бываетъ очень весело... Потомъ я ѣмъ куриный бульонъ съ тремя яичными желтками, потомъ морскую рыбку и рокфоръ. Я пью только чистую воду, не курю. Разъ одинъ господинъ сказалъ мнѣ, что я типъ эгоистки. Но кому я этимъ доставляю удовольствіе—себѣ, или тѣмъ, кто думаетъ: если ты таковъ, какимъ долженъ быть—сбрось съ себя покровы, побѣдоносный?!

И она стояла передъ нимъ, улыбаясь, во всей своей красотѣ...

Онъ поцѣловалъ ее въ губы.

— Вы—умная, сказалъ онъ. Но это былъ его собственный умъ.

— У васъ дыханіе, какъ запахъ сладкаго жаренаго, еще теплаго миндаля.

„Это дыханіе есть продуктъ всего организма, думалъ онъ. За это дыханіе люблю я ее. Вотъ какъ чисто можетъ быть все въ человѣкѣ!“

Высшая радость передъ лицомъ совершенства охватила его. Это былъ какъ-бы ликующій возгласъ путника, достигнувшаго горной вершины, залитой солнцемъ... выше нельзя! Спокойствіе, отдыхъ, счастье! Свершившаяся воля Бога... нѣтъ ничего священнѣе этого! А эта воля простирается и на темнаго носителя души... Да будетъ онъ прекрасенъ! Мы чтимъ прекрасный образъ, хотимъ обезсмертить его. А все несовершенное позоритъ насъ,—будь оно проклято!

Это идеальное тѣло, это чистое дыханіе растворяли низменные инстинкты и чувственность въ широкомъ сознаніи освобожденной жизни.

И такъ легли они спать, какъ братъ и сестра.

Когда она проснулась, онъ сидѣлъ передъ ней. Было три часа дня. Она раскраснѣлась отъ сна.

Въ печкѣ потрескивали душистыя сосновые дрова. Посреди комнаты стояла сверкающая ванна съ холодной ключевой водой. На столѣ, покрытомъ бѣлой скатертью, на блюдѣ лежала рыба, а въ

большой стеклянной чашкѣ отливаль золотомъ бульонъ, какъ искрящееся вино.

На серебряной тарелочкѣ лежалъ зеленовато-бѣлый кусочекъ рокфора.

— О, какой вы добрый!—сказала она удивленно. Она купалась пять минутъ. Потомъ ея цвѣтущее идеальное тѣло нѣжилось въ постели. Потомъ она нагая сѣла за столъ и стала ѣсть. Онъ служилъ ей, какъ придворный служить королю. Въ первый разъ это дитя природы чувствовало въ мужчинѣ человѣка... Для него было свято то, что было свято ей—ея прекрасное тѣло.

Она какъ-бы сознавала свое право на его заботы. Чувствовалось вѣяніе Греціи...

Между нихъ воспріятіемъ міра было много общего. Они не притворялись другъ передъ другомъ, —свободные, понимающіе... За это она любила его.

Со своимъ сложнымъ толкованіемъ ея первобытности онъ становился почти ея учителемъ. Онъ находилъ философское основаніе, психологическое объясненіе тому, что въ ней было „бессознательно прекрасно“. Онъ „познавалъ“ первобытность. Его ученіе гласило: „Все остальное не важно, если ты одаренъ божественной красотой!“ Мы не можемъ создавать людей по своему идеалу, а только развивать то, что заложено въ нихъ. Ихъ идеалъ заложень въ нихъ самихъ, а не въ насъ. Было бы правильно сказать: „учить—значить прислушиваться къ органическому росту“. А люди стремятся согнуть, придать свою форму, изломать, уничтожить... Но кого они уничтожаютъ при этомъ? Самихъ себя! А потомъ начинаютъ вздыхать о своихъ погибшихъ идеалахъ...

Уходя, дѣвушка сказала:—Подарите мнѣ эту золотую медаль, которая на картинѣ...

Это была жадность къ деньгамъ и любопытство одновременно.

Онъ вынулъ картину изъ рамы и досталъ оттуда медаль. Тогда она увидѣла голову Іуды.

—Тоже предатель...—сказала она.

—Какъ тоже? Это все тотъ же! Онъ заключенъ въ насъ, и „другой“ тоже. Но вы этого не поймете. Онъ всегда въ насъ живетъ и измѣняетъ, продаетъ, убиваетъ въ насъ идеальнаго человѣка...

Она взяла медаль съ головой Спинозы.

—Прощайте,—сказала она и поцѣловала его. Опять ощутилъ онъ это дыханіе, напоминающее запахъ горячаго сладкаго миндаля.

—Прощайте,—отвѣтилъ онъ.

И повѣсилъ картину на старое мѣсто на стѣнѣ, надъ своей кроватью.

Опять въ своей безотчетной грусти сидѣли передъ нимъ благородные ученики съ своимъ благороднѣйшимъ, безнадежно усталымъ, затравленнымъ учителемъ—этимъ цвѣтомъ всего человѣчества. А блѣдный Іуда стоялъ на фонѣ полуоткрытой двери, въ которую вливался слабый утренній свѣтъ...

Но не утро приближалось теперь къ нему... снова наступила ночь.

ПЕР. А. ГЕРЦЫКЪ.

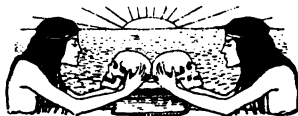


ИЗБІЕНІЕ МЛАДЕНЦЕВЪ. —

Ходить, ходить по землѣ незванный гость,
Съ гробовщиками знается,
Бранится, ругается:
Требуешь скорѣе и больше гробовъ.
Ходить, ищетъ, нюхаетъ, для смерти старается
гость,

Молотокъ беретъ, забиваетъ гвоздь,—
Чтобъ беречь покойничковъ отъ воровъ.
Скорѣе, проклятые! Побольше, побольше гробовъ!
Стала у застрѣхи старая—престарая смерть—
Смерть, старуха костлявая,
Грудь дырявая;
Вмѣсто сердца голодная волчья пасть.
Пьянѣетъ отъ младенческой крови бабушка-смерть,
Оперлась—скелетная—о гнилую жердь—
Какъ бы отъ радости ей не упасть.
Щелкаетъ зубами жадное сердце-пасть.
И все ходить, старается безликій гость—
Отгоняетъ стариковъ и старухъ,
Точно мухъ,
Даетъ младенцамъ нещадный знакъ: умри!
И вотъ что-то несетъ, въ гнѣвъъ несетъ обезумѣвшій
гость,
Смерти протянулъ, какъ собакъ кость—
Кинулъ нѣжное тѣльце, крикнулъ: жри!
Надъ нимъ безсиленъ мой знакъ—умри!..
Затряслась, поблѣднѣла старушка-смерть—
Костями рукъ бѣлоснѣжными,
Неумѣчи нѣжными,
Тихо склонила на сѣно Дитя.
Въ первый разъ въ жизни заплакала бабушка-
смерть.
Брызнула вечерними звѣздами твердь.
Искала и плакала нечаянной радостью смерть, найдя.
И, улыбалось, свѣтло улыбалось Дитя.

ИВАНЪ НОВИКОВЪ.





Янъ Каспровичъ.

СВЯТЫЙ БОЖЕ, СВЯТЫЙ КРѢПКИЙ... —

ПОЭМА ЯНА КАСПРОВИЧА.

О, необъятныя, непостижимыя силы!
Безпомощно крыльями бью я,
Какъ птица ночная, что смотритъ
Налитыми кровью глазами
На солнечный блескъ...

Святой Боже! Святой Крепкій!
Святой Безсмертный!

А кровь, что течетъ неустанно
Изъ сердца чернѣющей раны,
Крылья залила мои...
Глаза мои мгла застилаетъ,
И мгла эта—гибель для сердца,
И мгла эта—смерть для души.

Пусть она и Твоей будетъ смертью,
Святыи Боже, Святыи Крѣпкій,
Святыи Безсмертныи!
Помилуй насъ!
И пусть тѣ слезы,
Что въ ясное утро
Висятъ на колосьяхъ хлѣбовъ отдохнувшихъ,
Иль пѣной жемчужной покрыли луга
Снами окутанныхъ травъ,
Жалобой громкою стануть
И пусть поплывутъ—безъ конца—
Онѣ къ Зорямъ Твоимъ...
Пусть въ лохмотья порвутъ и отрепья
Тотъ разсвѣта кровавыи пожаръ,
Гдѣ скорбь и отчаянье дремлютъ,—
Гдѣ дремлютъ эти мѣры,
Которые Дьяволъ создалъ.
Иль, можетъ быть, Ты, о Безсмертныи,
Святыи Крѣпкій Боже!..

Отчего изъ моихъ только устъ
Должна рваться кровавая пѣсня?!
Плачь со мной!
Отчего въ эту темную бездну
Суждено мнѣ идти одному,
Хотя всюду сверкаетъ полуденныи зной?..
Отчего суждено мнѣ идти на распутиѣ,
Гдѣ кресты, покосившись, стоятъ близъ дороги
И гдѣ вѣроны, сидя на нихъ, рассыпаютъ
Своимъ клювомъ древесную гниль?

Пусть скорби глухи не молкнутъ!..

Иди же со мной!

Сбрось съ себя, Отче, лучистую ризу,
Оставь Свою силу Владыки Мировъ,
Что, какъ заря надъ пучинами моря,
Горитъ надъ бездонной пучиной вѣковъ!
Стань такимъ жалкимъ, какъ я и согбеннымъ,
Одѣтымъ въ лохмотья земной нищеты,
И узкой межою надъ полемъ ячменнымъ
Иди на распутиѣ, гдѣ плачутъ кресты,—

Гдѣ плачутъ кресты надъ забытой могилой
Давно позабытаго сына земли!
Или со всею предвѣчною силой,
Безконечною силой десницы Твоей,
Стань близъ меня и расширь мою душу,—
Пусть, какъ Твоя, она будетъ безбрежна
И, какъ Твоя, глубока!
И зрачки моихъ глазъ, устремленныхъ въ міръ
скорби,

Разорви, о Владыка скорбящихъ міровъ,
До необъятныхъ границъ,
И иди вслѣдъ за мной, по межѣ, среди поля,
Къ придорожьямъ, поросшимъ густою травой,
Гдѣ присѣла Слѣпая, несчастная Доля...

Волосы пыльные вѣтромъ разметаны,
Впадины глазъ ея полны песку,
Солнце, разжегшее небо бездонное,
Жжетъ пожелтѣвшую кожу висковъ.
Жаръ по лицу ручейками струится,
Зной сушитъ чахлыя груди ея,
Губы засохшія тщетно раскрыты—
Алчутъ живящей прохлады онѣ...
Колоколь мѣрно гудитъ,
Стономъ ползетъ по сожженнымъ лугамъ,
Плачемъ—несется по мертвымъ полямъ,
Словно онѣ хочетъ своими слезами
Изохшія рѣки сравнять съ берегами...
Вотъ онѣ замолкъ у прибрежныхъ березъ...
Снова сорвался и снова гремитъ,
Стонетъ, рыдаетъ, гудитъ и гудитъ
Въ часъ этотъ скорби и слезъ...

На землѣ, уходящей въ безбрежную даль,
Величіе смертнаго часа;
Повсюду бѣлѣютъ на ней груди тѣлъ,
Оставленныхъ безъ погребенья...
А тѣ все идутъ,—
И ужасъ ихъ гонитъ впередъ...
И у cadaго свѣшена внизъ голова,
И у cadaго ноги трясутся,
И Распятія дрожать въ исхудалыхъ рукахъ...

Хоругвями вѣтеръ играетъ,
Печальныя свѣчи, тускнѣя, горятъ
Въ безжизненномъ солнечномъ блескѣ.
И смерть передъ этой толпою идетъ,
Торжественно-гордо шагаетъ,
Насмѣшливо зубы оскаливъ,
И машетъ своею стальною косою,
Что въ зноѣ полдневномъ сверкаетъ.

А надъ ея головой,
Словно гирлянды изъ черныхъ цвѣтовъ,
Взрошенныхъ дыханьемъ печали,
Гдѣ дремлютъ гробницы вѣковъ,
Голодные вѣроны кружатъ стадами,
Темною тучей,—
И, вытянувъ клювы,
Жадно вздыхаютъ
Отраву, которою дышитъ земля,—
Зловонное смерти дыханье...

А смерть все шагаетъ впередъ и впередъ,
Съ каждымъ шагомъ на версты уходитъ
И коситъ своею стальною косою,—
И, какъ колосья въ день жатвы обильной,
Такъ поколѣнья людскія ложатся
Одно за другимъ,—
На громадной равнинѣ,
Что отдалась ея власти спокойно,
Что отдалась ея власти, не зная.
О, рыданья, мольбы колокольнаго звона,
О, деревьевъ желтѣющихъ шумъ,
О, Боже, Святый и Безсмертный!..

А тѣ все идутъ,
Утопая въ лучахъ раскаленного солнца...
Колоколь мѣрно гудитъ,
Плыветъ въ переливахъ лучей золотистыхъ,
По волнамъ искрящейся пыли,
Въ тихой грусти пшеничныхъ полей,
Къ одинокой могилѣ
Человѣка, забытаго всѣми...

Одинокую ройте могилу!
Пусть свои кости въ ней сложить

Тотъ, кто изъ матери чрева
Вынесъ несчастную долю.
Неутолимой тоскою гонимый,
Бѣжалъ онъ за призракомъ скорби,
Которая только и можетъ
Слабому дать человѣку
Голосъ всесильный,
Вырвать изъ слабой души вдохновенную пѣсню,
Мірамъ подающую жизнь.

Одинокую ройте могилу,
Гдѣ бѣлый тысячелистникъ
Растетъ у подножья
Креста,—
Гдѣ въ солнечный полдень
Сходятся души родные
Толпою забытыхъ тѣней,
И, сѣвши на выжженной солнцемъ травѣ,
Стонутъ и глухо рыдаютъ,
И стонъ этотъ мчится по сжатымъ полямъ.
Вторя мольбѣ колокольнаго звона.

Одинокую ройте могилу!
Тамъ, на широкой межѣ,
Гдѣ шершавый лопухъ зеленѣетъ,
Гдѣ подбѣлъ серебристый блеститъ,
Гдѣ полынь полевая пушится
Мягкимъ бархатомъ листьевъ своихъ!
Тамъ, гдѣ оврагъ этотъ сонный
Съ неподвижной водою на днѣ,
Гдѣ тѣ все идутъ, утопая,
Въ лучахъ раскаленного солнца,
Гдѣ пыль надъ дорогой клубится столбомъ,
Одинокую ройте могилу!
Гдѣ отъ зноя ссыхается пашня,
Гдѣ каждый клочекъ ея полонъ
Кроваваго пота,
Кровавыхъ трудовъ,
Гдѣ колоколь мѣрно гудитъ,
Гдѣ хоругвями вѣтеръ играетъ,
Гдѣ горятъ погребальныя свѣчи,
Одинокую ройте могилу!

Гдѣ тоскливое озеро блещетъ вдали,
Гдѣ лютикъ въ лугахъ отцвѣтаетъ,
Гдѣ курганы сраженныхъ бойцовъ
Безжалостный плугъ разрываетъ,
Одинокую ройте могилу!

.
Пусть свои кости въ ней сложить
Сынъ этой бѣдной земли,—
Тотъ, въ комъ была ея мука,
Былъ тотъ таинственный стонъ,
Что изъ дали глубокой несется
Въ сонный полуденный зной.
Пусть отдохнетъ въ ней навѣки
Тотъ, кто изъ хатъ ея вынесъ
Урну святыхъ ея слезъ
И ждалъ, не пришла ли минута спасенья.
Тотъ, кто съ шумящихъ полей
Собиралъ этотъ странно волнующій шумъ
И несъ его въ міръ въ своихъ пѣсняхъ и думахъ,
Какъ міра Святая Святыхъ.
Кто вѣчно скорбѣлъ,
Что ему не дано
Въ восторгъ претворить эти слезы,
Что не было силъ
Этотъ шумъ похоронный,
Шумъ безнадежный
Въ ликующій, радостный гимнъ претворить.
И, проклятый близкими сердцу людьми,
Онъ сталъ на распутьи въ часъ бури,
Какъ сломленный дубъ,
И крикомъ отчаянья вторилъ
Небесному грому...
А буря реветъ и реветъ,
И тучи клубятся,
И вѣтеръ холоднымъ дождемъ бьетъ въ глаза...
А самъ онъ дрожить, какъ береза средь чистаго
поля,—
А тамъ, на распутьи присѣвшая Доля
Дико и злобно хохочетъ,
Что крикамъ его изступленнымъ
Нигдѣ нѣтъ отвѣта,

Что ихъ поглотила въ себя
Эта буря.
Что тамъ, на пути безпросвѣтномъ,
На межѣ среди сжатыхъ полей,
Безсильный упалъ человѣкъ,
На землю поваленный бурей!
Одинокую ройте могилу!
А Ты, о Святый,
О Безсмертный,
Дыханьемъ всесильнымъ своимъ
Наполняющій бездны вѣковъ,
Отъ мора и глада, огня и меча
И отъ сатаны искушеній
Избави насъ, Боже!

Святый Боже! Святый крѣпкій!

Я здѣсь!
Я здѣсь и плачу...
Крыльями бью я,
Какъ ранняя птица,
Какъ птица ночная,
Что смотреть глазами, налитыми кровью,
На солнечный блескъ...
У ногъ моихъ
Одинокую роютъ могилу...
А черный воронъ,
Что сѣлъ на крестѣ у распутья,
Кричитъ и кричитъ
Безъ конца
И клювомъ древесную пыль разсыпаетъ...
А тѣ все идутъ,
Утопая въ блестящемъ осеннемъ туманѣ,
Какъ тѣни,
Къ огромной могилѣ идутъ.
За ними цвѣты полевые
Съ песчаныхъ отлоговъ сошли...
Тронулся тысячелистникъ
И дикой сирени кусты...
Въ прудахъ камыши зашумѣли
И, иль отряхнувши съ корней,
Двинулись слѣдомъ за ними.

Въ болотахъ тростникъ пожелтѣвшій.
Зеленый репейникъ въ поляхъ,
Лопухъ серебристо-шершавый,
И сонный подбѣлъ,
И цвѣты бѣлены,
И шиповникъ тернистый—
Встали
И слѣдомъ пошли...
Мягкими листьями
Ивы шуршать у дороги,
И въ тихомъ, печальномъ раздумьи идутъ
Слѣдомъ за всѣми...
Всюду ковры опустѣвшихъ полей,
Снявшись съ родимой земли,
Словно громадныя стѣны,
Вверхъ поднялись
И плывутъ
Въ этотъ великій часъ скорби...
А Ты, о Боже,
Безсмертный Боже,
Въ вѣнцѣ изъ лучей золотистыхъ
На тронѣ своемъ недоступномъ
Сидишь ты средь звѣздъ,
Съ шестиконечнымъ крестомъ подъ ногами,
И, звѣздную пыль отиѣря въ песочныхъ часахъ.
Ты даже не взглянешь на бѣдную землю!
Помилуй, помилуй насъ!
Ты солнцамъ пути назначаешь
И гасишь звѣзды,
Ты въ небѣ зарю зажигаешь
И сѣешь зачатіе жизни
На нивѣ страданій людскихъ,
Гдѣ люди должны умирать
И лежать въ одинокой могилѣ.
Помилуй, помилуй насъ!
О Боже.
О Крѣпкій!
Ты, упиваясь величіемъ міра,
Не видишь, что голодъ у насъ,
Что мрутъ всѣ голодною смертію!
А Дьяволъ, какъ левъ по пустынѣ,

Ходить по нашей землѣ
И сѣти свои разставляетъ
На бѣдныхъ людей.
Онъ въ сердца сыновнемъ преступную злобу
Будить къ родному отцу,
И сынъ отъ отца запираетъ свой домъ.
Онъ брату на брата даетъ въ руки ножъ,
И нашихъ сестеръ, нашихъ женъ обрекаетъ
На страшный позоръ.
Онъ наши амбары сжигаетъ,
Лишь хлѣбъ уберемъ мы съ полей,
Онъ сѣтъ кровавья распри
И сѣтъ пожары вездѣ,
И путь его полонъ проклятій...
О, страшные дни разрушеній!
А мы, этотъ проклятый родъ,
Съ крестами въ рукахъ исхудалыхъ,
Съ хоругвями надъ головой,
Что выцвѣли въ шествіи скорбномъ,
Идемъ, голодая,
По этому мертвому полю
Въ тотъ страшный,
Въ тотъ горестный часъ,
Когда умираютъ столѣтья,
И новыя снова рождаются
На тяжкую страшную долю.
Идемъ, головами поникнувъ, впередъ,
Какъ лѣсъ опустѣвшій,
А путь такъ далекъ!
И страхъ необъятный,
Какъ бичъ, все насъ гонить,
Спираетъ дыханье въ груди...
А колоколъ мѣрно гудитъ
И льется надъ мертвеннымъ полемъ,
Надъ устьями высохшихъ рѣкъ,
Несетъ свои жалобы къ соснамъ,
Что грустно клонятся къ землѣ...
А грудь нашу давятъ рыданья,
Въ глазахъ нашихъ слезы блестятъ...
Крылья израненной птицы
Безпомощно бьются о землю...

Лютикъ въ лугахъ отцвѣтаетъ...
Съ нами цвѣты полевые
Съ песчаныхъ отлоговъ сошли...
Морь убиваетъ скотину...
Домъ нашъ въ огнѣ...
Сестра утонула въ глубокой рѣкѣ...
Отецъ сгинулъ въ битвѣ далекой и страшной...
Зло надъ молитвой смѣется...
Что будетъ съ нами?!.
А Ты, Всеблагій и Всещедрый,
Отъ мора и глада, огня и меча
И отъ сатаны искушеній
Избави насъ, Боже...

Солнце зайти не успѣло,
А дьяволъ поднялся съ болотъ,
Гдѣ ночью, мелькая огнями,
Летаетъ онъ взадъ и впередъ,—
И въ часъ, когда солнце бросаетъ
Короткія тѣни повсюду,
Съ скелетомъ онъ братски обнялся
И выше косы его сталъ онъ
И выше Тебя, Вездѣсущій!...
Есть ли громъ у тебя
Есть ли туча въ полуденный зной,
Чтобы молніей грянуть
И избавить отъ Дьявола міръ?!
Бей его молніей, бей!
Пусть сгинетъ,
Пусть сгинетъ коварная сила,
Въ чьей власти и жизнь вся и смерть!..

.
О, дьяволъ!
Съ скелетомъ ты братски обнялся
И выше косы его острой
Въ небо ты сталъ уходить!...
А громъ вѣдь не грянулъ?....
Съ неутолимой печалью
Я падаю ницъ предъ Тобой!
Сжался надъ бѣдной землей,
Гдѣ скорбь и отчаянье дремлютъ,

Гдѣ скорбь и отчаянье звонъ колокольный
Страшною пѣсней покрылъ...
О, дьяволъ!
Рой мнѣ могилу
Въ заброшенномъ полѣ
Подъ глины холоднымъ покровомъ,
Гдѣ крестъ почернѣвшій стоитъ!
Но, чтобы травой не покрылась она,
Пляши на ней адскую пляску
Во вѣки вѣковъ.
А Ты, о Святый,
Ты, о Крѣпкій,
Безсмертный,
Ты, звѣздную пыль отмѣряя въ песочныхъ часахъ,
Сѣй здѣсь зачатіе жизни,
Чтобъ люди рыдали, какъ я,
Чтобъ такъ же, какъ я, проклинали,
Чтобъ въ душу щемящей молитвѣ,
Какъ стонъ колокольнаго звона
Тщетно просили пощады!...
И, чтобъ со свѣчами въ рукахъ,
Шли къ той невѣдомой дали,
Шли къ той послѣдней могилѣ.
Чтобъ сохли, какъ слезы въ глазахъ,
Которые плакать ужъ больше не могутъ,
И чтобъ умирали, какъ я,
Святый и Безсмертный, Святый, Крѣпкій Боже!

ПЕРЕВ. В. ВЫСОЦКІЙ.



Быть простымъ, одинокимъ,
Навсегда,—иль надолго,—уйти отъ людей,
Любоваться лишь небомъ высокимъ,
Лепетаніе слушать вѣтвей,

Выходить на лѣсныя дороги
Безъ казны золотой, безъ сапогъ,
Позабывъ городскіе чертоги
И толпу надоѣдливыхъ, темныхъ тревогъ.

Но на всякой тропинкѣ
Кто-нибудь да идетъ
И въ рукахъ иль въ корзинкѣ
Что-нибудь да несетъ.

Всюду крики, ауканье, рѣчи,
И ребячій бессмысленный смѣхъ,
И ненужныя, глупыя встрѣчи,
И бренчанье ненужныхъ потѣхъ.

И одежды веригамъ подобны,
И деньгами оттянуть карманъ,
И голодные нишіе злобы,
И въ домахъ притаился обманъ.

О, пустынная радость!
О, безлюдье далекихъ равнинъ!
Тишины безмятежная сладость,—
И внимающій—только одинъ.

Милый братъ мой, вздымающій крылья
Выше лѣса и тучъ!
Изъ отчизны тупого безсилья
Унеси меня, сладкою мукой измучъ...

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.





Голоса.

Цѣлый день мнѣ слышатся эти голоса.
Стѣны ль это плачутся, поютъ ли небеса?

То бросаютъ скалами низкіе басы,
Будто строятъ храмину божеской красы.

То, какъ дѣти ясные, звонки и чисты,
Держать сердце въ трепетѣ сладостной мечты.

Чуткимъ ухомъ слушаю, думаю понять,
Но неуловимые, стихнули опять.

И опять возникнули—тамъ ли въ высотѣ,
Или тутъ за стѣнками, тѣ же и не тѣ?

Силой сердце полнится, видно, лучше тамъ,
Гдѣ мои родимые ввѣрились слезамъ,

Мать ли понадѣялась сына увидеть,
Сестры ль сны увидѣли, Божью благодать?

Или ты, любимая, чувствуешь, что съ тобой
Связанъ нерушимо я вѣрною судьбой?

Вѣдать я не вѣдаю Божьи чудеса.
Только слышу: вольные это голоса.

Только знаю, радостно слышать ихъ теперь,
Сердце укрѣпляющихъ: жди, надѣйся, вѣрь.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.

Рокоборецъ.

Такъ стучится Судьба...
Слова Бетховена
(о V-ой симфоніи).

1.

ПОЕДИНОКЪ.

„Иду, иду, иду—
Судьба, твой ворогъ!
„Къ тебѣ стучусь,
На тебя иду—
Судьба, твой ворогъ!...“
И, какъ ярая воля,
Въ пескахъ горячихъ
Пріявшая зракъ
Рыжого льва,—
Онъ, съ тяжкимъ рыкомъ,
Мощнымъ прыжкомъ
Бьетъ на врага;
А ворогъ склоняетъ
Упорную выю,
Чернокосмый буй-туръ,—
Свирѣпыхъ роговъ
Дикую мощь
Ставить въ упоръ.
Орломъ поклевучимъ
Обернулся борецъ,
Бьетъ съ поднебѣсья,
Когтьми когтитъ,
Клювомъ клюетъ;
А ворогъ его
Оплелъ, оковалъ
Змѣей кольчатой—
Виситъ въ поднебесѣхъ
На шеѣ пернатой
Черный удавъ.
Паль на сыру землю
Сизый орелъ,
Свѣтлый приѣмлетъ

Ликъ человѣчій.
А недругъ—темный...
Нагія мышцы
Мужи крѣпятъ
На тугую борьбу,
На смертный бой...
И длится бой
До ночи темной.
И, сомкнувъ уста,
Съ покрытымъ ликомъ,
Въ глухую ночь
Отходить Надежда.
И, потупивъ очи,
Въ глухую ночь
Отходить Вѣра...
И Неистомный, безмолвенъ,
Въ пустынные дали
Уходить...
„Братья! други!...“

II.

ALMA DEA.

Звѣздный саванъ
Надъ степью широкой,
Надъ полемъ смерти...
Вѣтеръ ли ропшетъ
Въ степи широкой?
Женщина ль плачетъ?...
— „Кто ты, что льешь
Звѣздныя слезы
Надъ полемъ смерти?
Не плачь обо мнѣ:
О крыльяхъ плачь
Высокой воли!“
— „Крыльевъ легчайшихъ
Полетъ безвольный
Душу покорную
Въ сумерки звѣздныя,
Вольный, несетъ“.

— „Вѣдомый, сладостно
 Въ душу покорную
 Сходить мнѣ голосъ твой..
 Кто ты, забвенная?“
 — „Вспомни, вспомни“...
 — „Души ль покорной“...
 — „Сумерки звѣздныя!“
 — „Звѣздная смерть?“
 — „Вѣянье крыльевъ
 Легкихъ вспомни“...
 — „Сонъ ли младенческій?“
 — „Свѣтлый полетъ!“
 — „Ключъ ли глубинный“...
 — „Свѣтлость вспомни“...
 — „Будить сердечную“...
 — „Многоочітую!“
 — „Заповѣдную ночь?“
 — „Вспомни, вспомни“...
 — „Пѣсни ль согласныя?“
 — „Тихія вѣчныя“...
 — „Звѣздныя, тихія“...
 — „Пѣсни мои!“
 — „Родимая, вѣчная!
 Разбились крылья
 Высокой воли!“...“
 — „Крыльевъ легчайшихъ
 Полетъ безвольный
 Душу покорную
 Въ сумерки звѣздныя,
 Вольный, несеть!“

III.

ТРИЗНА.

— „Сюда, сюда,
 На призывный рогъ,
 Братья! други!
 Онъ палъ, онъ звалъ —
 Собирайтесь на пиръ
 Красной тризны!
 Всеоерженъ рокъ;

Вы жь плетите вѣнокъ
Побѣжденному краснобѣдный!"

— „Изъ-за свѣтлыхъ полей, изъ-за синихъ морей,
Изъ-за кряжныхъ твердынь,
Изъ рудыхъ пустынь, изъ блѣдныхъ льдовъ—
Идемъ на зовъ!
Идемъ, идемъ—сѣвъ смертныхъ племенъ—
Изъ нѣмыхъ временъ,—
Нагорныхъ дубовъ обреченный сѣвъ
На громовный гнѣвъ!
Мы, что жертвой падемъ,—мы хоръ ведемъ
Побѣжденному краснобѣдный!"

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



Л и л и и.

Бѣлая лиліи... цвѣтъ упоительный,
Запахъ таинственный, нѣжный, мучительный...
Влажность весенняя, сладость невнятная,
Радость лучистая, грусть непонятная...

Сердце раскрыто молящее, нѣжное,
Никнуть на стержнѣ цвѣты бѣлоснѣжные,
Пахнуть какъ будто надъ свѣжей могилою,
Будять забытое, грустное, милое...

Бѣлое платье, въ саду шелестящее,
Теплыя руки, пугливо дрожащія,
Вихря внезапнаго шумъ зеленые—
Бѣлая лиліи, нѣжно склоненныя...

Стройное тѣло и взоры лучистые,
Кажется—крылья надъ ней серебристыя,
Бурныя ласки, весной опьяенныя—
Бѣлая лиліи, низко склоненныя...

Стержень высокій и листья атласные,
Нѣжно-живыя, стыдливо-прекрасныя,
Грустныя, чистыя, влажныя, сонныя—
Бѣлыя лиліи, низко склоненныя...

ВЛ. ЛЕНСКИЙ.



ДѢТСКІЕ СТРАХИ.

Въ нашемъ домѣ нѣтъ затишья...

Жутко въ сумракѣ ночномъ

Все тужить забота мышья,—

Миръ не весь окованъ сномъ!

Кто-то ищетъ, шарить, гложетъ,

Бродить, крадется въ тиши,—

Отгоняетъ и тревожитъ

Сладкій, краткій миръ души,—

Чѣмъ-то стукнулъ ненарокомъ,

Что-то грузно уронилъ,—

Въ нашемъ домѣ, одинокомъ,

Бродятъ выходцы могилъ!

Всюду—вздохи, всюду—тѣни,

Шепотъ, drobный стукъ копытъ,

Вотъ ужъ кто-то лѣзетъ въ сѣни,—

Что же входъ-то не закрыть!

Вражьей силѣ нѣтъ преграды,—

Въ домѣ больше не свѣтло,

И колеблетъ свѣтъ лампы

Чье-то темное крыло...

ЮГИСЬ БАЛТРУШАЙТИСЬ.





Юрій Жулавскій.

МИНИАТЮРЫ.

ЮРІЯ ЖУЛАВСКАГО.

ДРУГУ.

Помнишь ли ты, мой другъ, эти годы, прожитые вмѣстѣ, эту общность чувствъ и мыслей, эти мечты, гордые и безумныя, окутывавшія весь міръ лучезарнымъ покровомъ, а однако не осуществившіяся?

Ахъ! какъ прекрасно мы понимали другъ друга въ тѣ блаженныя времена! Мы вѣрили во все то, во что такъ трудно вѣрить въ наши дни: и въ собственныя силы, и въ доброту людей, и въ справедливость, и въ будущее, свѣтлое, солнечное, лучезарное будущее! И все вокругъ насъ было такъ прекрасно, такъ божественно и такъ широко, въ той дивной странѣ, въ которой обитали мы, у подножья этихъ горъ, надъ этими озерами изъ хрусталя и лазури.

Гдѣ же эта наша страна, мой другъ, гдѣ наша вѣра, наши силы, мечты, гдѣ дружба наша?

И нынѣ мы встрѣчаемся съ тобою и подолгу смотримъ въ глаза другъ другу, но взоры наши теперь не проникаютъ болѣе въ глубину души, уста молчатъ, а при пожатіи руки мы не ощущаемъ нынѣ того могучаго, сердечнаго тока, который нѣкогда соединялъ насъ воедино.

И оба мы съ болью въ сердцѣ думаемъ (ибо, я знаю, и ты думаешь), что постепенно становимся чужими.

Я знаю, что разлучило насъ: стыдъ. Да, стыдъ—мы стыдимся оба—но не былыхъ мечтаній, не вѣры прежнихъ дней—но того, что нынѣ мы ни о чемъ ужъ не мечтаемъ и ни во что не вѣримъ.

ЖАЛОБА ГРОБОВЪ.

По тихому кладбищу шелъ Ангелъ и печаленъ онъ былъ печалью тѣхъ, кто близко видитъ смерть. А на землѣ была ночь, и весна, и аромать цвѣтущей сирени струился надъ кладбищемъ.

И вотъ, разрыдались гробы—и видно было, что заключенныя въ нихъ души не отдыхаютъ, а грезятъ во снѣ.

А Ангелъ сказалъ: „Спите! хорошо вамъ въ могилахъ, тихо и спокойно.—Къ чему же эти жалобы? Развѣ жизнь ваша протекла безъ горя и терній—и развѣ не миновало все это? Вотъ живущіе вздыхаютъ, говоря: „Ахъ, какъ бы уснуть поскорѣе!“ Спите же и не вспоминайте былого, не сожалѣйте о немъ“.

А голоса изъ могилъ отвѣчали, рыдая: „На землѣ весна, и не можемъ мы спать“.

И одинъ сказалъ Ангелу: „Ко мнѣ проникъ аромать цвѣтовъ и разбудилъ меня, припомнивъ мнѣ ту, которую я любилъ“.

„Позволь мнѣ встать и поискать ее“.

„И поискать тотъ жасминовый кустъ, подъ которымъ мы были такъ счастливы“.

„И отыскать ея уста, ея глаза, которые я нѣ-
когда лобзалъ“.

„Умирая, я думалъ: мы свидимся съ ней. А вотъ,
я одинокъ въ своемъ гробу и скверно мнѣ здѣсь.
Позволь мнѣ встать“.

Но Ангелъ въ отвѣтъ сказалъ: „Той, которую
ты любилъ, нѣтъ больше въ живыхъ“.

„И жасминовый кустъ, подъ которымъ ты такъ
счастливъ былъ, давно засохъ ужъ“.

„Я видѣлъ его послѣдній цвѣтокъ, опавшій и
увядшій“.

„Уснѣ“. И, сказавъ это, онъ ступилъ на мо-
гилу, а голосъ въ гробу вздохнулъ и умолкъ.

Но вотъ разрыдался другой гробъ, говоря: „Шу-
мать деревья, я слышу журчанье ручьевъ и не
могу спать“.

„При жизни я началъ пѣсню и умеръ, не до-
пѣвъ ее“.

„И чудится мнѣ въ шелестѣ листьевъ неясная
и спутанная мелодія моей неоконченной пѣсни.
Позволь мнѣ встать—я допою ее“.

„И пошлю я ее къ людямъ—и станетъ пѣть
мою пѣсню молодая мать у колыбели ребенка, ука-
чивая его“.

„И юная дѣва—въ присутствіи своего милаго“...

Ангелъ сказалъ: „Звукъ отзывчалъ ужъ, и люди
забыли его. И лишь деревья помнятъ твою пѣсню,
ибо ты не окончилъ ея, и шумятъ надъ твоей мо-
гилой, дабы ты спалъ“.

Сказавъ это, Ангелъ ступилъ и на вторую
могилу, а рыдавшій въ гробѣ голосъ вздохнулъ и
умолкъ.

И вотъ расплакался третій гробъ и сказалъ:
„Свѣтитъ луна, и не могу я спать“.

„При жизни видя подобный свѣтъ, я всегда
стремился къ нему, ибо онъ прекрасенъ“.

„Люди давали этому свѣту различныя названія,
но я любилъ его во всѣхъ видахъ, во всѣхъ его
проявленіяхъ, не спрашивая, какъ зовутъ его“.

„Когда я былъ ребенкомъ и имѣлъ мать, она говорила мнѣ, что послѣ смерти я вѣчно буду лицезрѣть его—и я ей вѣрилъ.

„Но вотъ я въ гробу—и меня окружаетъ тьма. Позволь мнѣ встать“.

Такъ говорилъ гробъ, а Ангелъ молчалъ и не отвѣчалъ ему.

И снова раздался голосъ, вопрошая:

„Скажи мнѣ, Ангелъ, неужели этотъ свѣтъ на землѣ померкъ?—и я усну“.

Но Ангелъ и теперь ничего не отвѣтилъ, и не ступилъ на могилу, и не усмирилъ рыдавшего въ гробъ.

Онъ сочувствовалъ заключенному въ гробъ духу, но не въ силахъ былъ воскресить его.

ПЕРЕВ. О. ВИШНЕВСКОЙ.



* * *

Больные чуждымъ намъ недугомъ,
Стремясь за чуждой намъ мечтой,
Они пришли—и острымъ плугомъ
Черту вписали за чертой.

Сказали намъ: здѣсь будетъ городъ,
Внизу сложили темный склепъ —
И городъ ихъ, какъ мощный воротъ,
Впиталъ въ себя людей и хлѣбъ.

Онъ власть свою простеръ надъ нами,
Смѣшалъ въ одно и ночь, и день,
И тѣ, кто въ немъ, манятъ огнями
И насъ влекутъ изъ деревень.

А чтобы мы поля забыли,
Чтобъ жили въ дымахъ и пыли—
Они камнями землю скрыли
И камнемъ городъ обнесли.

И чтобъ быстрѣй могли плодиться
Убийство, плѣсень и чума—
Они построили гробницы
И дали имя имъ: дома.

И каждый домъ—съ другими тѣсно
Спаялся тяжестью небесъ,
А съ двухъ сторонъ—слѣпой, отвѣсный,
Поросшій плѣсенью обрѣзъ.

И тамъ, за тяжкими камнями,—
Провалы келій. Люди въ нихъ.
Всѣ—раздѣленные стѣнами,
И каждый—близко отъ другихъ.

Кто за стѣной?—Не скажетъ городъ,
Онъ слишкомъ полонъ: ночь и день
Въ него вливаетъ мощный воротъ
Людей и хлѣбъ изъ деревень.

ЕВГ. ТАРАСОВЪ.



ЧЕЛОВѢЧЕСТВО.

Я ненавижу человѣчество
Бальмонтъ.

Въ ночи изначальной, безлунной, беззвѣздной,
Межъ рытвинъ, зловонныхъ болотъ, пустырей,
Идущіе въ бездну, рожденные бездной
Потомки полиповъ, медузъ и червей!

Вамъ вѣтры приносятъ дыханье отравы,
Снѣга—предвѣщаютъ грядущую Смерть,
И дни ваши тусклы, какъ осенью травы,
И радости ломки, какъ сгнившая жердь.

И въ сердце свое я вонзаю проклятья
За то, что я въ цѣпи позорной звено,
За то, что ношу человѣка печать я,
За то, что и мнѣ быть рабомъ суждено.

ОДИНОКІЙ.

Былъ тихій вальсъ....

Былъ тихій вечеръ, вечеръ бала,
Былъ лѣтній балъ—межъ темныхъ липъ,
Тамъ, гдѣ рѣка образовала
Свой самый выпуклый изгибъ.

Гдѣ наклонившіяся ивы
Къ ней тѣсно подступили вплоть,
Гдѣ показалось намъ,—красиво
Такъ много флаговъ приколотъ.

Былъ тихій вальсъ, былъ вальсъ пѣвучій,
И много лицъ, и много встрѣчъ...
Округло—нѣжны были тучи,
Какъ очертанья женскихъ плечъ.

Рѣка казалась изваяньемъ,
Иль отраженіемъ небесъ,
Или глухимъ воспоминаньемъ
Его ликующихъ чудесъ.

Былъ алый блескъ на склонахъ тучи,
Переходящій въ золотой.
Былъ вальсъ, призывный и пѣвучій,
Свѣтло-овѣянный мечтой.

Былъ тихій вальсъ межъ липъ старинныхъ,
И много встрѣчъ, и много лицъ,
И близость чьихъ-то длинныхъ-длинныхъ,
Красиво-загнутыхъ рѣсницъ...

ВИКТОРЪ ГОФМАНЪ.





Эдгаръ Алланъ По.

СЕРДЦЕ-ИЗОБЛИЧИТЕЛЬ.

ЭДГАРА ПО.

Да! я очень, очень нервень, страшно нервень; но почему хотите вы утверждать, что я сумасшедшій? Болѣзнь обострила мои чувства, отнюдь не ослабила ихъ, отнюдь не притупила. Прежде всего чувство слуха всегда отличалось у меня особенной остротой. Я слышалъ все, что дѣлалось на небѣ и на землѣ. Я слышалъ многое изъ того, что дѣлалось въ аду. Какой же я сумасшедшій? Слушайте! вы только слушайте и наблюдайте, какъ трезво и спокойно я могу все рассказать.

Невозможно опредѣлить, какимъ образомъ эта мысль первый разъ пришла мнѣ въ голову; но, разъ придя, она преслѣдовала меня и днемъ и ночью. Цѣли тутъ не было никакой. Страсти не было никакой. Я любилъ старика. Онъ никогда мнѣ не дѣлалъ зла. Онъ никогда меня не оскорблялъ. Денегъ его я не хотѣлъ. Я думаю, что во всемъ былъ виноватъ его глазъ! Да, именно такъ! Одинъ

его глазъ былъ похожъ на глазъ ястреба—блѣдно-голубого цвѣта съ бѣлымъ. Каждый разъ, когда онъ смотрѣлъ на меня этимъ глазомъ, кровь во мнѣ холодила, и вотъ мало-по-малу, постепенно, мной овладѣла мысль убить старика, и этимъ путемъ разъ навсегда освободиться отъ его глаза.

Такъ вотъ въ чемъ дѣло. Вы забрали себѣ въ голову, что я сумасшедшій. Сумасшедшіе не знаютъ ничего. Но вы бы только посмотрѣли на меня. Вы бы только посмотрѣли, какъ умно я все устроилъ—съ какой осторожностью—съ какой предусмотрительностью, съ какимъ притворствомъ я принялся за дѣло! Никогда я не былъ болѣе предупредителенъ къ старику, нежели въ теченіе цѣлой недѣли передъ тѣмъ, какъ я его убилъ. И каждую ночь, около полночи, я повертывалъ защелку его двери и открывалъ ее—о, какъ тихо! И потомъ, когда отверстіе было достаточно широко, чтобы пропустить мою голову, я протягивалъ туда потайной фонарь, совершенно закрытый, закрытый настолько, что ни луча оттуда не просвѣчивало, и тогда я просовывалъ въ дверь свою голову. Вотъ бы вы разсмѣялись, если бы увидѣли, съ какой ловкостью я ее просовывалъ! Я подвигалъ ее медленно, очень, очень медленно, чтобы не потревожить сонъ старика. Проходилъ цѣлый часъ, прежде чѣмъ я просовывалъ голову настолько, чтобы видѣть, какъ онъ лежитъ въ своей постели. А! Развѣ сумасшедшій могъ бы быть такъ благо-разуменъ? И затѣмъ, когда голова моя была въ комнатѣ, я осторожно открывалъ фонарь—о, такъ осторожно—такъ осторожно (потому что пружина скрипѣла), я открывалъ его какъ разъ настолько, чтобы одинъ тонкій лучъ упалъ на ястребинный глазъ. И я дѣлалъ это цѣлыхъ семь долгихъ ночей, каждую ночь, ровно въ полночь, но глазъ всегда былъ закрытъ, и, такимъ образомъ, мнѣ было невозможно совершить дѣло, потому что не старикъ меня мучилъ, а его Дурной Глазъ. И каждое утро, когда наступалъ день, я спокойно входилъ въ его комнату и оживленно разговари-

валъ съ нимъ, ласково называлъ его по имени, и спрашивалъ, какъ онъ провелъ ночь. Вы видите, старикъ долженъ былъ бы обладать очень большою проницательностью, чтобы подозрѣвать, что каждую ночь, ровно въ двѣнадцать часовъ, я смотрѣлъ на него, покуда онъ спалъ.

На восьмую ночь я опять пошелъ, и на этотъ разъ открывалъ дверь съ еще большей осторожностью, чѣмъ прежде. Минутная стрѣлка на часахъ двигается быстрее, чѣмъ двигалась тогда моя рука. Никогда до этой ночи не чувствовалъ я размѣровъ моихъ силъ, моей предусмотрительности. Я едва могъ сдерживать торжествующій восторгъ. Подумать только, я тутъ потихоньку открываю дверь, а ему даже и не снятся мои тайныя дѣла и мысли. Когда это пришло мнѣ въ голову, я засмѣялся чуть внятнымъ, прерывистымъ смѣхомъ, и, быть-можетъ, онъ услышалъ меня, потому что онъ внезапно повернулся на постели, какъ бы вздрогнувъ. Вы, пожалуй, подумаете, что я удалился—нѣтъ. Въ его комнатѣ не видно было ни зги (ставни были плотно заперты, онъ боялся воровъ), и я зналъ, что онъ не могъ видѣть открытой двери, и я все ее открывалъ, такъ спокойно, такъ спокойно.

Я уже просунулъ голову въ комнату, и готовился открыть фонарь, какъ вдругъ мой большой палецъ скользнулъ по жестяной задвижкѣ, и старикъ вскочилъ на постели, вскрикнувъ: „Кто тамъ?“

Я былъ неподвиженъ и не говорилъ ни слова. Въ продолженіе цѣлаго часа я не двинулся ни однимъ мускуломъ, и все время слышалъ, что онъ не ложился. Онъ все еще сидѣлъ на своей постели и слушалъ; совершенно такъ же, какъ ночь за ночью я слушалъ здѣсь тиканье стѣнного жука-точильщика.

Но вотъ я услышалъ слабый стонъ, и я зналъ, что это былъ стонъ смертельнаго страха. То не былъ стонъ муки или печали—о, нѣтъ!—то былъ тихій, заглушенный звукъ, который исходитъ изъ глубины души, когда она подавлена ужасомъ. Я хорошо зналъ этотъ звукъ. Много ночей, ровно въ

полночь, когда весь міръ спалъ, онъ вырывался изъ моей груди, усиливая своимъ чудовищнымъ откликомъ ужасы, терзавшіе меня. Я говорю, я зналъ его хорошо. Я зналъ, что чувствовалъ старикъ, и мнѣ было его жалко, хотя въ сердцѣ моемъ дрожалъ судорожный смѣхъ. Я зналъ, что онъ не спалъ съ того самаго мгновенія, когда легкій шумъ заставилъ его повернуться въ постели. Съ этого мгновенія страхъ все больше наползалъ на него. Онъ старался убѣдить себя, что опасенія напрасны, но не могъ. Онъ говорилъ себѣ: „Это ничего, это только вѣтеръ въ каминѣ, это только мышь пробѣжала по полу“, или: „Это только крикнулъ сверчокъ, онъ только разъ крикнулъ“. Да, онъ старался успокоить себя такими догадками; но видѣлъ, что все тщетно. Все тщетно, потому что Смерть, приближаясь къ нему, прошла передъ нимъ съ своею черной тѣнью, и окутала жертву. И это именно зловѣщее вліяніе незримой тѣни заставило его чувствовать, хотя онъ ничего не видѣлъ и не слышалъ, чувствовать присутствіе моей головы въ комнатѣ.

Я выждалъ очень терпѣливо значительный промежутокъ времени, но слыша, что старикъ не ложится, я рѣшилъ открыть въ фонарѣ маленькую щелку—очень, очень маленькую. Я сталъ ее открывать—вы представить себѣ не можете, до какой степени безшумно, безшумно—и, наконецъ, отдѣльный блѣдный лучъ, похожій на вытянутую паутинку, выдѣлился изъ щели и упалъ на ястребиный глазъ.

Онъ былъ открытъ, широко, широко открытъ, и я пришелъ въ ярость, увидѣвъ его. Я видѣлъ его совершенно явственно—это былъ тускло-голубой глазъ съ отвратительнымъ налетомъ, который заморозилъ кровь въ моихъ жилахъ, но я не видалъ ничего другого, ни чертъ его лица, ни его тѣла, потому что какъ бы по инстинкту я направилъ лучъ свѣта какъ разъ на проклятое пятно.

Ну, и что же, развѣ я вамъ не говорилъ, что то; что вы считаете сумасшествіемъ, есть лишь утонченность моихъ чувствъ? Я услышалъ тихій,

глухой, быстрый звукъ, подобный тиканью карманныхъ часовъ, завернутыхъ въ вату. Этотъ звукъ я зналъ, отлично зналъ и его. Это билось сердце старика. Быстрый звукъ усилилъ мое бѣшенство, какъ звукъ барабаннаго боя усиливаетъ мужество солдата.

Но и тутъ я еще сдержался и продолжалъ стоять неподвижно. Я едва дышалъ. Фонарь застылъ въ моихъ рукахъ. Я пробовалъ, какъ упорно могу я устремлять лучъ свѣта на глазъ. А сердце все билось, эта дьявольская музыка все усиливалась. Съ каждымъ мигомъ звукъ дѣлался быстрѣе и быстрѣе, онъ дѣлался все громче и громче. Н а д о д у м а т ь, что старикъ былъ испуганъ до послѣдней степени! Сердце билось все громче, говорю я, все громче съ каждымъ мигомъ!—Вы хорошо слѣдите за мной? Вѣдь я вамъ говорилъ, что я нервень: да, я нервень. И теперь, въ этотъ смертный часъ ночи, посреди мертвой тишины стариннаго дома, этотъ странный шумъ исполнилъ меня непобѣдимымъ ужасомъ. Однако, еще нѣсколько минутъ я сдерживалъ себя и стоялъ спокойно. Но сердце билось все громче, все громче! Я думалъ, что оно разорвется. И тутъ новая забота охватила меня—этотъ звукъ могли услышать сосѣди! Часъ старика пришелъ! Съ громкимъ воплемъ я раскрылъ фонарь и бросился въ комнату. Онъ крикнулъ—крикнулъ только разъ. Въ одно мгновеніе я сошвырнулъ его на полъ и дернулъ на него тяжелую постель. И тутъ я весело улыбнулся, видя, что дѣло идетъ такъ успѣшно. Но нѣсколько минутъ сердце продолжало биться, издавая заглушенный звукъ. Этотъ звукъ, однако, больше не мучилъ меня; его нельзя было услышать черезъ стѣны. Наконецъ онъ прекратился. Старикъ былъ мертвъ. Я сдвинулъ постель и осмотрѣлъ тѣло. Да, онъ былъ совершенно, совершенно мертвъ. Я приложилъ руку къ его сердцу и держалъ ее такимъ образомъ нѣсколько минутъ. Пульса не было. Онъ былъ совершенно мертвъ. Его глазъ не будетъ больше меня тревожить.

Если вы еще продолжаете думать, что я сумасшедший, вы разубѣдитесь, когда я опишу вамъ всѣ мѣры предосторожности, которыя я предпринялъ, чтобы скрыть трупъ. Ночь уходила, и я работалъ быстро, но молчаливо.

Я вынулъ три доски изъ пола комнаты и положилъ трупъ между драницами. Потомъ я опять укрѣпилъ доски такъ хорошо, такъ аккуратно, что никакой человѣческой глазъ—даже и его—не могъ бы открыть здѣсь ничего подозрительнаго. Ничего не нужно было замывать—ни одного пятна—ни одной капли крови. Я былъ слишкомъ предусмотрителенъ для этого.

Когда я все кончилъ, было четыре часа—на дворѣ было еще темно, какъ въ полночь. Въ ту самую минуту, когда били часы, съ улицы раздался стукъ въ наружную дверь. Съ легкимъ сердцемъ я пошелъ отворить ее,—чего мнѣ было бояться теперь? Вошли три человѣка и съ большой учтивостью представились мнѣ, называя себя полицейскими чиновниками. Одинъ изъ сосѣдей слышалъ ночью крикъ; возникло подозрѣнiе, не случилось ли какого злого дѣла; полиція была объ этомъ извѣщена, и вотъ они (полицейскіе чиновники) были отправлены произвести обыскъ.

Я улыбался—чего мнѣ бояться? Я попросилъ джентльменовъ пожаловать въ комнаты. Закричалъ это я самъ, сказалъ я, кричалъ во снѣ. А старика, сообщилъ я, нѣтъ дома, онъ на время уѣхалъ изъ города. Я провелъ посѣтителей по всему дому. Я просилъ ихъ обыскать все—обыскать хорошо. Я провелъ ихъ, наконецъ, въ его комнату. Я показалъ имъ всѣ его драгоценности, они были цѣлы, и лежали въ своемъ обычномъ порядкѣ. Охваченный энтузіазмомъ своей увѣренности, я принесъ стулья въ эту комнату и пожелалъ, чтобы именно здѣсь они отдохнули отъ своихъ поисковъ, между тѣмъ какъ я самъ, въ дикой смѣлости полнаго торжества, поставилъ свой собственный стулъ какъ разъ на томъ самомъ мѣстѣ, подъ которымъ покоилось тѣло жертвы.

Полицейскіе чиновники были удовлетворены. Мои манеры убѣдили ихъ. Я чувствовалъ себя необыкновенно хорошо. Они сидѣли, и между тѣмъ какъ я весело отвѣчалъ, болтали о томъ-о-семъ. Но прошло немного времени, я почувствовалъ, что блѣднѣю, и искренно пожелалъ, чтобы они поскорѣе ушли. У меня заболѣла голова, и мнѣ показалось, что въ ушахъ моихъ раздался звонъ; но онъ все еще продолжали сидѣть, все продолжали болтать. Звонъ сталъ дѣлаться явственнѣе—онъ продолжался и дѣлался все болѣе явственнымъ: я началъ говорить съ усиленной развязностью, чтобы отдѣлаться отъ этого чувства, но звонъ продолжался съ неуклоннымъ упорствомъ—онъ возросталъ и, наконецъ, я понялъ, что шумъ былъ не въ моихъ ушахъ.

Не было сомнѣнія, что я очень поблѣднѣлъ; но я говорилъ все болѣе бѣгло, я все болѣе повышалъ голосъ. Звукъ возросталъ—что мнѣ было дѣлать? Это былъ тихій, глухой, быстрый звукъ—очень похожій на тиканье карманныхъ часовъ, завернутыхъ въ вату. Я задыхался—но полицейскіе чиновники не слыхали его. Я продолжалъ говорить все быстрѣе—все болѣе порывисто; но шумъ упорно возросталъ. Я вскочилъ и сталъ разглагольствовать о разныхъ пустякахъ, громко и съ рѣзкими жестикюляціями; но шумъ упорно возросталъ. Почему они не хотѣли уходить? Тяжелыми, большими шагами я сталъ расхаживать взадъ и впередъ по комнатѣ, какъ бы возбужденный до бѣшенства наблюденіями этихъ людей—но шумъ упорно возросталъ. О, Боже! что мнѣ было дѣлать? Я кипятился—я приходилъ въ неистовство—я клялся! Я дергалъ стулъ, на которомъ сидѣлъ, и царапалъ имъ по доскамъ, но шумъ поднимался надо всѣмъ и непрерывно возросталъ. Онъ становился все громче—громче—громче! А они все сидѣли и болтали и улыбались. Неужели они не слыхали? Боже всемогущій!—нѣтъ, нѣтъ! Они слышали!—они подозрѣвали!—они знали!—они насмѣхались надъ моимъ ужа-

сомъ!—я подумалъ это тогда, я такъ думаю и теперь. Но что бы ни случилось, все лучше, чѣмъ эта агонія! Я все могъ вынести, только не эту насмѣшку! Я не могъ больше видѣть эти лицемѣрные улыбки, чувствовалъ, что я долженъ закричать или умереть!—и вотъ—опять!—слышите!—громче! громче! громче! г р о м ч е!

„Негодяи!“—закричалъ я:—„не притворяйтесь больше! Я сознаюсь въ убійствѣ!—сорвите эти доски!—вотъ здѣсь, здѣсь!—вы слышите, это бьется его проклятое сердце!“

ПЕР. К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



Лень.

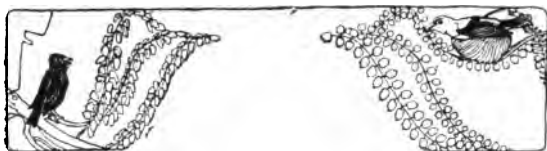
Присѣла на могильникъ Савуръ
Старуха Смерть, глядитъ на людной шляхъ.
Цвѣтушій лень полоскою лазури
Синѣетъ на поляхъ.

И говоритъ старуха-Смерть: „Здорово,
Прохожій! Не надо никому
Льняного погребальнаго покрова?—
Недорого возьму!“.

И говоритъ Савуръ-курганъ: „Не каркай!
И саванъ прахъ. И саванъ обреченъ
Истлѣть въ землѣ, чтобъ снова выросъ яркій
Небесно-синій лень“.

ИВАНЪ БУНИНЪ.





Крѣсь.

Эна какая—разливая весна!—повытаялъ снѣгъ съ полей, повынесло ледъ съ рѣки, разошлась вода со льдомъ, разлились рѣки съ горъ, протекли—бьютъ ключи, и, круглыя, полныя съ берегомъ, катятъ озера.

А по розсыпи волнъ на волѣ Водыльникъ, (водяникъ) и одна голова, какъ куча сѣнная, торчитъ надъ водой: ничѣмъ не заманишь чумазаго въ темень—на остудное дно, довольно зимой наклевался ершей, плыветь, охмелѣлъ.

Суховерхое дерево грѣтся. Веселѣтъ еловая роща.

Оживаютъ дыбучіе мхи.

Облако къ облаку,—пушистыя сходятся.

Пугливо за облако теряется солнце.

И движется туча хмуро и грузно,—заждалась, свистучая, шатаетъ подоблачье.

Горностаю тягу далъ подъ малиновый прутикъ.

Черкнула ласточка.

Да какъ заторандитъ да какъ загрохочетъ—съ грохотомъ—громомъ катитъ гремящій Громовникъ: съ уклада складено сердце, съ желѣза скованы

Крѣсь—искра; огонь, вызванный ударомъ изъ камня,—небесный свѣтъ.

груди,—торокомъ-вихремъ рѣжетъ небесные снѣги.
Поднялъ. Нацѣлилъ. Спускаетъ стрѣлу—Крѣсь.

И вспыхнуло. Всполохнулся отъ искры небесный сводъ,—весело горитъ, и земля подъ топотъ толкучаго грома, просверленная мѣткой стрѣлой до самаго пупа, вся горитъ.

Пробудились, встаютъ клевучія змѣи и все звѣрье и всѣ птицы изъ темнаго залѣся: привѣтливыя и догадливыя, хищныя, жалобныя, горегорыкія, скоролетныя, златокрылыя, говорящія, косатыя—соколы, орлы, соловей и гусь заблудшій и сорока поскокуня и ворона полетучая и загнанный заяцъ.

Такъ до самаго вечера, пока держалась туча и во всю громыхалъ безстрашный Громовникъ, звон-унылая пѣсня звѣрья разливалась съ края по край—съ береговъ небывалыхъ дотуда, гдѣ бездорожье живетъ.

Такъ до капельки вылилась туча, высѣявъ землю.

Любуясь, по синимъ дорогамъ уплыло солнце, а вслѣдъ за нимъ теплая ночь вышла надъ теплою землей.

На прибойномъ берегу вѣщая древняя Мѣкуша, шелкая веретеномъ, пряла всю ночь горящую нить изъ священныхъ огней; кузнецы стояли въ кузницахъ, разжигали булатъ—жельзо, ковали жельзные обручи на наши сердца, и водныя Бродницы, плавая тихо, волновали бѣлыми платьями воды и, чаруя глубокія нѣдра, призывали навье и велей изъ сырыхъ и темныхъ могилъ.

„Проснитесь и пойте, проснитесь!—наступаетъ всему воскресенье, начинайте же пляску!“

И въ землѣ копошилось, раскатывались камни, разсыпались пески, разступалась земля.

А тамъ—ненаглядныя звѣзды и до зари, какъ всходить ей на небо, онѣ, все играя, свивали тоску, ненаглядныя.

АЛЕКСѢЙ РЕМИЗОВЪ.



ВЕСНА.

МОНАСТЫРСКАЯ.

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стѣны выбѣлены бѣло:
Мать игуменья велѣла.
У воротъ монастыря
Плачетъ дочка звонаря:

Ахъ, ты поле, моя воля,
Ахъ, дорога дорогá!
Ахъ, мостокъ у чиста поля,
Свѣчка чиста четверга!
Ахъ, моя горѣла ярко,
Погасала у него.
Наклонился, дышетъ жарко,
Жарче сердца моего.
Я отстала, я осталась
У высокаго моста.
Пламя свѣчекъ колебалось,
Цѣловались въ уста.
Гдѣ ты, милый, лобызанный,
Гдѣ ты, ласковый такой!
Ахъ, пары весны, туманы,
Ахъ, мой дѣвичій покой!

Звоны-стоны, перезвоны,
Звоны-вздохи, звоны-сны.
Высоки крутые склоны,
Крутосклоны зелены.
Стѣны выбѣлены бѣло.
Мать игуменья велѣла
У воротъ монастыря
Не болтаться зря.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



Млѣють сосны красныя
 Подъ струей закатною,
 Благовѣсть разносится
 Пѣсней благодатною.
 Бѣлая монашенка
 У окна келейнаго,
 Улыбаясь, думаетъ
 Думу незатѣйную:
 „Всѣ лихія горести
 Я въ міру оставила,
 Надъ могилкой каждою
 Образокъ поставила.
 Окурила ладономъ,
 Зельями душистыми;
 Въ странствіи пустилася—
 Какъ младенецъ, чистая.
 Вижу—церковь, пустынька
 Среди лѣса малая;
 Новую Владычицу
 Надъ собой избрала я.
 Ясность огнезрачная,
 Тихость нерушимая,
 Синева прозрачная,
 Гладь незамутимая—
 Съ нею обручилась я,
 Икупалась въ свѣтлости,
 Принесла обѣты ей
 Неподкупной вѣрности.
 Облеклась душа моя
 Схимой бѣлоснѣжною,—
 Сквозь нее прохожу нѣтъ
 Злому да метежному.
 Окропляю думы я
 Влагой свѣтозарною,—
 Застываютъ смиренныя
 Четками янтарными“.

Тьма ночная свѣяла
 Пѣніе соборное,

Съ неба строго глянуло
 Чье-то око черное.
 Зашуршали крыльями
 Думы подъяремныя;
 Надъ землею повѣяло
 Пламенною дремою.
 Хлопнуло окошечко,
 Затворилась башенка...
 Спать и улыбается
 Бѣлая монашенка.

АДЕЛАИДА ГЕРЦЫКЪ.



* * *

Я блуждалъ въ лѣсу родимомъ,
 Гдѣ звенѣла тишина;
 Гдѣ зеленымъ сладкимъ дымомъ
 Разливалась по полянамъ
 Грустно-синяя весна.

Ты ль, дитя, съ глазами нимфы,
 Мнѣ явилась въ тѣ часы,
 Отряхая гіацинты,
 Вѣя запахомъ медвянымъ
 Золотой твоей косы?

Въ небѣ, ласково-хрустальномъ,
 Таялъ трепетный апрѣль.
 Шель я отрокомъ печальнымъ,
 И томилась такъ напѣвно
 Сердца нѣжная свирѣль.

Солнце низилось къ березѣ.
 Шель я, плача и любя...
 Въ этой отроческой грезѣ,
 Ясноокая царевна,
 Я предчувствовалъ тебя!

СЕРГѢЙ СОЛОВЬЕВЪ.



* * *

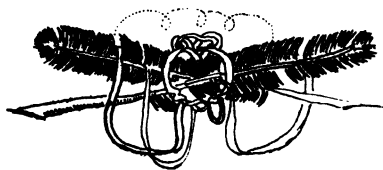
ИЗЪ Э. ВЕРХАРНА.

Поздняя осень! въ тебѣ—мое наболѣвшее горе.
Хрипъ этихъ сосенъ и вѣтеръ; отчаянье въ гру-
стномъ ихъ хорѣ;
Ржавчина, кровь на листьяхъ, позолота на листьяхъ
березы;
Мутныя лужи въ лѣсу; и, отвѣтомъ на злыя угрозы,
Слезы деревьевъ,—мои! мои, кровавыя слезы!

Поздняя осень! въ тебѣ—мое наболѣвшее горе.
Въ бѣшенствѣ гнѣвно-тревожномъ, въ мучительно-
буйномъ раздорѣ,
Гнутся кусты у дороги, мелькаютъ въ нихъ стран-
ные звуки,
Бьются они, обезумѣвъ, въ порывѣ неслыханной
муки,
Руки ломаютъ,—мои! мои, простертые руки!

Поздняя осень! въ тебѣ—мое наболѣвшее горе.
Тамъ, далеко, кто-то стонетъ; и въ жалобно-стра-
стномъ укорѣ
Жизни раздавленной скрежетъ, отчаянья крикъ
изступленный,
Полузадушенный вопль... замирая, звучать моно-
тонно
Дальніе стоны,—мои! мои, безплодные стоны!

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.





Тедоръ Сологубъ.

Алмазь.

Легкою игрою низводящій радугу на землю,
Раздробившій непреклонность слитныхъ змѣевыхъ
рѣчей,
Мой алмазь, горящій ярко безпредѣльностью лучей,
Я твоимъ вѣщаньямъ вѣщимъ, многоцвѣтный свѣ-
точъ, внемлю.

Злой Драконъ горитъ и блещетъ, ослѣпляя зор-
кій глазъ.
Льется съ неба свѣтъ его, торжественно прямой
и бѣлый,—
Но его я не прослаблю,—я предъ нимъ поставлю
смѣлый,

Ограниченный, но свободный и холодный мой алмазь.

Посмотрите, — разбѣжались, развизжались бѣсенята,

Такъ и блещутъ, и трепещутъ, — огоньки и угольки. —
Синій, красный и зеленый, быстры, зыбки и легки.
Но не бойтесь, успокойтесь, — знайте, наше мѣсто
свято,

И простите бѣсенятамъ ложь ихъ зыбку и дрожь.
Злой Драконъ не знаетъ правды, и открыть ее не
можетъ.

Онъ волнуется и тревожитъ, и томленья наши
множитъ,

Но въ глаза взглянуть не смѣетъ, потому что весь
онъ — ложь.

Всѣ лучи похитивъ съ неба, лишь одинъ царить
онъ хочетъ,

Многоцвѣтный праздникъ жизни онъ таитъ отъ
нашихъ глазъ,

Въ яркой маскѣ ликъ свой кроетъ, стрѣлы пла-
менные точить, —

Но хитросплетенье злое разлагаетъ мой алмазь.

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



АМФОРА.

Въ амфорѣ, ярко расцвѣченной,
Угрюмый рабъ несетъ вино.
Неровень путь неосвѣщенный,
А въ небесахъ уже темно, —
И напряженными глазами

Онъ зорко смотритъ въ полутьму,
Чтобъ черезъ край вино струями
Не пролилось на грудь ему.

Такъ я несу моихъ страданій
Давно наполненный фіаль.
Въ немъ лютый ядъ воспоминаній,
Таясь коварно, задремаль.
Иду окольными путями
Съ сосудомъ зла, чтобъ кто-нибудь
Неосторожными руками
Его не пролилъ мнѣ на грудь.

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



* * *

Люблю мое молчанье
Въ лѣсу во тьмѣ ночей,
И тихое качанье
Задумчивыхъ вѣтвей.
Люблю росу ночную
Въ сырыхъ моихъ лугахъ,
И влагу полевую
При утреннихъ лучахъ.
Люблю зарю алой
Веселый холодокъ,
И блѣдный, запоздалый
Рыбачій огонекъ.
Тогда успокоенье
Нисходитъ на меня,
И что мнѣ все томленье
Пережитого дня!
Я всѣмъ земнымъ просторомъ
Блаженно замолчу,

И многозвѣзднымъ взоромъ
Весь міръ мой охватчу.
Закроюсь я туманомъ,
И волю дамъ мечтамъ,
И сказочнымъ обманомъ
Раскинусь по полямъ.

ФЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



О с е н ь.

Расплела свои косы багряная осень,
Разметала по небу и роснымъ полямъ;
И въ усадьбу безмолвную въ гости пришла,
Обжигая багрянцемъ траву;
Побродила въ саду,
А потомъ поднялась на балконъ,
Чуть коснувшись зыбкихъ перилъ;
Тихо двери толкнула,
Въ комнату тихо вошла,
Золотистымъ пескомъ запылила коверъ,
Красный листь уронила на фортепіано...
Съ этого часа мы слышали шорохъ ея непрестан-
ный—
Шорохъ, и шелестъ, и шопотъ.
И наши руки соединились неожиданно
Безъ новыхъ и всегда невѣрныхъ словъ:
Какъ будто мы повѣсили вѣнокъ изъ красныхъ розъ
На черную, въ желѣзо кованную, дверь,
Что въ склепъ ведетъ,
Гдѣ глѣбютъ милые останки
Мечты-любовницы.

Осенніе дни наступили—
Дни непонятныхъ томленій.
Мы попирали ступени
Страсти осенней.
Въ сердцѣ моемъ, какъ лампада,
Рана неугасимо горѣла;
Чашу осенняго яда
Мы прижимали къ устамъ.
Осень вела насъ змѣиной дорожкой сада
Къ лиліямъ пруда,
На ветхій песчаный откосъ.
И тамъ, надъ водою лилейной и въ розахъ вечернихъ
Мы суевѣрнѣй любили.

И темною ночью,
У томной постели,
У ногъ моей милой,
По новому смерть я любилъ.
Минуты хрустально звенѣли
У края осенней могилы:
Осень и смерть чокались пьянымъ стекломъ.

Къ ногамъ, розовѣющимъ тихо при свѣтѣ лампы,
Жадно уста прижималъ я,
Чашу любовную пилъ.
Опаленный огнемъ преступленій,
На крестѣ вождедѣннѣй распятый,
Въ позорѣ ненужныхъ измѣнъ,
Чашу любовную пилъ.

Въ часъ несказанный объятій
Чуялъ я шопотъ
Осенней предсмертной любви.
И поцѣлуи, какъ острия иглы,
Жгли и вонзались,
Сплетались въ терновый вѣнецъ.

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ.

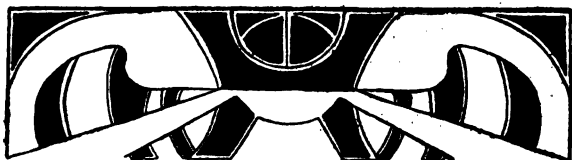


* * *

И вотъ—ты идешь
Отъ міра и жизни,
Волнуясь, ждешь
Нездѣшной отчины,—
Гигантская ширь
Метнется огромно,
Въ лѣсахъ монастырь
Утонетъ укромно,
Вознесишь, кресты
Засвѣтятъ звѣздами,—
Тамъ скроешься ты
Съ туманными снами.
Не будетъ зыбей
Играющей силы—
Однихъ голубей
Полетъ легкокрылый,
Да вѣчный прибой
Разливовъ зеленыхъ,
Да взоръ голубой
Пространствъ просвѣтленныхъ.
И кончится нить
Дней тускло-ненужныхъ
Ты будешь грустить
Въ видѣньяхъ жемчужныхъ,
Порою вздохнешь,
Томяся невнятно,
Порывно замрешь
Въ моленьи закатномъ.
Года пролетятъ
Незримымъ страданьемъ,
Послѣдній закатъ
Мнѣ вспыхнетъ сіяньемъ,
Просторъ разнесетъ
Призывъ мой смертельный,
Душа изойдетъ
Въ тоскъ безпредѣльной.

АЛЕКСАНДРЪ ДІЕСПЕРОВЪ.





Письмо.

1.

Я соблюдаю обѣщанье
И замыкаю въ четкій стихъ
Мое далекое посланье.
Пусть будетъ онъ какъ вечеръ тихъ,
Какъ стихъ „Онѣгина“ прозраченъ,
Порою слабъ, порой удаченъ;
Пусть звукъ рѣчей журчитъ ярчѣй,
Чѣмъ быстро шепчущій ручей...
Вотъ я опять одинъ въ Парижѣ
Въ кругу привычной старины...
Кто видѣлъ вмѣстѣ тѣ же сны,
Становится невольно ближе.
Въ туманахъ памяти отсель
Поетъ знакомый ритурнель.

2.

Всю цѣпь промчавшихся мгновений
Я могъ бы снова возсоздать:
И робость медленныхъ движеній,
И жестъ, чтобъ ножикъ или тетрадь
Сдержать неловкими руками,
И Вашу шляпку съ васильками,

Покалостъ Вашихъ дѣтскихъ плечъ
И Вашу медленную рѣчь,
И платье цвѣта эвкалипта,
И ту же линію въ губахъ,
Что на статуѣ Таіахъ,
Царицы древняго Египта,
И въ глубинѣ печальныхъ глазъ—
Осенній цвѣтъ листвы—топазъ.

3.

Разсвѣтъ. Я только что вернулся.
На вѣкахъ—ночь. Въ ушахъ—слова.
И сонъ въ душѣ, какъ котъ свернулся...
Письмо... Отъ Васъ.

Едва-едва

Въ неясномъ свѣтѣ вижу почеркъ—
Кривыхъ каракуль, смѣлый очеркъ.
Зажегъ огонь. При свѣтѣ свѣчъ
Глазами слышу Вашу рѣчь.
Вы снова здѣсь. О, говорите жъ.
Мнѣ нуженъ самый звукъ рѣчей...
Въ озерахъ памяти моей
Опять гудитъ подводный Китежъ,
И легкій шелестъ дальнихъ словъ
Пѣвучъ, какъ гулъ колоколовъ.

4.

Гляжу въ окно сквозь воздухъ мгlistый.
Прозрачна Сена... Тюльри...
Монмартъ синій и лучистый.
Какъ желтый жемчугъ—фонари...
Хрустальный хаосъ сѣрыхъ зданій
И ароматъ воспоминаній,
Какъ запахъ тлѣющихъ цвѣтовъ,
Меня пьянитъ. Чу. Шумъ шаговъ...
Вотъ тяжелой грудью парохода
Разбилось тонкое стекло,
Заволновалось, потекло,
Донесся дальній гулъ народа,
Въ провалахъ улицъ мгла и тишь,
Тотъ день идетъ... Гудитъ Парижъ.

5.

Для насъ Парижъ былъ рядъ преддверій
Въ просторы всѣхъ вѣковъ и странъ
Легендъ, исторій и повѣрій.
Какъ мутно-сѣрый океанъ,
Парижъ властительно и строго
Шумѣлъ у нашего порога.
Мы отдавались, какъ во снѣ,
Его ласкающей волнѣ.
Мгновенья полная, какъ годы.
Какъ жезлъ сухой, расцвѣлъ музей...
Прохладный мракъ большихъ церквей,
Органъ... Готическіе своды...
Толпа: потоки глазъ и лицъ...
Припасть къ землѣ... Склониться ницъ...

6.

Любить безъ слезъ, безъ сожалѣнья,
Любить, не вѣруя въ возвратъ,
Чтобъ было каждое мгновенье
Послѣднимъ въ жизни. Чтобъ назадъ
Насъ не влекло неудержимо,
Чтобъ жизнь скользнула въ кольцахъ дыма
Прошла, развѣялась... И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обниметъ насъ своимъ запястьемъ,
Смотрѣть, какъ таютъ отъ слѣда
Остатки грезъ, и никогда
Не разставаться съ грустнымъ счастьемъ
И, подойдя къ концу пути,
Вздохнуть и радостно уйти.

7.

Здѣсь все теперь воспоминанье,
Здѣсь все мы видѣли вдвоемъ,
Здѣсь наши мысли, какъ журчанье
Двухъ струй, бѣгущихъ въ водоемъ.
Я слышу Вашими ушами,
Я вижу Вашими глазами,
Звукъ Вашей рѣчи на устахъ,

Вашъ робкій жестъ въ моихъ рукахъ,
Я бѣ изъ себя всѣ впечатлѣнья
Хотѣлъ по-Вашему понять,
Пѣвучей риемой ихъ связать
И въ стихъ вковать ихъ отраженье,
Но только нѣтъ... Продленный мигъ
Есть ложь... И бѣденъ мой языкъ.

8.

И все мнѣ снится день въ Версалѣ,
Тропинка въ паркѣ между туй,
Прозрачный холодъ синей дали
Безмолвыя мраморныхъ статуй,
Фонтанъ и кони Аполлона,
Затишье парка Трианона,
Шерехватость старыхъ плитъ,
Тамъ мраморъ сѣръ и мхомъ покрытъ.
Закатъ, какъ отблескъ пышной славы
Давно отшедшей красоты,
И въ вазахъ каменныхъ цвѣты,
И глыбой стройной величавой
Дворецъ: пустынныхъ оконъ рядъ
И въ стеклахъ пурпурный закатъ.

9.

Я помню тоже утро въ Halle'ѣ,
Когда у Лувра на мосту
Въ разсвѣтной дымкѣ мы стояли.
Я помню рынка суету,
Собора слизистыя стѣны,
Капуста, словно сгустки пѣны,
„Какъ солнца“ тыквы и морковь
Сырая, красная, какъ кровь.
Корзины пурпурной клубники
И океанъ живыхъ цвѣтовъ—
Гортензій, лилій, васильковъ
И незабудокъ и гвоздики,
И серебристо-сизый тонъ,
Обнявшій насъ со всѣхъ сторонъ.

10.

Я буду помнить Лувра залы
Картины, золото, паркетъ,
Статуи, тусклыя зеркала
И шелестъ ногъ и пыльный свѣтъ.
Для насъ былъ Грезъ смѣшонъ и сладокъ,
Но намъ такъ нравился зато
Скрипучій шелкъ чеканныхъ складокъ,
Томно-зеленаго Ватто.
Буше изящный, тонкій, лживый,
Шарденъ интимный и простой,
Коро жемчужный и сѣдой,
Милле—закатъ надъ желтой нивой,
Веселый левъ—Делакруа
И въ Saint-Germain d'Auxerrois.—

11.

Vitreaux—каменъ прозрачный слитокъ,
И аметисты и агаты.
Тамъ ангелъ держитъ длинный свитокъ,
Вперяя долу грустный взглядъ.
Vitreaux мерцаютъ точно крылья
Вечерней бабочки во мглѣ,
Склоняя голову въ безсильи,
Святая клонится къ землѣ
Въ безумьи счастья и экстаза...
Tête Inconnue! Когда и кто
Нашелъ и выразилъ въ ней то
Въ движеньи плечъ, въ разрѣзѣ глаза,
Что такъ меня волнуетъ въ ней,
Какъ и въ Джокондѣ, но сильнѣй.

12.

Лѣса готической скульптуры!
Какъ жутко все и близко въ ней.
Колонны, строгія фигуры
Сибиллѣ, пророковъ, королей...
Миръ фантастическихъ растений
Окаменѣлыхъ привидѣній
Драконовъ, маговъ и химеръ.

Здѣсь все есть символъ, знакъ, примѣръ.
Какую повѣсть зла и мукъ вы
Здѣсь разберете на стѣнахъ?
Какъ въ этихъ сложныхъ письменахъ
Понять значеніе каждой буквы?
Ихъ взглядъ, какъ взглядъ змѣи, тягучъ...
Закрѣта дверь. Потерянъ ключъ.

13.

Міръ шелъ искать себѣ обитель *),
Но на распутѣ всѣхъ дорогъ
Стоялъ лукавый Соблазнитель.
На немъ хитонъ, на немъ вѣнокъ,
Въ немъ правда мудрости звѣриной,
Съ свиной улыбкой взглядъ змѣиный.
Призывно пальцемъ шелкнулъ онъ,
И міръ, какъ Ева, соблазненъ.
И этотъ міръ—Христа Невѣста.
Она рѣшилась и идетъ.
Въ ней все дрожитъ, въ ней все поетъ.
Въ ней робость и безстыдство жеста,
Желанье, скрытое стыдомъ,
И упоеніе грѣхомъ.

14.

Есть безпощадность въ примитивахъ.
У нихъ для правды нѣтъ границъ—
Ряды позорно некрасивыхъ
Разоблаченныхъ кистью лицъ.
Въ нихъ дышетъ жизнью каждый атомъ:
Фуке—безжалостный анатомъ
Ихъ душу взялъ и расчленилъ,
Спокойно взвѣсилъ, осудилъ
И распялъ ихъ въ своихъ портретахъ.
Его портреты казнь и месть,
И что-то дьявольское есть
И въ хрящеватости ушей,
Въ глазахъ и въ линіи ноздрей.

*) Группа Страсбургскаго Собора. „Соблазнитель и
Соблазненный Міръ“.

15.

Имъ міръ Родэна такъ созвученъ,
Въ немъ крикъ камней, въ немъ скорбь земли,
Но саванъ мысли сѣръ и скученъ.
Онъ змѣй, свернувшійся въ пыли.
Рисунокъ грубый, неискusstный...
Вотъ Дьяволъ—кроткій, странный, грустный,
Антоній видитъ бѣгъ планетъ:
„Но гдѣ же цѣль?“

—Здѣсь цѣли нѣтъ...

Струится мракъ и шепчетъ что-то,
Легло молчанье, какъ кольцо,
Мерцаетъ блѣдное лицо
Средь ядовитаго болота,
И солнце, черное, какъ ночь,
Вбирая свѣтъ, уходитъ прочь.

16.

Какъ горекъ вкусъ земного лавра...
Родэнъ навѣки заковаль
Въ полубезумный жестъ Кентавра
Несовмѣстимость двухъ началъ.
Въ безумьи заломивши руки,
Онъ бьется въ безысходной мукѣ,
Земля и стонетъ и гудитъ
Подъ тяжелой судоргой копытъ.
Но мнѣ понятна безпредѣльность,
Я въ міръ знаю только цѣльность,
Во мнѣ зеркальность тихихъ водъ,
Моя душа, какъ небо, звѣздна,
Кругомъ поетъ родная бездна,
Я весь и ржанье и полетъ.

17.

Я поклоняюсь вамъ, кристаллы,
Морскія звѣзды и цвѣты,
Растенья, раковины, скалы
(Окаменѣлыя мечты
Безмолвно грезящей природы),
Стихи міра: Воздухъ, Воды,

И Мать-Земля и Царь-Огонь.
Я духомъ Богъ, я тѣломъ конь.
Я чую дрожь предчувствій вѣщихъ,
Я слышу гулъ идущихъ дней,
Я полонъ ужаса вещей
Враждебныхъ, мертвыхъ и зловѣщихъ,
И вызываютъ мой испугъ
Скелеть, машина и паукъ.

18.

Есть злая власть въ глазахъ предметовъ,
Рожденныхъ судоргой машинъ.
Въ нихъ грѣхъ нарушенныхъ запретовъ,
Въ нихъ месть рабовъ, въ нихъ бредъ стремнинъ.
Для всѣхъ людей однѣ вереги:
Асфальты, рельсы, платья, книги,
И не спасется ни одинъ
Отъ власти липкихъ паутинъ.
Но мы свободные кентавры,
Мы мудрый и бессмертный родъ,
Въ иные дни у берега водъ
Ласкались къ намъ ихтиозавры.
И мѣръ мельчалъ. Но мы росли.
Въ насъ бѣгъ планетъ, въ насъ мысль Земли!

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ.





Август Стриндбергъ.

УЕДИНЕНИЕ.

А. СТРИНДБЕРГА.

Таково, въ концѣ концовъ, уединеніе: закутаться въ пелену собственной души, окуклиться и ждать метаморфозы, такъ какъ она не замедлитъ явиться. Жить собственной жизнью и телепатически—жизнью другихъ. Смерть и воскресеніе, подготовленіе къ неизвѣстному новому. Словомъ, полное господство надъ своей личностью: ничьи мысли, ничьи наклонности не контролируютъ моихъ, ничьи настроенія не угнетаютъ меня. Теперь только душа растетъ свободно, испытываешь чувство неизвѣданнаго внутренняго мира и тихой радости, чувство безопасности и отвѣтственности передъ самимъ собой. Вспоминая общежитіе, которое должно было служить мнѣ воспитаніемъ, я нахожу, что это была только общая школа порока. Ежеминутно видѣть безобразное—мученіе для человѣка

съ чувствомъ красоты, мученіе, которое, къ тому же, соблазняетъ, чтобы считать себя мученикомъ. Изъ снисхожденія закрывать глаза на несправедливость—это воспитываетъ человѣка въ лицемѣра. Все изъ того же снисхожденія пріучается подвѣлять свои взгляды—это дѣлаетъ человѣка трусомъ. Наконецъ, изъ любви къ миру брать на себя вину за проступки, которые не совершалъ, это незамѣтно унижаетъ, такъ что въ одинъ прекрасный день начинаешь считать себя несчастнымъ. Никогда не слыша слова ободренія, теряешь мужество и чувство собственного достоинства, а послѣдствія чужой вины, взятой на себя, вызываютъ ненависть къ людямъ и міровому порядку.

Въ одиночествѣ я выигралъ еще и то, что самъ могу выбирать свою духовную пищу. Мнѣ нѣтъ надобности видѣть въ моемъ домѣ враговъ за моимъ столомъ и молча выслушивать, какъ они поносятъ то, что я глубоко уважаю. Я не обязанъ выслушивать въ своей квартирѣ музыку, которую ненавижу. Я не долженъ видѣть вокругъ себя газеты съ карриатурами на моихъ друзей и меня самого. Я освобожденъ отъ чтенія книгъ, которыя презираю, посѣщенія выставокъ и удивленія передъ картинами, которыхъ не признаю. Однимъ словомъ, я повелѣваю своей душѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы въ правѣ повелѣвать, и могу самъ выбирать свои симпатіи и антипатіи. Я никогда не былъ тираномъ, но я всегда старался избѣжать тираніи, а этого деспотическіе люди не терпятъ. Кромѣ того, я всегда ненавидѣлъ тиранію, а тираны этого не прощаютъ.

Я всегда стремился все выше и впередъ и потому обладалъ преимуществами передъ тѣми, которые желали видѣть меня униженнымъ. Оттого я сталъ одинокъ.

Первое, къ чему приходишь въ одиночествѣ, это къ окончательному расчету съ самимъ собой и съ прошлымъ. Это долгая работа и въ этой борьбѣ съ собой цѣлая система воспитанія. Но вѣдь познаніе самого себя, если оно возможно,

наиболѣе благодарный трудъ... Правда, здѣсь приходится иногда довѣряться зеркалу, иначе вѣдь не узнаешь, какъ выглядишь, особенно сзади...

Я приступилъ къ окончательному расчету десяти лѣтъ тому назадъ, когда я познакомился съ Бальзакомъ. Во время чтенія его пятидесяти томовъ, я не замѣчалъ, что происходило во мнѣ, пока я не кончилъ. Тогда я нашелъ самого себя и могъ придти къ синтезу всѣхъ неразрѣшенныхъ антитезъ моей жизни. Благодаря тому, что я посмотрѣлъ на людей въ его бинокль, я научился видѣть жизнь обоими глазами, между тѣмъ какъ раньше я смотрѣлъ на нее въ монокль и видѣлъ ее только однимъ глазомъ. А онъ, великій волшебникъ, даже не далъ мнѣ ни извѣстнаго смиренія, ни вѣры въ судьбу или провидѣніе, которое раньше пощадило меня отъ наиболѣе мучительныхъ ударовъ. Онъ только вселилъ въ меня контрабандой особую религію, которую я называлъ бы невѣрующимъ христіанствомъ. Пока я слѣдовалъ за Бальзакомъ въ его человѣческой комедіи, въ которой я познакомился съ четырьмя тысячами людей (одинъ нѣмецъ считалъ ихъ), мнѣ казалось, что я живу другой жизнью, болѣе широкой и богатой, чѣмъ моя собственная, такъ что въ концѣ получилось впечатлѣніе, какъ будто я прожилъ двѣ человѣческія жизни. Но его міръ заставилъ меня посмотрѣть на мой собственный съ новой точки зрѣнія. Послѣ борьбы и повторныхъ кризисовъ, я почувствовалъ въ концѣ концовъ нѣчто вродѣ примиренія съ страданіемъ, такъ какъ я открылъ въ то же время, что горе и страданія сжигаютъ, если можно такъ выразиться, соръ нашей души, облагораживаютъ наши инстинкты и чувства и сообщаютъ душѣ, освободившейся отъ изможденнаго тѣла, новую способности. Съ тѣхъ поръ я выпивалъ горькую чашу жизни, какъ лѣкарство, и считалъ своей обязанностью переносить все—кромѣ униженія и неволи!

Но уединеніе дѣлаетъ также человѣка впечатлительнымъ и если, я прежде вооружался противъ

страданій—суровостью, то теперь я сталъ чувствительнѣе къ чужому горю, сталъ добычей вѣшнихъ вліяній, хотя и не дурныхъ. Послѣднія только пугали меня и заставляли еще больше уходить въ себя. Я искалъ тогда отдаленныя мѣста для прогулки, гдѣ я могъ встрѣтить только маленькихъ людей, не знавшихъ меня. У меня есть одна особенная дорога, которую я называю *via dolorosa* и которой пользуюсь въ часы, мрачныя болѣе обыкновеннаго. Это крайняя граница города къ сѣверу, которую образуетъ аллея изъ ряда домовъ съ одной стороны, и лѣса—съ другой. Пройдя аллею, большіе новые дома начинаютъ постепенно исчезать, каменистые холмы становятся выше, тянется табачное поле; мясникъ строить здѣсь мелкую бойню, которую отрѣзаетъ поворотъ улицы. Вотъ стоитъ табачный амбаръ, который я помню съ 1859 г.—я въ немъ игралъ ребенкомъ. Въ хижинѣ, которой уже нѣтъ теперь, жила тогда поденщица, служившая раньше у моихъ родителей няней... Съ этого амбара упалъ и сильно ушибся восьмилѣтній мальчикъ. Сюда ходили мы передъ Рождествомъ и Пасхой, чтобы нанять женщину для предпраздничной уборки, по этой же дорогѣ я охотно ходилъ въ школу, чтобы миновать королевскую улицу. Здѣсь были деревья и цвѣтушія травы, паслись коровы и расхаживали куры—это была деревня!—И вотъ я погрузился въ далекое прошлое, въ ужасное дѣтство, когда неизвѣстная жизнь лежала предо мной и пугала меня, когда все давило, стѣсняло!.. Мнѣ стоитъ только повернуться на каблучкахъ и все это опять будетъ позади. И я такъ и дѣлаю, но я все еще вижу вдали верхушки липъ на длинной улицѣ, напоминающей мое дѣтство, и подобные облакамъ контуры сосенъ у городского кладбища.

Я отвернулся... И когда я смотрю теперь внизъ, на аллею, на утреннее солнце вдали надъ синѣющими холмами на берегу, я въ одну секунду забываю все это, вмѣстѣ съ моимъ дѣтствомъ, которое до такой степени сплетается съ дѣтствомъ другихъ, что оно даже не мое. Моя же собственная

жизнь начинается только тамъ, у моря. Уголь близъ табачнаго амбара внушаетъ мнѣ отвращеніе, но онъ иногда удивительно влечетъ меня, какъ и все вообще мучительное. Нѣчто подобное испытываютъ, вѣроятно, дикіе звѣри на привязи, которые не могутъ ни на кого броситься.

Наслажденіе минутой, когда я поворачиваюсь на каблукъ ко всему спиной, до такой степени интенсивно, что я иногда доставляю его себѣ. Въ одинъ моментъ я отбрасываю отъ себя 33 года и я радъ, что стою тамъ, гдѣ стою. Въ дѣтствѣ у меня всегда было страстное желаніе „сдѣлаться старымъ“.

А теперь мнѣ кажется, что у меня было тогда предчувствіе того, что мнѣ предстояло, что мнѣ и теперь кажется неизбежнымъ и предназначеннымъ. Моя жизнь не могла быть другой. Когда Минерва и Венера встрѣтились мнѣ на перепутьи моей юности, бесполезно было бъ выбирать, и я пошелъ за обѣими, рука съ рукой, какъ это дѣлали, вѣроятно, всѣ, какъ мы и должны, быть можетъ, дѣлать.

Но вотъ я иду дальше, солнце свѣтитъ мнѣ въ лицо и я вскорѣ прихожу къ сосновому лѣсу по лѣвой сторонѣ. Здѣсь я, помню, шелъ двадцать лѣтъ тому назадъ и видѣлъ подъ собой городъ. Сюда я былъ изгнанъ за то, что профанировалъ, подобно Алкивиаду, мистеріи и разбилъ идола. Я помню, какимъ заброшеннымъ я чувствовалъ себя, такъ какъ зналъ, что не имѣю ни одного друга! Весь городъ тамъ внизу лежалъ предо мной, одинокимъ, точно армія, и я видѣлъ лагерные огни, слышалъ бившіе въ набатъ колокола и зналъ, что меня возьмутъ голодомъ. Теперь я знаю, что я былъ правъ, ошибка же была въ томъ, что я злорадно наслаждался поднятымъ мной пожаромъ. Если бы у тебя была хоть искра сожалѣнія къ ихъ чувствамъ, которыя я оскорбилъ! Если бы!.. Но это значило бы требовать слишкомъ многаго отъ молодого человѣка, никогда не испытывающаго участія другихъ.

Теперь я вспоминаю свое лѣсное путешествіе, какъ нѣчто величественное и торжественное. И если я тогда не погибъ, я не хочу этого приписывать собственнымъ силамъ: въ нихъ я не вѣрю.

Уже три недѣли я ни съ кѣмъ не говорилъ ни слова. Голосъ мой сдѣлался какъ бы беззвучнымъ, глухимъ, неслышнымъ. По крайней мѣрѣ, когда я заговорилъ съ дѣвушкой, она не поняла меня и я долженъ былъ нѣсколько разъ повторить сказанное. Это обезпокоило меня. Уединеніе стало мнѣ казаться изгнаніемъ. У меня явилась мысль, что люди не желаютъ имѣть сношеній со мной, потому что я презираю ихъ. Въ такомъ состояніи вышелъ я вечеромъ на улицу. Я сѣлъ въ трамвай только затѣмъ, чтобы чувствовать, что я нахожусь въ одномъ помѣщеніи съ другими. Я старался прочесть по ихъ глазамъ, ненавидятъ ли они меня, но встрѣчалъ одно только равнодушіе. Я прислушивался къ ихъ разговорамъ, какъ будто я нахожусь въ обществѣ и имѣю право принимать участіе въ бесѣдѣ по крайней мѣрѣ въ качествѣ слушателя. Когда въ вагонѣ стало тѣсно, мнѣ пріятно было, соприкасаясь локтями съ сосѣдами, испытывать прикосновеніе къ человѣческому существу.

У меня никогда не было ненависти къ людямъ, скорѣе даже противное, но я боялся ихъ съ самаго рожденія. Моя общительность всегда была настолько велика, что я могъ поддерживать отношенія со всякимъ, кто бы онъ ни былъ, а одиночество я прежде всего считалъ наказаніемъ, чѣмъ оно и можетъ быть въ дѣйствительности. Когда я, напр., спрашивалъ своихъ друзей, сидѣвшихъ въ тюрьмѣ, въ чемъ здѣсь собственно заключается наказаніе, они отвѣчали: „въ одиночествѣ“. На этотъ разъ я вѣдь сдѣлалъ только опытъ, могу ли я быть одинокимъ, при молчаливомъ предположеніи, что я могу разыскать своихъ знакомыхъ, если бы мнѣ этого захотѣлось. Почему же я этого не дѣлаю? Я не могу. Я чувствую себя точно нищимъ, подымаясь по лѣстницѣ, и, подойдя къ звонку, ухожу обратно. А придя домой я доволенъ, въ особенности когда

представляю себя, что мнѣ пришлось бы выслушать, если бы я вошелъ въ комнату. Такъ какъ мысли мои расходятся съ мыслями другихъ людей, то почти все, что говорятъ другіе, оскорбляетъ меня и невинное слово я часто воспринимаю, какъ насмѣшку. Мнѣ кажется, моя судьба быть одинокимъ и это къ лучшему для меня. Мнѣ хочется такъ думать, иначе со всѣмъ этимъ слишкомъ трудно было бы примириться.

Въ одиночествѣ голова иной разъ черезчуръ переполнена и грозитъ взрывомъ; нужно поэтому слѣдить за собой. И я стараюсь сохранить равновѣсіе между приходомъ и расходомъ. Ежедневное писаніе должно мнѣ служить оттокомъ, а чтеніе—притокомъ. Если я цѣлый день пишу, во мнѣ къ вечеру наступаетъ пустота отчаянія. У меня такое впечатлѣніе, какъ будто мнѣ нечего больше сказать и мнѣ наступилъ конецъ. Если же я весь день читаю, я бываю такъ переполненъ, что готовъ лопнуть. Далѣе, я долженъ соразмѣрять время бодрствованія и сна. Слишкомъ продолжительный сонъ вызываетъ утомленіе, которое становится мученіемъ, а недостаточный сонъ раздражаетъ до истеричности.

День еще какъ-нибудь проходитъ, но ночь тяжела: чувствовать, что умъ твой гаснетъ, такъ же больно, какъ и чувствовать, что погибаешь физически и нравственно. Утромъ, когда я встаю послѣ трезваго вечера и спокойнаго ночного сна, жизнь мнѣ кажется положительнымъ наслажденіемъ. Кажется, будто я возсталъ изъ мертвыхъ. Всѣ способности души возрождаются и отдохнувшія силы удесятеряются. Въ такую минуту я бы отважился измѣнить порядокъ, руководить судьбами народовъ, объявить войну, смѣщать династіи. Когда я читаю затѣмъ газеты и вижу по заграничнымъ телеграммамъ, что измѣнилось въ текущей міровой исторіи, я чувствую себя всецѣло въ томъ мѣстѣ, гдѣ совершаются въ настоящій моментъ историческія событія. Я „современникъ“ и у меня такое ощущеніе, какъ будто я по мѣрѣ своихъ слабыхъ силъ при-

нималъ участіе въ общей работѣ, чтобы превратить настоящее въ прошедшее. Вслѣдъ за тѣмъ я читаю о своемъ отечествѣ и всего позже о своемъ родномъ городѣ. Со вчерашняго дня міровая исторія ушла впередъ. Измѣнены законы, открыты новыя торговые пути, потрясены порядки престолонаслѣдія, введены новыя государственныя системы. Люди умерли, люди родились и люди вступили въ бракъ. Со вчерашняго дня весь міръ измѣнился, вмѣстѣ съ новымъ солнцемъ и новымъ днемъ наступило нѣчто новое и я самъ чувствую себя обновленнымъ.

Я спораю отъ желанія взяться за работу, но я долженъ раньше погулять. Спустившись внизъ до выходныхъ дверей, я сейчасъ же рѣшаю, по какой дорогѣ мнѣ идти. Не только солнце, облака и мое настроеніе говорятъ мнѣ объ этомъ, но въ моихъ чувствахъ какъ бы заключаются барометръ и термометръ, указывающіе на мое отношеніе къ міру. Три пути я имѣю на выборъ: веселую дорогу къ зоологическому саду, оживленный путь вдоль берега и улицу, а также пустынную *via dolorosa*, описанную выше. Если я въ ладу съ самимъ собой, атмосфера кругомъ меня мягкая и я ишу людей. Тогда я иду къ улицамъ, въ шумную толпу и у меня такое чувство, какъ будто у меня со всѣми дружескія отношенія. Но если что-нибудь неладно, я вижу вокругъ себя только презрительные взгляды враговъ и ненависть ихъ иногда бываетъ до того велика, что я долженъ вернуться. Если я отправлюсь затѣмъ къ мѣсту у бухты съ покрытыми дубами высотами, то можетъ случиться, что природа вторитъ мнѣ и тогда я чувствую себя на своемъ мѣстѣ. Этотъ ландшафтъ я сохранилъ для себя, съ этимъ ландшафтомъ я сросся и сдѣлалъ его фономъ для моей личности. Но и природа имѣетъ свои настроенія и бываютъ дни, когда между нами нѣтъ единенія. Тогда все мѣняется: вѣтви березъ превращаются въ розги; волшебная листва орѣшника не скрываетъ больше его палокъ; дубъ съ угрозой простираетъ надо мной свои узловатыя

вѣтви и у меня такое чувство, точно у меня на шеѣ ярмо, или хомутные клещи. Это несогласіе между мной и моимъ ландшафтомъ такъ напрягаетъ меня, что я готовъ разорвать себя, готовъ бѣжать. И если я тогда обернусь и увижу предъ собой южную сторону и прекрасныя очертанія города, я чувствую себя въ чужой, враждебной странѣ, а я самъ будто туристъ, видящій все это въ первый разъ, одинокій чужестранецъ, не имѣющій въ стѣнахъ города ни одного знакомаго.

Тѣмъ не менѣе, когда я прихожу домой и сажусь за письменный столъ, я снова живу и силы, почерпнутыя мной извнѣ—изъ переменныхъ ли токовъ дисгармоніи, или замыкающей цѣпи гармоніи—служатъ мнѣ теперь для моихъ различныхъ цѣлей. Я живу и переживаю разнообразную жизнь людей, которыхъ описываю: я веселъ съ веселыми, золъ со злыми, добрѣ съ добрыми. Я перестаю быть самимъ собой и говорю устами дѣтей, женщинъ, старцевъ. Я король и нищій, наиболѣе высокопоставленное лицо, тиранъ, и наиболѣе презрѣнный, угнетенный ненавистникъ тирана. Я обладаю всѣми взглядами и признаю всѣ религіи. Я живу во всѣ вѣка, хотя самъ и пересталъ существовать. Это состояние, которое даетъ невыразимое счастье.

Къ полудню оно, однако, прекращается и если я больше не пишу въ тотъ день, то мое собственное существованіе становится настолько мучительнымъ, что чѣмъ дальше подвигается вечеръ, тѣмъ я, кажется, все больше приближаюсь къ смерти. А вечеръ тянется ужасно долго. Другія люди развлекаются послѣ дневной работы разговорами, у меня же нѣтъ развлечения. Меня окружаетъ молчаніе. Я пробую читать, но не могу. Тогда я хожу взадъ и впередъ по комнатѣ и смотрю на часы, скоро ли будетъ десять. Наконецъ, они бьютъ десять.

Когда я освобождаюсь отъ платья со всѣми его пуговицами, пряжками и подтяжками, душа моя точно переводитъ духъ и чувствуетъ себя сво-

боднѣе. А когда я, совершивъ свои восточныя омовенія, ложусь въ постель, все существующее расплывается. Желаніе жить, борьба, споры прекращаются и стремленіе ко сну подобно стремленію къ смерти.

ПЕРЕВ. ГИБЕРМАНЪ.



Симплегады.

По волнамъ сѣдого моря, вновь впередъ и вновь
назадъ,
Ходятъ призраки нещадныхъ, слѣпо-жадныхъ сим-
плегадъ.

Чуть вдали гранитнымъ слухомъ схватятъ спѣш-
ный плескъ триремъ,

Наступаютъ другъ на друга, чтобы воздухъ вновь
былъ нѣмъ.

И въ ударѣ на мгновенье съ грудью грудь столкнув-
шихъ скаль

Не одинъ ужъ смѣлый сердцемъ пламя сердца уга-
шалъ.

Ходятъ волны на привольѣ, пѣня гребни, какъ
узоръ,—

Тишь царить въ глубинахъ моря, гдѣ недвижный
смотреть взоръ.

Но стремленью нѣтъ преграды, достиженью нѣтъ
препонъ.—

И Арго сквозь симплегады вдохновенный мчитъ
Язонъ.

Ясны взоры, звонки хоры, весла дружны и сильны;
Нѣтъ сомнѣній, нѣтъ укоровъ,—только солнечные
сны.

НА СТРАЖЪ.

ИЗЪ Ж. РОДЕНБАХА.

О, счастье—одному, когда ложится мгла,
При лампѣ одному работать до разсвѣта;
Въ тетрадь—давая жизнь видѣніямъ поэта—
Вносить порою стихъ звенящій, какъ стрѣла.

О, счастье—быть съ самимъ собой наединѣ.
Когда смолкаетъ шумъ съ дневною суетою,
И лишь луна скользитъ въ прозрачной бѣлизнѣ
Надъ кровлей сонною, подъ маской золотой.

О, счастье—свѣтить, когда повсюду мракъ:
Лампада яркая въ безмолвнѣ соборовъ,
Въ ненастье полночи сіяющій маякъ,
Когда шумитъ прибой, невидимый для взоровъ.

О, счастье дивное мечтателя—поэта,
Пустынножителя—сливаться съ тишиной,
И въ сердцѣ у себя хранить источникъ свѣта,
Не угасающій въ глубокой тѣмѣ ночной.

О, счастье—одному нести привычный трудъ,
Въ тиши слагать стихи пѣвучіе, какъ лира,
И говорить себѣ:—когда умру для міра,
Созданія мои, быть можетъ, не умрутъ!—

О. Н. ЧЮМИНА.





З. Н. Гиппиусъ.

Тоскъ времянь...

Пришли—и стали тѣни ночи...
Полонскій. ;

Ты, уныльница, меня не сторожи...
Ты хитра—и я хитеръ: не обморочишь.
Глубоко я провожу мои межи...
И захочешь, да никакъ не обморочишь.
Я узналъ тебя во всѣхъ твоихъ путяхъ:
Ты сближаешь два обратныя желанья.
Ты сидишь на перепутанныхъ узлахъ,
Ищешь смѣшанности, встрѣчности, касанья.
Я покорныхъ и несчастныхъ не терплю,
Я рабомъ твоимъ, запутчица, не стану.
Ты завяжешь—я разрѣжу! Раздѣлю!
Не поддамся надоѣвшему обману.
Буду веселъ я и смѣлъ—пока живу.
Если въ сердцѣ, въ самомъ сердцѣ, петлю стя-
нешь—
Я и этотъ страшный узелъ разорву...
Не поймаетъ, не обманешь, не обманешь...

З. ГИППИУСЪ.

Надъ озеромъ.

Съ вечернимъ озеромъ я разговоръ веду
Высокимъ ладомъ пѣсни. Въ тонкой чашѣ
Высокихъ сосенъ, съ выступовъ песчаныхъ,
Изъ-за могилъ и склеповъ, гдѣ огни
Лампадъ и сумракъ темно-сизый—
Влюбленные ему я пѣсни шлю.

Оно меня не видитъ—и не надо.
Какъ женщина усталая, оно
Раскинулось внизу и смотритъ въ небо,
Туманится, и даль поитъ туманомъ,
И отняло у неба весь закатъ.
Всѣ исполняютъ прихоти его:
Та лодка узкая, ласкающая гладь,
И тонкоствольный строй сосновой рощи,
И семафоръ на дальнемъ берегу,
Въ немъ отразившій свой огонь зеленый,
Какъ разъ, на самой розовой водѣ.
Къ нему ползетъ трехглавая змѣя
Своимъ единственнымъ стальнымъ путемъ,
И, прежде свиста, озеро доносить
Ко мнѣ—ея ползучій, хриплый шумъ.

Я на уступѣ. Надо мной—могила
Изъ темнаго гранита. Подо мной
Бѣлѣющая въ сумеркахъ дорожка.
И кто посмотреть снизу на меня,
Тотъ испугается: такой я неподвижный,
Въ широкой шляпѣ, средь ночныхъ могилъ.
Скрестившій руки, стройный и влюбленный въ міръ.
Но некому взглянуть. Внизу идутъ
Влюбленные другъ въ друга: нѣтъ имъ дѣла
До озера, которое внизу,
И до меня, который наверху.
Имъ нужны человѣческіе вздохи.
Мнѣ нужны вздохи сосенъ и воды.
А озеру—красавицъ—ей нужно,
Чтобъ я, никѣмъ не видимый, запѣлъ

Высокій гимнъ о томъ, какъ ясны зори,
Какъ стройны сосны, какъ вольна душа.

.....
Я отражаюсь въ озерѣ... Мы видимъ
Другъ друга:—Здравствуй! я кричу...
И голосомъ красавицы—лѣса
Прибрежные отвѣтствуютъ мнѣ:—Здравствуй!
Кричу:—Прощай!—они кричатъ:—Прощай!
Лишь озеро молчитъ, влача туманы,
Но ласково на немъ отражены
И я, и всѣ союзники мои:
Ночь бѣлая, и Богъ, и твердь, и сосны...

И бѣлая задумчивая ночь
Несетъ меня домой. И вѣтеръ свищетъ
Въ горячее лицо. Вагонъ летитъ...
И въ комнатѣ моей бѣлѣтъ утро.
Оно на всемъ: на книгахъ и столахъ,
И на постели, и на мягкомъ креслѣ,
И на письмѣ трагической актрисы:
„Я вся усталая. Я вся больная.
„Цвѣты меня не радуютъ. Пишите.
„Простите и сожгите этотъ бредъ...“
И томныя слова... И длинный почеркъ
Усталый, какъ ея усталый шлейфъ...
И томностью пылающія буквы,
Какъ яркій камень въ черныхъ волосахъ.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



ЭЛЕГИЧЕСКАЯ СЮИТА.

I.

За полночь, завывающей зимой,
Безъ блестокъ, и звѣздъ, и луны,
Когда ты возвращаешься домой
И видишь, что окна темны,—

Еще ты приближаешься и ждешь:
Рядъ оконъ засвѣтитъ вотъ-вотъ...
Но чуешь засмѣяшуюся ложь,—
И сердце во мракъ упадетъ.

И, слившись съ заполуночной зимой,
Поймешь ты и то, что темно;
Спокойно ты постигнешь, что домой
Вернуться душѣ не дано.

II.

КОНЕЦЪ МАРТА.

Пятно туманной луны
Маячить въ выси туманной.
А снѣгъ, дыша умиленностью,
Исходитъ каплями благодетными.

Подъ снами нашими тягостными
И здѣсь весенней влюбленностью—
Больною, тусклой, обманной—
Мы всѣ—уже влюблены.

III.

ИСТОМА.

Душень яркій зной,
Никнешь головою.
Папоротникъ сквозной
Съ ласковостью живою—
Словно сонъ колыхается;
Ты подъ нимъ въ забывчивости;
Чувствуется и слышится
Снящееся въ расплывчивости.

Тихо взоръ замкнулъ
Ты зарей пурпурной.
Вслушивайся же въ гулъ
Жизненности лазурной—
Въ сны благоуханные,
Легкіе и тягостные,
Призрачные, неожиданные,
Солнечные и благостные.

IV.

Когда я въ августѣ, въ закатный часъ, иду
Въ моемъ запущенномъ мечтательномъ саду,
И этотъ ясный часъ различно—одинаковъ
Въ покровѣ, рѣющемъ на купахъ мальвъ и маковъ,
На листьяхъ и цвѣтахъ, на небѣ и землѣ,—
И я среди цвѣтовъ качаюсь на стеблѣ,
И тихо насъ манитъ, прозрачной дремой вѣя,
Лилово-свѣтлая плѣнительная фея.

ЮРІЙ ВЕРХОВСКІЙ.



* * *

Мой лугъ замыкали своды
Истѣнченныхъ мраморныхъ дугъ...
Часы ль тамъ игралъ я—иль годы—
Средь бабочекъ, легкихъ подругъ?

И тамъ, подъ сѣнью узорной,
Сидѣли отецъ и мать.
Далось мнѣ рукой проворной
Крылатый лучъ поймать.

И къ нимъ я пришелъ, богатый,—
Повѣдать новую быль...
Сѣрѣла въ рукѣ разжатой,
Какъ въ урнѣ могильной,—пыль.

Отецъ и мать глядѣли:
Нѣмой ли то былъ укоръ?
Отецъ и мать глядѣли:
Тусклѣлъ неподвижный взоръ...

И старая скорбь мнѣ снится,
И хлынуть въ слезахъ изъ очей...
А въ темное сердце стучится
Порханье живыхъ лучей.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



Земля.

Изъ комнатъ, гдѣ безъ лжи немыслимъ разговоръ,
Отъ полустертыхъ лицъ въ табачной мглѣ
Усталый, я бѣжалъ на солнечный просторъ—
Къ землѣ.

Ступаетъ грузный волъ ушами шевеля,
Какъ серебро блестя, врѣзается сошникъ.
И хочется всю жизнь излить въ побѣдный крикъ:
„Земля!“

Всегда со всѣми и всегда одинъ,
Всегда во всемъ и отъ всего вдали,
Тамъ былъ я пасынкомъ,—а здѣсь я сынъ
Земли.

АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ.





Вилье-де-Лиль-Аданъ.

УБИЙЦА ЛЕБЕДЕЙ.

РАЗКАЗЪ ВИЛЬЕ-ДЕ-ЛИЛЬ-АДАНА.

„Les cygnes comprennent les signes“.
Victor Hugo. „Le Miserables“.

Роясь въ томахъ Естественной Истории нашъ знаменитый другъ, докторъ Трибуло Бономе, узналъ, между прочимъ, что „лебеди передъ смертью хорошо поютъ“. Въ самомъ дѣлѣ (какъ онъ намъ признался недавно) одна только эта музыка, съ тѣхъ поръ, какъ онъ ее услыхалъ, помогала ему переносить жизненные разочарованія, а всякая другая казалась чепухой, Вагнеромъ.

— Какимъ образомъ онъ могъ доставить себѣ это изысканное удовольствіе?

А вотъ какъ:

Онъ жилъ въ старинномъ укрѣпленномъ городѣ. Однажды опытный старикъ открылъ въ окрестностяхъ города, въ вѣковомъ заброшенномъ паркѣ,

подъ тѣню громаднѣхъ деревьевъ, старый священный прудъ. По его темному зеркалу скользило двѣнадцать или пятнадцать птицъ. Онъ тщательно изучилъ ихъ повадку, сообразилъ разстояніе, обращая особое вниманіе на чернаго лебедя, ихъ хранителя, который дремалъ убаюканный солнцемъ.

Этотъ черный лебедь всѣ ночи бодрствовалъ, держа гладкій камешекъ въ своемъ длинномъ розовомъ клювѣ; при малѣйшемъ шумѣ, когда угрожала опасность тѣмъ, кого онъ охранялъ, движеніемъ шеи онъ быстро бросалъ камень въ воду, въ середину бѣлаго круга уснувшихъ лебедей: и стая, по его знаку и подъ его предводительствомъ, улетала сквозь мракъ аллеи къ отдаленной лужайкѣ или къ фонтану, гдѣ отражаются сѣрыя статуи, или въ какой-нибудь другой пріютъ, хорошо имъ знакомый.

А Бономе долго слѣдилъ за ними въ молчаніи и улыбался имъ.

Развѣ не ихъ послѣдней пѣсней мечталъ онъ, какъ истый цѣнитель, усладить свой слухъ?

Иногда, въ темную осеннюю ночь, ровно въ двѣнадцать часовъ, Бономе, мучимый бессонницей, вдругъ вставалъ, особеннымъ образомъ одѣвался, для того, чтобы вновь и вновь слышать желанную музыку. Костлявый и долговязый докторъ пряпывалъ свои ноги въ непомѣрно большіе резиновые сапоги на мѣху, которые служили продолженіемъ его широкой непромокаемой одежды, также основательно подбитой мѣхомъ; на руки онъ надѣвалъ пару стальныхъ перчатокъ съ гербомъ; эти перчатки были, вѣроятно, принадлежностью какихъ-нибудь средневѣковыхъ доспѣховъ (онъ удачно ихъ купилъ у одного продавца старинныхъ вещей за цѣлыхъ тридцать восемь су: настоящее безуміе!). Затѣмъ онъ надѣвалъ большую шляпу, тушилъ лампу, выходилъ и, положивъ ключъ отъ дома въ карманъ, съ довольнымъ видомъ направлялся къ окраинѣ заброшеннаго парка.

Онъ шелъ по темнымъ тропинкамъ къ убажищу своихъ любимыхъ пѣвцовъ. Прудъ былъ не-

глубокъ; онъ его отлично изслѣдовалъ. Вода доходила ему лишь до пояса.

Подъ сводами прибрежной листвы, онъ заглашаль свои шаги, ступая на сухія вѣтки съ большою осторожностью.

Придя на самый берегъ пруда, онъ медленно, очень медленно, безъ малѣйшаго шороха, ступалъ сначала одной ногой, потомъ другой и подвигался въ водѣ съ необыкновенной осторожностью; онъ едва рѣшался дышать. Такъ волнуется меломанъ отъ близости ожидаемой каватины. Онъ такъ медленно подвигался, что двадцать шаговъ, которые его отдѣляли отъ дорогихъ пѣвцовъ, онъ дѣлалъ въ два, а иногда въ два съ половиною часа: онъ боялся встревожить тонкую бдительность чернаго стража.

Дыханіе беззвѣздныхъ небесъ печально тревожило верхушки деревъ вокругъ пруда; но Бономе, не развлекаясь таинственнымъ ропотомъ, незамѣтно все подвигался впередъ и такъ успѣшно, что къ тремъ часамъ утра онъ, невидимый, находился въ полушагѣ отъ чернаго лебедя, причемъ тотъ совершенно не чувствовалъ его близости.

Тогда добрый докторъ, улыбаясь въ темнотѣ, царапалъ тихо, очень тихо, поверхность воды вблизи стража, едва касаясь ея концомъ указательнаго пальца среднепѣвковой перчатки... Его прикосновеніе было такъ нѣжно, что лебедь, хотя и удивленный, не могъ счесть эту смутную тревогу достаточной, чтобы бросить камень. Лебедь слушалъ. Мало-по-малу его душу пронизывала неясная мысль объ опасности, и его сердце, его бѣдное наивное сердце, начинало биться,—тогда Бономе торжествовалъ.

И вотъ прекрасные лебеди, одинъ за другимъ, встревоженные среди глубокаго сна волнистымъ движеніемъ, подымали головы изъ-подъ блѣдныхъ серебряныхъ крыльевъ и, подъ тяжестью тѣни Бономе, впадали въ тоску отъ какого-то смутнаго сознанія смертельной опасности, которая имъ грозила. Но въ своей безконечной нѣжности, они стра-

дали молча, какъ ихъ стражъ—не смѣя улетѣть, такъ какъ камень не былъ брошенъ. И сердца этихъ бѣлыхъ изгнанниковъ начинали биться ударами глухой предсмертной тоски—ударами, понятными и ясными для восхищенного слуха добрейшаго доктора, который, зная хорошо, какія нравственныя муки даетъ имъ одна его близость,—наслаждался, испытывая несравненную дрожь устрашающимъ впечатлѣніемъ, которое производила на нихъ его неподвижность.

— Какъ сладко поощрять художниковъ! говорилъ онъ себѣ.

Три четверти часа продолжался этотъ восторгъ, который онъ не промѣнялъ бы ни на что. Внезапно лучъ утренней звѣзды, скользяшій сквозь вѣтви, освѣщалъ Бономе, черныя воды и лебедей съ глазами, полными видѣній. Стражъ, обезумѣвшій отъ ужаса, бросалъ камень въ воду...

Слишкомъ поздно!.. Бономе съ дикимъ крикомъ, какъ бы сбрасывая приторно-улыбающуюся маску, устремлялся съ выпущенными когтями въ ряды священныхъ птицъ.—И быстры были объятія желѣзныхъ пальцевъ этого современнаго богатыря, и чистыя, бѣлоснѣжныя шеи двухъ или трехъ пѣвцовъ были свернуты или сломаны ранѣ отлета другихъ вдохновенныхъ птицъ.

Тогда душа умирающихъ лебедей, забывая о добромъ докторѣ, устремлялась къ невѣдомымъ небесамъ съ пѣсней безсмертной надежды, освобожденія и любви.

Разсудительный докторъ улыбался этой сентиментальности, которую онъ не удостоивалъ своего вниманія; какъ серьезный знатокъ, онъ цѣнилъ только одну красоту звука.—Онъ цѣнилъ только странную нѣжность тѣмбра этихъ символическихъ голосовъ, перелагающихъ смерть въ мелодію.

Бономе, закрывъ глаза, вбиралъ въ себя, въ свое сердце, стройныя волны звуковъ: потомъ, шатаясь отъ восторга, онъ взбирался на берегъ, растягивался навзничь на травѣ въ своихъ теплыхъ непромокаемыхъ одеждахъ.

Такъ этотъ меценатъ нашего времени, изне-
мая въ сладострастномъ оцѣпенѣніи, вновь и
вновь упивался въ глубинахъ своего существа вос-
поминаніемъ о восхитительномъ—хотя и нѣсколько
отдающимъ устарѣлой торжественностью—пѣніемъ
его милыхъ художниковъ.

И, вкушая свой истомляющій экстазъ, онъ
добродѣтельно-самодовольно смаковалъ свое тон-
кое наслажденіе до самаго восхода солнца.

ПЕРЕВ. З. Г-СЬ.



УЗЕЛЬ.

Сожму я въ узелъ нить
Межъ сердцемъ и сознаньемъ,
Хочу разъединить.
Себя съ моимъ страданьемъ.

И будетъ кровь не течь,
Ползти, сквозь узелъ, глухо.
И будетъ сердца рѣчь
„ Невнятною для духа.

Пусть, теплое, стучить
И бьется, спотыкаясь.
Свободный духъ молчить,
Молчить не откликаясь.

Храню его полетъ
Отъ всѣхъ путей страданья
Онъ данъ мнѣ—для высотъ
И счастья созерцанья.

Уломъ себя дѣлю,
Преградой размыкаю.
И если полюблю—
Про это не узнаю.

Покой и тишь во мнѣ,
Я волей кругъ мой сузилъ...
...Но плачу я во снѣ,
Когда слабѣть узелъ.

З. ГИППІУСЪ.



Послѣ грозы.

Хохотали, хохотали такъ невозможно
Деревья, травы, даже татарникъ колючій,
Даже татарникъ мохнатолистый безбожно
Хохоталъ, извиваясь надъ кручей!

А круча... а круча сверкала пластами глины,
Четкими, какъ чьи-то зубы пластами...
Смѣялись птицы... и кто-то тонкій и длинный
Уходилъ, пожимая плечами.

С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ.





Б у р я.

Грозенъ пиръ надъ моремъ чернымъ.
Волны ропотомъ упорнымъ
заглушаютъ голоса.

Вѣтеръ гонитъ ихъ, бушуетъ;
вѣтеръ столами чаруетъ
грозовыя небеса.

На призывы непогоды,
съ ликованьями свободы,
изо всѣхъ подводныхъ норъ,
небывалые уроды,
собирая хороводы,
выплываютъ на просторъ.

Къ нимъ красавицы морскія,
нерейды молодя,
на свиданіе спѣшатъ.

Отуманенные влагой,

ихъ глаза горять отвагой,
страстью блѣдною горять.

Полны нѣги—ихъ извивы;
серебристые отливы—
на зеленой чешуѣ.

Кудри пышныя цвѣтами,
перламутромъ, жемчугами
разукрасили онѣ.

Ночь звенить отъ кликовъ чудныхъ.
Вся въ мерцающихъ изумрудныхъ
вѣтромъ зыблемая мгла.

Нереиды не боятся,
въ блескахъ молній серебрятся
ихъ змѣистыя тѣла.

Грозенъ пиръ надъ моремъ чернымъ.
Волны ропотомъ упорнымъ
заглушаютъ голоса.

Нереиды не внимаютъ
и смѣются, и купаютъ
въ бѣлой пѣнѣ волоса.

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.



КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

Я не знаю многихъ пѣсенъ, знаю пѣсенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну.

Колыбельку я рукою осторожною качну,
Пѣсенку спою младенцу, отходящему ко сну.

Тихій ангелъ встрепетъ, улыбнется, погрозится
шалуну,

И шалунъ ему отвѣтитъ: „Ты не бойся, ты не дуй-
ся,—я засну“.

Ангель сядетъ къ изголовью, улыбаясь шалуну,
Сказки тихія расскажетъ отходящему ко сну.

Онъ про звѣздочки расскажетъ, онъ расскажетъ
про луну,
Про цвѣты въ раю высокомъ, про небесную весну.

Промолчитъ про тѣхъ, кто плачетъ, кто томится
въ полону,
Кто закованъ, зачарованъ, кто влюбился въ тишину,

Кто томится, не ложится, долго смотритъ на луну,
Тихо сидя у окошка, долго смотритъ въ вышину,—

Тотъ поникнетъ, и не крикнетъ, и не пикнетъ, и
поникнетъ въ глубину,

И на рѣчкѣ съ легкимъ плескомъ кругъ за кругомъ
пробѣжитъ волна въ волну.

Я не знаю много пѣсенъ, знаю пѣсенку одну,
Я спою ее младенцу, отходящему ко сну,

Я на ротикъ розъ раскрытыхъ росы тихія стряхну,
Глазки-цвѣтики-цвѣточки пѣсней тихою сомкну.

ВЕДОРОЪ СОЛОГУБЪ.



Въ лѣсу.

Слышу стонъ твой издалече,
Вижу: плачешь на землѣ,
Колыхаютъ слезы плечи,
Скорбь застыла на челѣ.

И цѣлуешь верескъ алый,
Припадаешь, и опять
Подымаешь крикъ усталый
Къ синю небу взлетать:

По травѣ ходилъ по этой,
На цвѣты лѣсовъ глядѣлъ.

Сердца ласковой замѣтой
Сколько сосенокъ одѣлъ.
Какъ питался, любовался,
Красотой лѣсною жилъ;
Голосъ звонкій отдавался,
Съ эхомъ вспылчивымъ дружилъ.

А теперъ—лѣса красивы,
Или нѣтъ—не вижу я.
Слышишь ты мои призывы,
Тамъ, въ тѣснинахъ бытія?

Слышу, вѣрная подруга!
И хожу, хожу, вотъ такъ:
Одного того же круга
Обивая известнякъ,
Выпускають чередю
По дорожкѣ погулять,
Чтобъ натянутой уздою
Вольнымъ сердцемъ помыкать.

Шагу малаго налѣво,
Ни направо не ступи,
А безпомощнаго гнѣва
Силу острую тупи.

Вотъ хожу и вспоминаю
Лѣсъ зеленый да тебя.
А тоска моя шальная
Ходить рядышкомъ, знобя.

Слышу стонъ твой издалече.
Вижу: плачешь на землѣ.
Подыми-ка къ небу плечи,
Сгладь морщины на челѣ!

И окинь свободнымъ окомъ
Красоту и бытіе.
Все ль твое въ лѣсу высокомъ?
А твое, такъ и мое.

СЕРГѢЙ ГОРОДЕЦКІЙ.



Лѣсъ.

По вѣтвямъ надъ смольной мглою темнокрылый
богъ
Прокатилъ по скользкимъ хвоямъ, на соснѣ воз-
лежъ,
Обратилъ къ закату блѣдный и звѣринный ликъ...
Сиротливый, слитный, мѣдный сталъ въ чашобахъ
крикъ.

Въ долгомъ воѣ шорохъ хвои, рокотъ и прибой;
Стонетъ лѣсъ многоголосый, чуткій и глухой.
И горитъ вѣнецъ граненый въ заревыхъ камняхъ;
И огонь въ тоскливомъ взорѣ, и огонь въ пер-
стняхъ.

У царя въ гудящей хвоѣ не мое ль лицо?
Не цареву ли на пальцѣ у меня кольцо?
Рысій богъ въ вѣнцѣ огнистомъ, ты ли внемлешь
мнѣ?
Я ль дремлю, дремлю—и слышу мѣдный стонъ въ
огнѣ?

Отъ меня ты Слова хочешь, мой лѣсной двойникъ?
Ты къ моей душѣ душою, какъ къ ключу, приникъ!
Жалить зовомъ взоръ горящій,—голосъ скованъ
мой...
Кто здѣсь темный? Кто здѣсь зрящій? вѣщій,— и
нѣмой?

МАРГАРИТА САБАШНИКОВА.



ВТОРОЕ КРЕЩЕНИЕ.

Открыли дверь мою метели,
Застыла горница моя,
И въ новой снѣговой купели
Крещенъ вторымъ крещеньемъ я.

И въ новый міръ вступая, знаю,
Что люди есть, и есть дѣла,
Что путь открыть навѣрно къ раю
Всѣмъ, кто идетъ путями зла.

И женщинъ жалкія объятья
Знакомы мнѣ,—я къ нимъ привыкъ.
И всѣмъ странамъ я шлю проклятья...
Да будетъ это—первый крикъ.

Я такъ усталъ отъ ласкъ подруги
На застывающей землѣ.
И драгоценный камень выюги
Сверкаетъ льдиной на челѣ.

И гордость новаго крещенья
Мнѣ сердце обратила въ ледъ.
Ты мнѣ сулишь еще мгновенье?
Пророчишь, что весна придетъ?

Но посмотри, какъ сердце радо!
Заграждена снѣгами твердь.
Весны не будетъ, и не надо:
Крещеньемъ третьимъ будетъ Смерть.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.





С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКІЙ.

ЛѢСНАЯ ТОПЬ.

ОТРЫВОКЪ.

Когда зашло солнце, то вода въ рѣкѣ стала черной, какъ аспидная доска, камыши сдѣлались жесткими, сѣрыми и большими, и ближе пододвинуль лѣсъ свои сучья, похожія на лохматые лапы.

Запахло прѣлью съ близкой топи, протяжно и жалобно пискнуло въ лѣсу и потомъ долго стояло въ ушахъ острое, какъ булавка.

А подъ ногами и около, въ сухихъ листьяхъ, зашуршало, зашевелилось и потянулось дальше, вдоль берега, что-то невидное и пугливое.

Потомъ какъ-то незамѣтно стало темно и узко, какъ на днѣ колодца.

Маленькіе ребяташки, Филька и Антонина, братъ и сестра, ловили раковъ.

Повиль, собственно, Филька, какъ старшій. Онъ забрасывалъ колпачки на длинныхъ бичевкахъ и вытягивалъ быстро-быстро, проводя между ка-мышами. Антонина, серьезная, худенькая, ходила за нимъ съ кошелкой и выдирала раковъ изъ сѣ-токъ, какъ колючки изъ платья, неловко натыка-лась пальцами на колючія клешни и вскрикивала.

— Чего орешь! Нѣжная,—ругалъ ее, какъ взрослый, Филька. Ему было десять лѣтъ,—ей шелъ девятый.

Къ вечеру раки стали ловиться лучше, точно въ черной водѣ имъ было привольнѣе и веселѣе, и они ползали по таинственному дну, сами таинствен-ные и страшные.

И временами ребятамъ казалось, что они видятъ ихъ на днѣ, медлительныхъ и важныхъ, видятъ, какъ они ползутъ и облѣпляютъ въ колпачкахъ наживу, жадные, какъ стая собакъ.

И не хотѣлось уходить, и было жутко однимъ.

На большую корягу, торчавшую изъ воды справа, ближе въ серединѣ рѣки, сѣлъ зимородокъ и долго сидѣлъ неподвижно и задумчиво. Потомъ вдругъ пугливо свиснулъ и замелькалъ надъ водой.

Ударила на томъ берегу большая рыба, рѣзко, точно пастушьимъ кнутомъ, и покатились масля-нистые круги на этотъ берегъ.

— Сомъ!—тихо сказала Антонина.

— Ишь не сомъ, а вовсе шука... Тебѣ все сомъ! Какая сомовая!—отозвался Филька, тоже тихо, и тутъ же громко кашлянулъ и сплюнулъ на бокъ, какъ большой.

Лѣсъ на томъ берегу сталъ сплошной и густой и дымился отъ воды снизу, а вверху вырвались изъ него кое-гдѣ угольно-черные косяки и молчали, вѣѣвшись въ небо.

Засновали летучія мыши. Были онѣ совѣмъ какъ птицы, только беззвучныя и видныя на одинъ моментъ: неизвѣстно, откуда брались, и неизвѣстно, гдѣ пропадали.

— Зачѣмъ онѣ?—спросила Антонина.

— Чего зачѣмъ?—обернулся Филька.

— Летають-то?...

Филька догадался, но счелъ нужнымъ проворчать, какъ большой.

— Летають и все... То-оже, скажи пожалуйста, не нравится ей, зачѣмъ летають.... Что жъ ты имъ сидѣть прикажешь?

Въ одинъ колпачекъ попало сразу четыре рака, три крупные, одинъ мельче, мягкій, съ молодой скорлупой.

— Вотъ они какъ пошли!—ликовалъ Филька.— Теперь пойдутъ!.. Теперь еще немного посидѣть, они вонъ какъ пойдутъ!... Самый ловъ начался.

Что-то тихо дышало на нихъ сзади изъ-за толстыхъ мшистыхъ дубовъ, дышало ядовитой сыростью и густымъ запахомъ смерти отъ гніющихъ листьевъ.

Надъ рѣкой протянулись мосты изъ тѣней, и по нимъ на этотъ берегъ шло что-то оттуда, издали, изъ того лѣса, казавшагося еще болѣе старымъ и огромнымъ, чѣмъ этотъ, и приходя сюда, шушукалось за ихъ спинами.

Камыши вблизи стояли сухіе и колючіе, и неприятно было, какъ наискось, всѣ острыми углами къ водѣ, торчали ихъ поджатые листья, точно лошадиные уши.

— Бу-у... бу-у...—завела гдѣ-то недалеко выпь.

— Что это?—спросила Антонина.

— Бучило—отвѣтилъ Филька.

— Пойдемъ домой,—несмѣло запросила Антонина.

— Ладно... Самый ловъ начался... поспѣешь,—отвѣтилъ Филька.

Онъ снялъ съ головы картузь, почесался и надвинулъ его на глаза. Вынулъ колпачекъ,—опять четыре рака и всѣ большіе, но когда забрасывалъ его снова въ воду, и онъ щелкнулъ по водѣ, захлебнувшись, показалось, что это громко, и что утонулъ не колпачекъ съ желѣзнымъ прутомъ, а кто-то живой.

Какіе-то всхлипывающіе звуки, влажные и робкіе, приплыли издалика по водѣ, точно кто-то

ѣхалъ тамъ на лодкѣ, а молодая осинка въ сторонѣ, узенькая и черная, стала совсѣмъ какъ человѣкъ, очень высокій и очень прямой: подошелъ къ берегу и смотреть на воду.

— Вонъ, глянь-ка!—шепнула Антонина и показала на нее робко согнутымъ пальцемъ.

— Ветла,—сказалъ Филька тихо и тутъ же громко добавилъ:—ветла, и болѣ ничего.

Все измѣнялось кругомъ, измѣнялось на глазахъ и незамѣтно, точно колдовство совершалось. Ходило кругомъ лѣсное и колдовало и развѣшивало занавѣски изъ рѣчного тумана надъ тѣмъ, что было въ дали, и перетаскивало эту даль сюда, какъ кошка котятъ, отчего здѣсь вблизи становилось густо, черно и душно.

Все шелестѣло и возилось что-то въ лѣсу, точно огромныя стаи галокъ или другихъ, такихъ же крикливыхъ черныхъ птицъ, садились тамъ на ночлегъ на вѣткахъ и никакъ не могли усѣсться.

Въ кошелкѣ шептались раки—шу-шу-шу-шу... Ихъ было уже много. Филька досчиталъ до сотни, а потомъ пересталъ считать. То, что они шептались тамъ на днѣ, было зловѣщимъ отъ темноты, какъ колючая угроза.

И грозились камыши, поворачивая пухлыя голы, и черная коряга, на которой сидѣлъ зимородокъ, была насупленная и тоже грозилась.

Недалеко отъ нея плеснула рыба, и въ сіяньи круговъ показалось, что коряга плыла, раскачавшись, рогатая, мокрая.

Прежде, когда было видно, хотѣлось ѣсть, теперь было только страшно. Проползало что-то лѣсное мимо, глядѣло сквозь глаза въ душу, и начинало холодать подъ сердцемъ; думалось о тепломъ сѣновалѣ, яркомъ подсвѣчникѣ въ церкви передъ большою красною иконой, о широкой тяткиной бородѣ.

Или представлялся скрипучій возъ, въ него можно было лечь и ѣхать и закрыть глаза, чтобы не видѣть ни рѣки, ни лѣса. Поднималась сырость откуда-то со дна рѣки и изъ трещинъ земли, сы-

рость душная и плотная, заползавшая прямо въ горло, какъ печная сажа.

Свивалось и развивалось что-то, выползало изъ напыженныхъ притаившихся кустовъ, капало большими мягкими каплями съ висѣвшихъ надъ головой закрученныхъ шершавыхъ вѣтокъ; шуршало осторожно и тихо камышами, то ближе, то дальше.

— Это что?—спросила Антонина. Филька посмотрѣлъ на нее и на лѣсъ, подумалъ и отвѣтилъ:

— Что, что? Тебѣ все—что это?... Стой и молчи.

Около самага берега въ водѣ сломанныя камышинки отчеканились хитрымъ переплетомъ, точно кто-то сплелъ изъ нихъ сѣтку и придавилъ воду, но вода смотрѣла сквозь ячейки сѣтки прищуренными глазами и мигала ими, молчаливо, но было понятно.

И страшно было.

Страхъ ходилъ около и ткалъ паутину, загрибистый, какъ паукъ.

Казалось, что на босыхъ ногахъ что-то налипаетъ клейкое, чтобы приворожить къ землѣ, и ноги замѣтно нѣмѣли все выше—выше.

Налетѣла дикая утка, плеснула крыльями возлѣ самыхъ камышей и—фрр—испуганно ударила въ воздухъ грудью и пропала въ темнотѣ. Темнота разступилась было и вновь сомкнулась.

Заквакала вдругъ лягушка раскатисто и звучно на цѣлый лѣсъ, точно лошадь заржала, потомъ какъ-то сразу оборвалась, и опять стало тихо.

Луна еще не всходила, но звѣзды уже прихлынули къ землѣ и заткали небо чистой сѣткой любопытныхъ глазъ, отчего внизу стало еще душнѣе, точно колодець прикрыли крышкой съ узкими дырочками для свѣта; и сразу захотѣлось на свѣтъ.

— Пойдемъ домой,—тихо потянула Фильку за рукавъ Антонина.

Изъ-подъ платка на Фильку глядѣло странное, незнакомое теперь въ полутьмѣ маленькое лицо Антонины, и Антонина не узнала Филькина лица,

только картузъ былъ Филькинъ, выгнутый, какъ кошачья спина, на затылкѣ.

Филька оглянулся. Лѣсъ кругомъ былъ близкій и темный, какъ высокія стѣны, и все что-то дрожало въ немъ, шевелилось, укладывалось и опять вставало. Гдѣ-то треснула сухая вѣтка. Стало холодно. Сдавило глотку.

— Сейчасъ пойдемъ,—сказалъ онъ чуть слышно.

Дико заблеялъ вдругъ кто-то на дубу надъ головой... Ястребъ? Совы?

Что-то острое рѣжущей змѣйкой прошло вдоль спины, точно чей-то коготь. Антонина ухватила за Филькину рубаху и не выпускала ее изъ рукъ. Филька нагнулся надъ водой вынуть колпачокъ, и нагнулась Антонина, и оба увидѣли, вдругъ, вздрогнувъ и застывъ, какъ недалеко, въ трехъ шагахъ отъ нихъ, за камышами поднялась изъ воды зеленая тинистая человѣчья голова, старая, яркая, какъ снопъ зеленыхъ молній, фыркнула и поплыла къ нимъ; потомъ рука взмахнула, тонкая, съ длинными пальцами...

Вскрикнули и побѣжали оба... И это не они бѣжали тамъ по изгибистой лѣсной тропинкѣ, спотыкаясь на корни; они забыли, что это они, что они бѣгутъ, что впереди село; бѣжалъ, раздвоившись, безликій страхъ, а за нимъ гналась, хохотала тайна, и кричалъ лѣсъ, и падало, какъ гремучіе желѣзные листы, небо и дыбилась и трескалась земля, и два вихря, одинъ ледяной, другой изъ огненныхъ искръ, обвивались около и дули въ щеки, а въ глазахъ все стояла тинистая зеленая человѣчья голова, фыркающая, плывущая, и тянулись тонкія руки. Руки были впереди и съ боковъ, жесткія и липкія, обхватывали, отпускали, хватали вновь: это лѣсъ кидался на нихъ со всѣхъ сторонъ и загоразивалъ дорогу.

— „Го-го-го-го!“—кричало снизу изъ оврага... — „Го-го-го-го!“—отзывалось вверху въ темнотѣ. Аукало зеленое... Качалось, плясало и падало, прямо передъ глазами, быстрое, яркое, какъ звѣзды...

Рвануло за платье сзади, схватило за ноги...

Охрипло горло отъ крика... И все голова, тинистая,
страшная голова протиралась сквозь камыши, фыр-
кала и плыла ближе-ближе, вотъ схватить. И ды-
шало такъ звучно искрами и льдомъ, ядовитымъ
туманомъ и смертью отъ прѣлыхъ листьевъ.

С. СЕРГѢЕВЪ-ЦЕНСКИЙ.



* * *

При лунѣ на косматомъ конѣ
Выѣзжаю я въ степь на дорогу,
Зову, и, послушные рогу,
Собираются други ко мнѣ.

Безъ конца серебрится ковыль.
Подъ рѣдѣющимъ, соннымъ туманомъ
Ожила стародавняя быль,
Всколыхнулся курганъ за курганомъ.

Далеко перекатенъ мой зовъ,
Бьютъ копытами ярые кони,
Бряцаютъ тяжелыя брони
И блещутъ верхи шишаковъ.

На морщинистыхъ лицахъ рубцы,
Смотрятъ очи правдиво и смѣло,
Тѣсняются сѣдые бойцы
И, кажется, нѣтъ имъ предѣла.

Отъ гулкаго множества ногъ
Колеблется сила земная
И стонетъ, какъ звѣрь, завывая,
Мой вѣками завѣщанный рогъ.

АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ.



Ночь.

Огнемъ трепещетъ ночь, и мракъ-звѣдопоклонникъ
Чуть-чуть колышется подъ говоръ тишины,—
Луною мраморный обрызганъ подоконникъ
И тѣни нашихъ рукъ на немъ удлинены...

Теперь—виднѣе сонъ, теперь—забота краше,
И полусвѣтитъ мѣръ въ эфиръ полутьмы,
И тѣни нашихъ рукъ намъ кажутся не наши,
Какъ будто у окна сошлись не только мы!..

Какъ будто кромѣ насъ—любвиѣй и безсонный
Заслушались мечтой нѣмыя существа,
Что съ небомъ связаны судьбой потусторонней
И шаткой тайною воздушнаго родства!

Для нихъ сплетеньями серебряныхъ извилинъ
Туманится ручей въ полуночномъ огнѣ,
Онъ углубленъ въ себя и грезой обезсилень,
И край русалочный онъ видитъ въ полуснѣ.

Привольнѣй облакамъ блестится и живетъ,
Слышнѣе, какъ цвѣты, задумавшись, цвѣтутъ...
Душа внимательно и жутко спознается
Съ неувимостью восторговъ и причудъ.

Теперь—виднѣе сонъ, теперь—забота краше,
И полусвѣтитъ мѣръ въ эфиръ полутьмы,
И тѣни нашихъ рукъ намъ кажутся не наши,
Какъ будто у окна сошлись не только мы...

Б. ЛЕСЬМЯНЪ.





СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.

SPECULUM DIANAЕ.

Какъ блѣдный сафиръ въ изумрудной оправѣ,
блестить это озеро между холмами,
хранимое гордыми снами,
мечтами о прожитой славѣ.

Теперь все окрестъ и бѣдно и уныло,
тѣнями столѣтій пустыня объята.

Но было здѣсь людно когда-то,
и пышно когда-то здѣсь было.

Вдоль пастбищъ, гдѣ нынѣ сѣрѣютъ бурьяны,
сады и чертоги въ лазурь возносились;
и тамъ, на холмахъ, серебрились
священные рощи Діаны.

Когда-то, въ тѣни заповѣдной дубравы,
на этой давно опустѣлой вершинѣ,

гдѣ камни бѣлѣются нынѣ,
былъ храмъ въ честь Юпитера-Славы.

Отсюда, какъ богъ въ челнокѣ золотистомъ,
подъ грозное пѣнье побѣдныхъ пѣановъ,
подъ звоны литавръ и тимпановъ,
увѣнчанный лавромъ душистымъ,
любимецъ солдатъ, побѣдитель, диктаторъ,
въ откинутой гордо назадъ багряницѣ,
на бѣлыхъ коняхъ, въ колесницѣ,
къ народу спѣшилъ триумфаторъ.

За нимъ шли патриціи въ яркихъ покровахъ,
сверкали на солнцѣ орлы легионовъ,
и, молча, безъ жалобъ и стоновъ,
шли варвары слѣдомъ, въ оковахъ.

Шумѣла толпа. И его осыпали
цвѣтами, вѣнками изъ миртовъ зеленыхъ,
и дѣвы въ прозрачныхъ хитонахъ
его на порогахъ встрѣчали...

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.



Любить.

Любить—это слушать нездѣшніе хоры
и рокоты арфъ неземныхъ,—
постигнуть, что міръ—чьи-то близкіе взоры
и міры, отраженные въ нихъ.

Любить—это ночью томиться беззвѣздной,
грустить и не знать, что грустишь,—
стоять одиноко надъ бездной, надъ бездной
и не знать, что надъ бездной стоишь.

Любить—это небо похитить у Бога
и небо за ласку отдать,—

страдать такъ покорно, такъ много, такъ много,
чтобы сердце устало страдать.

Любить—это падать, и въ этомъ паденьи
другого съ собою увлечь.

Любить—это бредить, сгорая въ мгновеньи,
и мгновенье зажечь.

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.



КОРАБЛИ.

Словно дымъ изъ кадилаицы, горы вдали
вознеслись къ непорочнымъ туманамъ.

Вдоль острова, съ юга плывутъ корабли,
уносятся къ сѣвернымъ странамъ.

Огибая заливъ, зеленѣютъ свѣтло
береговъ блѣднолиственныхъ мысы.

И воздухъ надъ нимъ—золотое стекло,
и въ золотѣ спятъ кипарисы.

На вечернемъ заливѣ сверкаетъ, дрожа,
ожерелье изъ зыбкихъ алмазовъ.

Въ саду надъ заливомъ пахуче-свѣжа
листва засыпающихъ вязовъ.

На утѣсахъ прибрежныхъ вершины видны
одинокое-развѣсистыхъ пиній.

Цвѣты олеандровъ воздушно-нѣжны,
какъ сказочный, розовый иней.

Все—во снѣ золотомъ. Отъ небесъ до земли
все зоветъ къ лучезарнымъ обманамъ.

Вдоль острова, съ юга плывутъ корабли,
уносятся къ сѣвернымъ странамъ.

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.



VALSE MASQUÉE.

I.

Серебристыя волны журчатъ и звенятъ.

Это—вальсъ! Это—вальсъ опьянительный!...

—Какъ блеститъ вашъ нарядъ. Но задумчивый
взглядъ,

Отчего онъ тревожно-мучительный?

Отчего вы тѣмъ взглядомъ въ меня такъ впились,
Что становится мнѣ неувѣренно?..

Серебристыя волны звеня разлились.—

Это—вальсъ перепѣвно-размѣренный.

Что ты здѣсь все скользишь, наблюдательный
макъ,

И глядишь, и блистишь діадемою?

О, блистательный макъ, я сегодня твой врагъ,

Я журчащей плѣненъ хризантемою,

А еще меня тянетъ въ шуршашій камышъ.

Поплескаться вотъ съ тѣми наядами.

Ты ревниво дрожишь, горделиво молчишь

И грозишь оскорбленными взглядами...

—Подымите платокъ. Вы сегодня мой пажъ.

Нѣтъ, не надо, мой милый, единственный.

Этотъ вечеръ—онъ нашъ! О, неправда ль, онъ
нашъ,

Этотъ вечеръ желанно—таинственный.

Мы уйдемъ вѣдь потомъ? Мы пойдемъ въ этотъ
садъ,

Помнишь, въ садъ съ вырѣзными перилами,

Гдѣ, какъ шепчущій взглядъ, тихо звѣзды дрожатъ

За дубами старинно-унылыми.

—О, конечно, пойдемъ. Но упорной не будь.

Вѣдь нельзя отстранить неизбежное.

О, такъ дай же прильнуть мнѣ на дѣвичью грудь,

Мнѣ покорною будь, моя нѣжная.

Неразрывнѣй всѣхъ узъ станетъ въ мигъ нашъ
союзъ,

Серебристыя нити завяжутся...
Но зачѣмъ ты дрожишь, говоришь—я боюсь?
Не такъ страшно все это, какъ кажется.

Шелестять и скользять. Какъ красивъ ихъ нарядъ.
Кто въ плащѣ тамъ, картинно закутанный?
Паутинные волосы блѣдныхъ наядъ
Шаловливыми пальцами спутаны.
Опьяняющій взглядъ. Обжигающій взглядъ.
Ахъ, кружиться такъ сладко-томительно.
Серебристыя волны журчатъ, говорятъ.
Это—вальсъ! Это—вальсъ опьянительный.

II.

—„Предлагаютъ вамъ выборъ и трудный,
Предлагаютъ вамъ выборъ цвѣты“...
—Вьется вальсъ уповательно-чудный,
Вальсъ торжественно-яркой мечты.—

„Счастье страсти тревожной и душевной
Или счастье робкихъ надеждъ?“
И скользнуло вдругъ что-то воздушно
Изъ-подъ строго-опущенныхъ вѣждъ.

—„О, сіятельный макъ, вы коварны.
Но не труденъ, не труденъ отвѣтъ.
Счастье первыхъ надеждъ лучезарно,
Лучезарнѣе счастья нѣтъ.

„Но желанный мнѣ бредъ и безумье,
Зажигающій ярко сердца.—
Страсть, пьянящая страсть безъ раздумья,
Безъ конца“.

Льется вальсъ уповательно-вольно,
Льется вальсъ уповательно-юнь.
Звукамъ биться и сладко, и больно
Межъ задѣтыхъ, взволнованныхъ струнь.

Звукамъ виться просторно, просторно,
Проскользая межъ люстръ и цвѣтовъ,
Принимая къ волнъ разговорной
Недосказанно-шепчущихъ словъ.

ВИКТОРЪ ГОФМАНЪ.

Въ плавняхъ.

СОНЕТЪ.

Тамъ, на припекѣ, спятъ рыбацкіе ковши;
Тамъ низко надъ водой склоняются кистями
Темнозеленые густые камыши;
Полдневный вѣтерокъ змѣистыми струями

Порой зашелеститъ въ ихъ потайной глуши,
Да чайка вдругъ блеснетъ, какъ серебромъ, крылами
Съ плаксивымъ возгласомъ тоскующей души—
И снова плавни спятъ, сіяя зеркалами.

Надъ тонкимъ ихъ стекломъ, гдѣ тонетъ небосводъ,
Нерѣдко облако восходитъ и глядится
Блещающимъ столбомъ въ зеркальный сонъ бо-
лотъ—

И какъ свѣтло тогда въ бездонной чашѣ водъ!
Какъ дѣтски вѣрится, что въ безднѣ ихъ таится
Какой-то дивный міръ, что только въ дѣтствѣ
снится!

ИВАНЪ БУНИНЪ.



* * *

Низко-низко къ земли клонится
На обмежкѣ рожь.
Море-золото червонится,
Въ морѣ-ржи плывешь.

И душа, какъ парусъ, кренится,
Вольный пьетъ просторъ.
Небо въ бѣлыхъ тучкахъ пѣнится.
Захмелѣлъ мой взоръ!

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.





Хлѣбъ, люди и земля.

Среди полей станція: красный домъ изъ кирпича, рядомъ водокачка. Мимо станціи желѣзный путь; разѣзды, фонари, склады, вагоны. Поѣздовъ за сутки мало—дорога новая—но они основательны: ѣдутъ тихо, много пыhtятъ, долго стоятъ на полустанкахъ; въ пути дѣйствуютъ слабо: подъ уклонъ безнадежно летятъ, на взгорки взбираются съ трудомъ. Само полотно жидко, но поѣзда очень тяжелы; вагоны полны мукой, иногда тамъ топчутъ лошади, или видна бѣлая пыль камня. Эти угрюмые товарные приходятъ ночью; въ темнотѣ издалика видны желтые огни и что-то гудитъ по желѣзнымъ полоскамъ. Очень скучно и неприятно выходить къ поѣзду. „Начальникъ“ спитъ, вмѣсто него юноша, онъ тоже въ красной фуражкѣ, но на ней меньше кантовъ.

Подъ паровозомъ бѣжитъ свѣтъ, станція подрагиваетъ и рельсы гнутся въ скрѣпахъ, когда проползаютъ вагоны,—одинъ за другимъ, сырые, съ надписями мѣломъ. Они только что пришли изъ необычайной тьмы, вокругъ нихъ очень долго вылъ вѣтеръ, и скоро они опять уйдутъ въ этотъ холодъ

и слякоть; скучно смотрѣть на нихъ, лучше вернуться во второй этажъ станціи, лечь въ постель и заснуть горячимъ сномъ. Но жаль, надо что-то писать, что-то считать и выдавать кондукторамъ разныя бумажонки, которыя никому не нужны. Потому что-то будутъ отмѣчать на вагонахъ, стучать снизу молоточкомъ, ругаться: поѣздъ будетъ дергаться впередъ, назадъ, какъ будто бы безцѣльно, но въ концѣ концовъ всѣ эти машинисты, кондуктора, черныя смазчики съ фонарями, отцѣпять таки изъ середины два вагона съ мукой и поставятъ у навѣсовъ.

Все сдѣлали, но все же стоятъ; помощникъ спать, телеграфъ постучалъ сколько нужно и успокоился,—пора бы и ѣхать; дернули, разъ-другой, двинулись; ползутъ, ѣдутъ. Передъ станціей пусто, вѣтру теперь свободнѣе летѣть въ лобъ на платформу. Влѣво вдаль ушла тяжелая змѣя, набитая хлѣбомъ, съ красноглазымъ хвостомъ.

До разсвѣта станція спитъ; съ ней говорятъ только вѣтры, что кружатъ надъ вихрастыми деревушками вокругъ, надъ усадьбами, помѣщиками, мужицкими церквами. Въ трактирѣ у Гаврилыча, тутъ же вблизи, жуютъ сѣно лошади, а постояльцы смрадно спятъ, клочоча горломъ.

Иногда надъ горизонтомъ подымается пламя,—пожаръ: мужики ли жгутъ помѣщика, самъ ли помѣщикъ горитъ, или сами мужики? Пламя часъ и два и больше бьетъ вверхъ, но никто не слышитъ. Всѣ щели, бугры и косогоры земли полны сна; ниоткуда не выгонишь ни лошади, ни человѣка; десятками верстъ идутъ поля, отъемыя лѣсовъ, зеленыя. Деревенскій міръ разлегся широко—и молчитъ въ ночной часъ.

Но свѣтлѣетъ на востокѣ, начинается жизнь. Черезъ овраги и „вершины“, гдѣ еще сумеречно и клочьями осталась ночь, со всѣхъ сторонъ ползутъ мужики; кто за чѣмъ. Выѣзжаютъ къ утреннему поѣзду, приходятъ за письмами съ войны, узнать, что и какъ гдѣ; скоро ли „тронуть“ уѣздъ. Везутъ отъ помѣщиковъ хлѣбъ, молоко, и на дальнихъ

платформахъ идетъ суета. Платформы испачканы бѣлыми мучными пятнами; люди тоже въ мукѣ: тутъ же телѣги съ мѣшками; и кули все таскаютъ, таскаютъ на людскихъ спинахъ, въ товарные вагоны.

Мужиковъ набивается больше, полъ-платформы подъ ними; они стоятъ коричневые, въ армякахъ и полубубкахъ, сплошной стѣной; многіе съ кнутами; у трактира масса ихъ кривоногихъ лошадекокъ, похожихъ на репейникъ, въ нелѣпыхъ упряжкахъ.

Поѣздъ всегда опаздываетъ; онъ называется пассажирскій, хотя для людей въ немъ всего три-четыре вагона, остальные товарные, для скотовъ и груза. Подходятъ вагоны; въ нихъ душно, кисло: сзади ночь нечистаго дышанья, грязной одежды, икоты, сопѣнья. Ёдутъ тоже мужики, а во второмъ классѣ подрядчики, трактирщики и люди въ поддевахъ, съ золотыми кольцами на рукахъ. Вотъ толстый человекъ съ чемоданчикомъ; широко разставляетъ ноги, подошвы у него громадныя, лицо въ волосахъ; усы могучи, маленькіе желтые глазки спокойны и сонны, какъ у медвѣдя-муравьятника. Вѣроятно, медвѣжьи, ровныя мысли ворочаются въ шерстистой головѣ, желудокъ за обѣдомъвбираетъ фунты тяжелой пищи, днемъ полагается жаркій сонъ. Незвѣстно, не двинетъ ли онъ со станціи прямо на четверенькахъ куда-нибудь къ себѣ въ берлогу, въ глухомъ барсучьемъ оврагѣ.

Мужики набрасываются—кого вести? Куда? Столько-то. Машутъ кнутами, отъ вѣтра шлепаютъ на нихъ воротники армяковъ; фуражка „помощника“ плыветъ здѣсь и тамъ краснымъ пятномъ. Сзади кирпичная новостроенная станція съ большими окнами, и водокачка.

Передъ праздниками поѣздъ набить своими же, кто работаетъ въ городѣ: тогда на платформѣ много бабъ; встрѣчаютъ, цѣлуются и парами бредутъ въ ближнія деревушки; это значитъ, будетъ днемъ гульба, будутъ бѣгать къ Гаврилычу за водкой, пѣть пѣсни, нехитро острить, галдѣть, любить и ругаться, а вечеромъ у того же Гаврилыча грам-

мофонъ: люди закоптѣлыхъ хибарокъ слушаютъ смѣшной, важный хрипъ, оперу, Собинова. На улицѣ пахнетъ канифасами и кумачами, бродятъ полупьяные гости въ городскихъ курткахъ и новыхъ калошахъ, а лохматое, мшистое дѣды слушаетъ съ заваленокъ. Семидесятилѣтніе дѣды помнятъ, когда не было еще ни станціи, ни жиденькихъ рельсъ, ни граммофона, ни Гаврилыча. Но ихъ лица въ складкахъ сплошь заросли мочалой, сѣро-рыжими космами; они похоже на сухіе грибы, что растутъ на истлѣвшихъ деревьяхъ; глаза у нихъ слезящіеся и усталые, а сзади, за горбомъ, длинная жизнь, въ хижинахъ, которая прохватываетъ насквозь вѣтеръ, съ плетневыми навѣсами, курами, метелями, и полами.

Справа и слѣва, по обѣимъ сторонамъ полотна, вдали и вблизи разсѣлись эти люди тѣсными селами, гнѣздами изъ нетолстаго лѣсу и соломы; узенькіе проселки сѣтью связываютъ ихъ другъ съ другомъ,—зимой и лѣтомъ,—а весной большая вода бываетъ по оврагамъ; земля веселится и играетъ своими силами. Тогда ѣздить надѣо вплавь, и то, кто не боится.

Но желѣзнодорожныхъ это не касается: ихъ поѣзда, въ бурныя ночи, весной, такъ же тащутъ черезъ мужицкія поля вагоны съ хлѣбомъ; все хлѣбъ и хлѣбъ, съ юга на сѣверъ. Грузные поѣзда ползутъ среди простора, мимо людей и деревень; грохочутъ на мостахъ, блещутъ фонарями; пускаютъ искры изъ паровозовъ, и одинъ за другимъ катятъ дальше впередъ, на сѣверъ.

А когда праздники кончаются, тѣ же бабы идутъ провожать мужей, братьевъ въ городъ, и тогда опять вся платформа полна деревней.

Нишій, старикъ, бродитъ и проситъ. Снимаетъ шапку съ лысой головы, бормочетъ, наполовину напѣваетъ что-то давнее, всероссийское. Въ немъ длинныя дороги, размокшія избенки, многолѣтняя жизнь. Онъ толчется у буфета, смотреть на селедку и грязныя рюмки, ломтики ситнаго; за спиной у него холщевый мѣшокъ; оттуда пахнетъ хлѣбомъ—

деревенскимъ, бабьимъ, какъ и палка его здѣшняя, обмозоленная грубой рукой.

Бабы сморкаются, кой-гдѣ плачутъ, подаютъ старичку. Вдругъ колокольчики у подъѣзда: баринъ. Тащутъ за нимъ чемоданы, плэды; помощникъ дѣлаетъ подъ козырекъ, самъ „начальникъ“ пробирается въ первый классъ, занимать разговорами.

Мужики тоже много говорятъ; ихъ разговоры угрюмы; лѣтомъ отдавали лошадей, теперь подходить къ людямъ: сосѣдній уѣздъ двинули уже; все чаще, чаще проходятъ поѣзда съ людьми въ товарныхъ вагонахъ, съ сѣвера на югъ и востокъ. Шинели выглядываютъ изъ полураздвинутыхъ дверецъ. Сидятъ на деревянныхъ лавочкахъ, временами хочутъ, хлебаютъ что-то, острятъ, орутъ пѣсни. На платформѣ на нихъ часто смотрятъ мужики въ армякахъ, подпаски съ кнутами, дѣвки; хмурый коричневый народъ молчаливо провожаетъ ихъ, и бабы кой-гдѣ всхлипываютъ. А поѣздъ съ чловѣчьимъ тѣломъ недолго застываетъ на станціи, ему нужно дальше, надо дать мѣсто слѣдующему— тотъ тоже съ солдатами и солдатами.

Со станціи люди бредутъ въ разныя стороны, бороздя лицо праматери, думая грузныя думы; и потомъ, взворачивая сохами ея пласты для свѣтлыхъ яровыхъ хлѣбовъ, они такъ же серьезны и важны, точно тысячеверстные просторы передали имъ свою силу. Упорные и спокойные, они затемняютъ на поляхъ правильные куски,—четыреугольные, узкіе и квадратные, точно ломти чернѣйшаго хлѣба. Сзади ходятъ грачи, неизвѣстно откуда взявшіеся, дѣти и внуки тѣхъ, что бродили за отцами пахарей; какъ будто они знаютъ другъ друга, чловѣкъ не пугаетъ птицу, а она выбираетъ изъ земли червей, ненужную дрянъ,—благословляетъ его работу полетомъ черныхъ крыльевъ.

Изъ деревень дѣвки вывозятъ на поле навозъ въ колымажкахъ; лошади идутъ шагомъ, какъ жуки; навозъ дымится въ весеннемъ воздухѣ, точно горячее кушанье, дѣвки съ измазанными ногами шагаютъ рядомъ; разложивъ его кучками по полю,

скачутъ назадъ, стоя въ двуколкахъ, какъ въ бое-выхъ колесницахъ. И рядомъ съ той землей, гдѣ пашутъ и раскладываютъ золотисто-коричневый навозъ, вылѣзли ужъ полосы зеленей; они ждуть тепла, чтобы наливаться, зрѣть, передвигаться въ деревни; тамъ они застрянутъ частью, подтапливая мужицкія тѣла, потомъ пойдутъ дальше, въ хлѣбо-торговый городъ неподалеку, и въ красныхъ вагонахъ медленно будутъ пробѣгать среди родныхъ полей, мимо знакомыхъ „верховъ“ и широко-раздольныхъ рѣчекъ.

Но уже мало одного хлѣба; уже нужно на замѣну сѣдненныхъ гдѣ-то человѣчьихъ тѣлъ, которыя везутъ все по той же дорогѣ,—новыя. Опять отвѣчаетъ земля, и по разнымъ поселкахъ ползутъ подводы „въ уѣздъ“, „въ управу“—въ неизвѣстное и темное мѣсто, гдѣ сортируютъ людей, обучаютъ ходить, стрѣлять и убивать.

Мракъ и тьма стоятъ надъ землей. Станція работаетъ правильно, день за днемъ. Больше и больше проходитъ поѣздовъ съ солдатами, часто изъ-за нихъ приходится задерживать помѣщицье молоко или встрѣчный хлѣбъ. Товарныя платформы заставлены вагонами съ мукой, но остановить токъ людей нельзя. И не разъ теперь изъ вагоновъ выглядываютъ свои же, бородатыя лица въ темныхъ шинеляхъ, а на платформѣ бабій міръ избываетъ свое горе и опять расходится по селамъ, разноситъ по домамъ скорбь.

Поѣзда же въ назначенное и не назначенное время, съ полупьяными людьми, дикими пѣснями, иногда тяжелыми драками запасныхъ—уходятъ въ черноту ночи, выставляя сзади красный фонарь. Въ вагонахъ мужики-солдаты скоро засыпаютъ. Тогда они совсѣмъ похожи на кули съ мукой, что везутъ имъ навстрѣчу. Въ бурномъ полѣ идутъ поѣзда; вѣтеръ хмуро играетъ придорожными рощами, носится надъ полями, отпѣвая черную русскую деревню. На глухихъ полустанкахъ и разъѣздахъ ждуть встрѣчные съ хлѣбомъ; обмѣниваются гудками и каждый идетъ въ свою сторону. Опять погружаются

въ ночь; опять отклики далей, гигантской, патлатой
земли съ уродливыми деревушками и запахомъ пе-
ченaго хлѣба. Великая страна опоясываетъ же-
лѣзный путь съ обѣихъ сторонъ; миллионы людей и
десятины вокругъ, тысячи сель.

На телеграфныхъ столбахъ гудятъ проволоки;
поезда бѣгутъ, семафоры зеленѣютъ, вычерчивая
полудуги. Дорога работаетъ безостановочно.

БОР, ЗАЙЦЕВЪ.



Жизнь.

Набѣгаетъ впотѣмахъ
И узорною пѣною свѣтится
И лазурнымъ сіяніемъ рѣетъ у скалъ на пескѣ...
О, божественный отблескъ таинственной жизни,
мерцающей

Въ мириадахъ незримыхъ существъ!

Ночь была бы темна,
Но все море насыщено тонкою
Пылью свѣта, и звѣзды надъ моремъ горятъ.
Въ полусвѣтѣ все видно: и рифы, и взморье зер-
кальное,

И обрывы прибрежныхъ холмовъ.

Въ полусвѣтѣ ночномъ
Подъ обрывами волны качаются—
Переполено зыбкое звѣздное зеркало волнъ!
Но, колеблясь упруго, лишь изрѣдка складки тяже-
лая

Набѣгаютъ на влажный песокъ.

И тогда, фосфорясь,
Загораясь мистическимъ пламенемъ,
Разсыпаясь на гравій мирыадами блѣдныхъ огней

Море свѣтитъ сквозь сумракъ таинственно, тонко
и трепетно,

Озаряя песчаное дно.

И тогда вся душа

У меня загорается радостью:

Я въ пригоршни ловлю закипѣвшую пѣну волны,

И сквозь пальцы течетъ не вода, а сапфиры,—
несмѣтныя

Искры синяго пламени,—Жизнь.

О, божественный свѣтъ!

О, великое зеркало водное!

Переполнено ты,—переполнена жизнью Земля.

Все мгновенно, все—искры, но искры Единого, Вѣч-
наго.

И во всемъ—Красота, Красота!

ИВАНЪ БУНИНЪ.



* * *

Впилась коса отточеннымъ клинкомъ

Въ открытую, нагую грудь лимана...

Лазурнымъ облако сплелось вѣнкомъ

Надъ кроной кипариса-великана...

Идутъ тяжелымъ шагомъ рыбаки

Изъ волнъ поднять добычливья сѣти;

И если часкъ взлеты тамъ легки—

Внимаетъ сердце радостной примѣтъ:

Заблещетъ дрожь серебряныхъ чешуй

Межъ черныхъ ромбовъ вытянутой сѣти,

И будутъ рыбаки,—рабы невѣрныхъ струй,—

Взволнованы и радостны, какъ дѣти.

DIURNE.





ШАРЛЬ-ПЬЕРЪ БОДЛЕРЪ.

БЛАГОСЛОВЕНІЕ.

изъ ш. БОДЛЕРА.

Когда Поэтъ, по волѣ провидѣнья,
Явился въ міръ,—испуганная мать,
Сжавъ кулаки, полна богохуленья,
Дитя и небо стала проklinать:
„Ахъ, лучше бъ комъ до омерзѣнья гадкихъ
Живыхъ ехиднъ на свѣтъ я родила!
Тотъ проклять часъ, та ночь восторговъ краткихъ,
Когда позоръ я мужу зачала!
Но если Богъ посмѣшищемъ народа
Меня одну избралъ изъ матерей,
И не могу я гнуснаго уroda
Швырнуть въ огонь украдкой отъ людей,—
О, я отмщу за муки униженья!
Я гнѣвъ небесъ на даръ ихъ перелю:
Я такъ скручу несчастное растение,
Что почки всѣ въ зародышъ убью!“
Такъ, день и ночь питаться желчью рада,

Не въ силахъ цѣль предвѣчную понять,
Уже впередъ готовить въ нѣдрахъ ада
Себѣ костеръ озлобленная мать.
Но сирота, подѣ тайною охраной
Самихъ небесъ, несетъ свой тяжкій крестъ:
Во всемъ, что пьетъ, онъ нектаръ пьетъ румяный,
Во всемъ, что ѣстъ, абросію онъ ѣстъ.
Съ пролетной тучкой весело болтаетъ,
Играетъ съ вѣтромъ, съ птичкой полевой
И съ ней поетъ... И съ грустью наблюдаетъ
Хранитель-ангелъ смѣхъ его живой!
Онъ весь—любовь... Но холодъ подозрѣнья
Идетъ за нимъ: за то, что кротокъ онъ,
Ему дарятъ обиды и гоненья,—
Такъ любо всѣмъ его послушать стонъ!
Въ его вино и хлѣбъ его мѣшаютъ
Плевки съ золой; и все, чего рукой
Коснется онъ, брезгливо отвергаютъ,—
Его слѣды обходятъ стороной.

.....
Его жена на площадяхъ публичныхъ
Не устаетъ хвастливо говорить:
„Онъ дышетъ мной! Я идоловъ античныхъ
Хочу собой для міра воскресить!
Вся въ золото одѣнусь; благовонный
Заставлю народъ мнѣ жечь и еиміамъ;
Въ его душѣ колѣнопреклоненной,
Какъ божеству, себѣ воздвигну храмъ.
А, утомясь кошунственной забавой,
Я коготь свой безумцу покажу
И, въ грудь вонзивъ, со смѣхомъ путь кровавый,
Какъ гарпія, до сердца проложу.
И это сердце розовое выну,
Какъ изъ гнѣзда дрожащаго птенца,
И на обѣдъ любимой кошкѣ кину
И трепетомъ упыюсь его конца“.

Въ ночной тиши Поэтъ благочестивый
Лучистый взоръ возводитъ къ небесамъ,
И свѣтъ горитъ въ его душѣ правдивой,
Прощенья свѣтъ неистовымъ врагамъ:

— „Благословенъ Дающій намъ страданья,
 Въ пустынь зла источникъ водъ живыхъ!
 Какъ сталъ въ огнѣ, въ горнилѣ испытанья
 Нашъ крѣпнетъ духъ для радостей святыхъ.
 Я знаю: тамъ, гдѣ Ты царишь, блистая,
 Есть уголокъ и для моихъ скорбей,
 И позовешь меня Ты въ кущи рая
 На праздникъ Силь, Престоловъ и Властей.
 Онъ правъ, Твой судъ! Даетъ вѣнецъ нетлѣнный
 Лишь путь креста, мученій и тревогъ,
 И дань нужна со всѣхъ міровъ вселенной,
 Чтобъ мой сплести мистическій вѣнокъ!
 Забытый блескъ прославленной Пальмиры,
 Богатства горъ и глубины морей,
 Всѣ перла ихъ, алмазы и сапфиры—
 Потонуть въ мигъ въ огнѣ его лучей!
 Онъ будетъ свить не смертными руками
 Изъ чистыхъ струй нездѣшняго огня,
 Того огня, передъ которымъ пламя
 Людскихъ очей—лампада въ блескѣ дня!

П. Я.



МАЛЕНЬКІЯ СТАРУШКИ. —

изъ Ш. БОДЛЕРА.

I.

Въ изгибахъ сумрачныхъ старинныхъ городовъ,
 Гдѣ самый ужасъ, все полно очарованья,
 Часами цѣлыми подстергать готовъ
 Я эти странныя, но милыя созданья!

Уродцы слабые со сгорбленной спиной
 И сморщеннымъ лицомъ, когда-то Эпонинамъ,

Лаисамъ и онѣ равнялись красотой...
Полюбимъ ихъ теперѣ! Подъ ветхимъ кринолиномъ

И рваной юбкой отъ холода дрожа,
На каждый экипажъ косясь пугливымъ взоромъ,
Ползуть онѣ, въ рукахъ заботливо держа
Завѣтный ридикюль съ поблекнувшимъ узоромъ.

Неровною рысцей безпомощно трусять,
Подобно раненымъ волочатся животнымъ;
Какъ куклы съ фокусомъ, прохожаго смѣшать,
Выдѣлывая па движеніемъ безотчетнымъ..

Межъ тѣмъ, глаза у нихъ буравчиковъ острѣй—
Какъ въ ночи лунныя съ водою ямы, свѣтять:
Прелестныя глаза неопытныхъ дѣтей,
Смѣющихся всему, что яркаго замѣтять!

Васъ поражалъ размѣръ и схожій видъ гробовъ
Старушекъ и дѣтей? Какъ много благородства,
Какую тонкую къ изящному любовь
Художникъ мрачный—Смерть вложила въ это
сходство!

Наткнувшись иногда на немощный фантомъ,
Плещущійся въ толпѣ по набережной Сены,
Невольно каждый разъ я думаю о томъ—
Какъ эти хрупкіе, разстроенные члены

Сумѣтъ гробовщикъ въ свой ящикъ уложить...
И часто мнится мнѣ, что это еле-еле
Живое существо, наскучившее жить,
Бредеть, не торопясь, къ вторичной колыбели...

Рѣкой горючихъ слезъ, потокомъ безъ конца
Прорыты вашихъ глазъ бездонныя колодцы,
И прелесть тайную, о милые уроды,
Находимъ въ нихъ бѣдой вскормленные сердца!

II.

Но я... Я въ нихъ влюбленъ!—Мнѣ васъ до боли
жалко,
Садовъ ли Тиволи вы легкой мотылекъ,

Фраскати ль старого влюбленная весталка,
Иль жрица Талии, чье имя зналъ раекъ.

Ахъ! многія изъ васъ, на днѣ самой печали
Умѣя находить благоуханный медъ,
На крыльяхъ подвига, какъ боги, достигали
Смиренною душой заоблачныхъ высотъ!

Однѣхъ родимый край повергъ въ пучину горя,
Другихъ свирѣпый мужъ скорбями удручилъ,
А третьимъ сердце сынъ-чудовище разбилъ,—
И слезы всѣхъ, увы, составили бы море!

III.

Какъ наблюдать любилъ я за одной изъ васъ!
Въ часы, когда заря вечерняя алѣла
На небѣ, точно кровь изъ ранъ живыхъ сочась,—
Въ укромномъ уголку она одна сидѣла.

И чутко слушала богатый мѣдью громъ
Военной музыки, который наполняетъ
По вечерамъ сады и боевымъ огнемъ
Уснувшія сердца согражданъ зажигаетъ.

Она еще пряма, бодра на видъ была
И жадно пѣснь войны суровую вдыхала:
Глазъ расширился вдругъ порой, какъ у орла,
Чело изъ мрамора, казалось, лавровъ ждало...

IV.

Такъ вы проходите черезъ хабсъ столицъ
Безъ слова жалобы на гнетъ судьбы неправой,
Толпой забытою святыхъ или блудницъ,
Которыхъ имена когда-то были славой!

Теперь въ людской толпѣ никто не узнаетъ
Въ васъ грацій старины, терявшихъ счетъ побѣдамъ;
Прохожій пьяница къ вамъ съ лаской пристаetъ
Насмѣшливой, гаме́нь за вами скачетъ слѣдомъ.

Стыдясь самихъ себя, вы бродите вдоль стѣнъ,
Пугливы, скорчены, блѣдны, какъ привидѣнья,
Еще при жизни—прахъ, полуостывшій тлѣнь,
Давно созрѣвшій ужъ для вѣчнаго нетлѣнья!

Но я, мечтатель,—я, привыкшій каждый вашъ
Невѣрный шагъ слѣдить тревожными очами,
Невѣдомый вамъ другъ и добровольный стражъ,—
Я, какъ отецъ дѣтми, тайкомъ люблюсь вами...

Я вижу вновь развѣтъ погибшихъ вашихъ дней,
Неопытныхъ страстей неясныя волненья;
Черезъ вашу чистоту самъ становлюсь свѣтлѣй,
Прощаю и люблю всѣ ваши заблужденья!

Развалины! Мой міръ! Свое прости вамъ вслѣдъ
Торжественно я шлю при каждомъ разставаньи.
О, Евы бѣдныя восьмидесяти лѣтъ,
Увидите ль зари вы завтрашней сіянье?...

П. Я.



* * *

изъ Ф. ГРЕГА.

Слишкомъ много я плакалъ! Печали мои
Мнѣ чужими—легкими стали.

На призывъ ихъ былой, полный тайнъ и любви,
На ихъ шопотъ изъ мрака печали

Не откликнусь я сердцемъ; нѣтъ въ сердцѣ
любви,

Нѣтъ въ глазахъ моихъ слезъ для печали.

Еле помнятся мнѣ,—смутно помнить душа
Тѣ печали, тѣ страстныя рѣчи,—
Словно давнія, давнія встрѣчи!

Я любилъ ихъ, быть можетъ, волненьемъ дыша;
Но теперь я не жду ихъ; закрылась душа;
Чужды ей эти позднія рѣчи...

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.





Поль Верленъ.

* * *

изъ П. ВЕРЛЕНА.

Бѣлая луна
Сѣтъ сѣтъ надъ лѣсомъ.
Звонкая слышна
Подъ его навѣсомъ
Пѣсня соловья...

Милая моя!

Вѣтеръ тихо плачетъ
Въ вѣткахъ надъ рѣкой,
А внизу маячитъ,
Отраженъ водой,
Темный стволъ березы...

Вспомнимъ наши грезы.

Сходить къ намъ покой
Нѣжный, безконечный
Съ тверди голубой,
Гдѣ сіяетъ вѣчный,
Тихій звѣздный строй...

Въ этотъ часъ ночной.

Вѣдоръ сологубъ.

СЕРЕНАДА.

изъ П. ВЕРЛЕМА.

То не голосъ трупа изъ могилы темной,—

Я передъ тобой.

Слушай, какъ восходить въ твой пріютъ укромный

Голосъ рѣзкій мой.

Слушай, мандолинѣ душу открывая,

Какъ звенить струна:

Про тебя та пѣсня, лъстивая и злая,

Мною сложена.

Я спою про очи: блескъ ихъ переливный—

Золото, ониксъ.

Я спою про Лету грудей, и про дивный

Темныхъ кудрей Стиксъ.

То не голосъ трупа изъ могилы темной,—

Я передъ тобой.

Слушай, какъ восходить въ твой пріютъ укромный

Голосъ рѣзкій мой.

Тѣло молодое, какъ и подобаешь,

Много восхваляю:

Вспомнивъ, какъ роскошно плоть благоухаетъ,

Я ночей не сплю.

И, кончая пѣсню, воспою лобзанья

Этихъ алыхъ губъ.

И твою улыбку на мои страданья,

Ангель! душегубъ!

Слушай, мандолинѣ душу открывая,

Какъ звенить струна:

Про тебя та пѣсня, лъстивая и злая,

Мною сложена.

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.



L' ART POÉTIQUE.

изъ П. ВЕРЛЕНА.

Музыки, музыки прежде всего!
Ритмъ полюби въ ней,—но свой, непослушный,
Странно-живой и неясно-воздушный,
Все отряхнувший, что грубо, мертво!

Въ выборѣ словъ будь разборчивымъ строго!
Даже изысканнымъ будь иногда:
Лучшая пѣсня—въ оттѣнкахъ всегда!
Въ ней, сквозь туманность, и тонкости много.

Словно блеснить чей-то взоръ сквозь вуаль,
Солнце въ полуденной дымкѣ трепещеть,
Звѣздочка искрой голубенькой блещетъ
Въ небѣ осеннемъ, гдѣ стынетъ печаль...

Намъ вѣдь оттѣнки нужны! краски грубы,
Красокъ не нужно, оттѣнки лови!
Въ нихъ лишь сплетаются, въ чуткой любви,
Грезы и призраки, флейты и трубы...

Дальше бѣги отъ ироніи злой;
Прочь и разсудокъ, сухой и бравурный,—
Все, что печалить взоръ Неба лазурный,
Всѣ эти пряности кухни дрянной!

И краснорѣчье: сверни ему шею!
Все, что фальшиво и вяло, гони!
Риему—себѣ и уму подчини;
Да не зѣвай, не запутайся съ нею!

О, эта риема! съ ней тысяча мукъ!
Кто насъ плѣнилъ побрякушкой грошовой?
Мальчикъ безухій? дикарь безтолковый?
Вѣчно „подпилка“ въ ней слышится звукъ!

Музыки, музыки вѣчно и вновь!
Пусть будетъ стихъ твой—мечтой окрыленной,
Пусть онъ изъ сердца стремится, влюбленный,
Къ новому небу, гдѣ снова—Любовь!

Пусть, какъ удача, какъ смѣлая греза,
Вьется онъ вольно, шала съ вѣтеркомъ,
Съ мятой душистой въ вѣнкѣ полевомъ...
Все остальное—чернида и проза!

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



* * *

ИЗЪ П. ВЕРЛЕНА.

За окномъ, словно въ рамкѣ картины,
Убѣгають холмы и равнины,
Мчатся рѣки, поля и лѣса
И лазури небесъ полоса...
Все кружится, гремитъ, исчезаетъ,
Въ шумномъ вихрѣ назадъ улетаетъ;

Словно росчеркъ мудреный въ окнѣ,
Телеграфъ извился въ сторонѣ...
Запахъ угля, пары водяные;
Потрясая оковы стальные,
Гдѣ-то сонмъ великановъ гремитъ,
Гдѣ-то филинъ зловѣще свиститъ!..

Но спокоенъ я въ это мгновенье,—
Предо мной тихо рѣетъ видѣнье,
Слышу шопотъ я ласковыхъ словъ,
Снова полонъ я радужныхъ сновъ...
Пусть же мимо вихрь бурный несется,
Сердце радостью тихою бьется!

ЗАЛИСЬ.





Звуки и шумы.

ПЕТЕРА АЛЬТЕНБЕРГА.

Шумять по-своему старья яблони и совсѣмъ по-иному скрипятъ верхушками ели. По-своему шепчуть колосья полей. По-своему гудить чаша ивняка. По-своему шелестять заливные луга. По-своему шуршать опадающіе съ кустовъ лепестки розъ въ саду. По-своему звонко колышутся березы. По-своему кричить подстрѣленный заяцъ. По-своему стонетъ молодая сова надъ лѣсной опушкой. По-своему кряхтитъ воронъ. По-своему заливается канарейка въ плѣну. По-своему лаетъ заблудившаяся собака. По-своему неслышно дышитъ крошка въ колыбелькѣ. Все различно, своеобразно, только очень немногіе умѣютъ различать звуки.

Бетховенъ, ты прислушивался къ самой, самой потаенной глубинѣ души своей и слышалъ тамъ, глухой, звуки и шумы всей вселенной: концертъ бури и концертъ тишины, концертъ рыданій и кон-

цертъ пошлаго смѣха. И отражалъ все это такъ же просто и естественно, какъ стѣны горъ отражаютъ эхо... Такъ создавалась міровая музыка!

* * *

Воскреснымъ вечеромъ я повезъ прелестную молоденькую бонну покататься на лодкѣ по заливу. Весла пѣли въ водѣ. Дѣвушка сказала:

— Дѣти такія милыя, хозяйка такая милая, я гуляю, катаюсь...

Весла пѣли, пѣли въ водѣ и умоляли близъ ивоваго берега и не слышно было больше ихъ пѣсни цѣлые часы... Затѣмъ они снова запѣли и не смолкали до самаго сада того дома, въ которомъ она служила. И она сказала:

— Я постою еще, послушаю, пока удары вашихъ веселъ затихнутъ въ ночной тишинѣ...

* * *

Зимою, въ три часа ночи, раздался трескъ мебели и я, тогда ребенокъ, лежалъ безъ сна въ смертельномъ страхѣ, въ холодномъ поту, пока забрезжилъ разсвѣтъ: вотъ подкрадывается кто-то... убьетъ меня... Мама, мама!

* * *

Я провалился на выпускномъ экзаменѣ—на аттестатъ зрѣлости—и приѣхалъ къ родителямъ въ деревню. Они ушли въ свою комнату и плакали. Съ лѣсной лужайки, съ эстрады для музыки доносились звуки увертюры изъ „Вильгельма Теля“, прерываемые шумомъ въ верхушкахъ елей. Гдѣ-то няня говорила ребенку: „Погоди-ка, гадкая дѣвчонка, я садовнику скажу“... Послышалось жужжанье—большая синяя муха влетѣла въ комнату, ударилась о бѣлый потолокъ. Родители плакали,—папа неслышно, а мама всхлипывала и сморкалась.

* * *

Утромъ въ деревнѣ совсѣмъ не даютъ покоя: пѣтухи, утки, гуси, лошади, коровы, свиньи. То

и дѣло громовымъ голосомъ отдаются приказанія. Точать косы. Никакого уваженія къ утреннему покою спящихъ!

* * *

Она толкнула во снѣ локтемъ японскую циновку, висящую на стѣнѣ надъ кроватью. Послышался глухой шелестъ. Я тихонько коснулся ея локтя и прошепталъ: „голубка моя“... Она сонно вздохнула. И снова все стихло.

* * *

Я слышалъ выстрѣлъ въ лѣсу на горѣ—умерла козуля. Я слышалъ выстрѣлъ въ саду— умерла орѣховка. Я слышалъ выстрѣлъ въ гостинницѣ— умерла молодая дѣвушка. Я думаю: „Услышишь ли ты свой собственный выстрѣлъ, направленный на себя?..“

* * *

Милая дѣвушка чистила зубы, мелодично поло-
скала ихъ „салоломъ“ и выплевывала, словно ма-
ленькій фонтанъ, струю изъ розоваго ротика въ
бѣлоснѣжный глубокой умывальникъ. Я сказалъ ей:

— Когда обманешь меня, пусть онъ будетъ
человѣкъ не музыкальный! Тогда онъ будетъ ли-
шенъ, по крайней мѣрѣ, счастья наслаждаться ме-
лодіей твоего полосканья при чисткѣ зубовъ.

ПЕР. Р. МАРКОВИЧЪ.



Сплинь.

изъ БОДЛЭРА.

(„Ouand le ciel bas et lourd...“)

Когда свинцовый сводъ давящимъ гнетомъ skleпа
На землю нагнететь, и намъ тянуть не въ мочь
Тягу постылую,—а день сочится слѣпо
Сквозь тьму сплошныхъ завѣсъ, мрачнѣй, чѣмъ
злая ночь;

И мы не на землѣ, а въ мокромъ подземельѣ,
Гдѣ—мышь летучая, осытенная мглой,—
Надежда мечется въ затворѣ душевой кельи
И ударяется о потолокъ гнилой;

Какъ прутья частые одной темничной клѣтки,
Дождь плотный сторожить невольниковъ тоски,
И въ помутившемся мозгу сплетаютъ сѣтки
По сумрачнымъ угламъ сѣдые пауки;

И вдругъ срывается вопль мѣди колокольной
Подобный жалобно взрыдавшимъ голосамъ,
Какъ будто сонмъ тѣней, бездомный и бездольный,
О мирѣ возропталъ упрямо къ небесамъ;

И дрогъ безъ пѣнія влачится вереница
Въ душѣ:—вотще тогда Надежда слезы лить,
Какъ знамя черное свое Тоска-царица
Надъ никнувшимъ челомъ побѣдно разовѣсть.

ВЯЧЕСЛАВЪ ИВАНОВЪ.



СОНЕТЪ.

изъ ст. МАЛЛАРМЕ.

Могучій, дѣвственный, въ красѣ извивныхъ линій
Безуміемъ крыла ужель не разорветъ
Онъ озеро мечты, гдѣ скрылъ узорный иней
Порывовъ скованныхъ прозрачно синій ледъ.

И лебедь прежнихъ дней, въ величьи гордой муки,
Онъ знаетъ, что ему не взвиться, не запѣть,
Не создалъ въ пѣснѣ онъ страны, чтобъ улетѣть,
Когда придетъ зима въ сіяньи бѣлой скуки.

Онъ шеей отряхнетъ смертельное безсилъе,
Которымъ вольнаго теперь неволить даль,
Но не кошмаръ земли, что приморозилъ крылья.

Онъ скованъ бѣлизной и блескомъ одѣянья
И стынетъ въ льдистыхъ снахъ ненужнаго изгнанья,
Окутанный въ надменную печаль.

МАКСИМИЛИАНЪ ВОЛОШИНЪ.



HARMONIE DU SOIR.

изъ БОДЛЕРА.

Маргаритъ.

Въ этотъ часъ всѣ мгновенья такъ нѣжно дрожать;
Дышитъ каждый цвѣтокъ на упругомъ стеблѣ;
Пряныхъ звуковъ гирлянды кружатъ въ полумглѣ...
О, задумчивый вальсъ, упоеній каскадъ!

Дышитъ каждый цвѣтокъ на упругомъ стеблѣ;
Тоннымъ стономъ души чьи-то струны звенятъ...
О, задумчивый вальсъ, упоеній каскадъ!
А лазурь съ грустной лаской склонилась къ землѣ.

Томнымъ стономъ души чьи-то струны звенять;
Сердце хочетъ святынь средь пустынь, что во мглѣ;
А лазурь съ грустной лаской склонилась къ землѣ;
Кровью солнца облить, остываетъ закатъ.

Сердце хочетъ святынь, средь пустынь, что во мглѣ,
Ловить каждый намекъ отблеставшихъ отрадъ,—
Кровью солнца облить, остываетъ закатъ...
Ты,—о ты!—для мечты—яркій крестъ на скалѣ!

А. КУРСИНСКИЙ.



* * *

ИЗЪ П. ВЕРЛЕНА.

Ясное небо надъ кровлей
Нѣжно блеснить, улыбается;
Тополь надъ низенькой кровлей
Дремлетъ, качается...

Въ нѣжной лазури такъ грустно
Звонъ колокольный колыхается;
Съ тополя—горлинки грустной
Тихая жалоба слышится.

Боже мой! Сколько покоя
Въ жизни простой, засыпающей!
Шепчетъ мнѣ, полный покоя,
Города шумъ замирающій:

„Что же ты сдѣлалъ, безумецъ,
Плачущій горько, украдкою,—
Что же ты сдѣлалъ, безумецъ,
Съ юностью краткою!“

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.





Анри де-Ренье.

Вѣнокъ.

изъ А. де-РЕНЬЕ.

Изнеможенный, поникнувъ головою,
Въ молчаньи сумерекъ, нетвердою стопою
Изъ жизни суетной идутъ мои Мечты.
Онѣ шли туда съ довърчивой зарею
И возвращаются теперь изъ темноты.
И тихо, по одной, подходятъ, избѣгая
Моихъ пытливыхъ глазъ, дрожа и отступая
Предъ взоромъ трепетнымъ—въ глубь вѣчной тем-
ноты.

Да, это все онѣ, мои Мечты бывшая,
Теперь усталая, поникшія, нѣмая,
Когда-то близкія! Еще въ моихъ ушахъ
Звучить ихъ радостный, поспѣшный, легкій шагъ,
Которымъ шли онѣ, спускаясь къ жизни дальней...
Что жъ совершили вы?

—Гдѣ твой бокаль хрустальный,
Мечта объ истинѣ! онѣ полонъ до краевъ?

—О, нѣтъ! твои уста горять, рука разжата,
И съ ѣдкой горечью неуголенныхъ сновъ,
Указываешь ты у ногъ твоихъ, безъ словъ,
Осколки хрустали!...—А ты, дитя! когда-то
Вся—жизнь, вся—яркій смѣхъ, гдѣ ты скиталась
днемъ?

Но ты шатаешься?! съ распушенной косою,
Въ одеждѣ праздничной, забрызганной виномъ,
Блѣдна, отяжелѣвъ,—ты ль это предо мною?
Прочь, ты, чужая мнѣ!—А ты, съ худымъ лицомъ,
Такимъ измученнымъ! зачѣмъ, въ порывѣ муки,
Къ груди таинственно ты прижимаешь руки?
Тамъ прячется змѣя—и ненависти ядъ
Тебѣ вливаетъ въ кровь!—А гдѣ же твой нарядъ,
Мечта величія? увы! въ твоей котомкѣ
Лохмотья пурпура и скипетра обломки!
—И ты, огнемъ страстей горѣвшая мечта!
Ты возвращаешься, ужалена въ уста,
Обезображена, покрыта грязью липкой,
Съ отчаяньемъ въ груди и съ мертвою улыбкой!

О, что вы сдѣлали, Мечты мои, со мною!

О, что вы сдѣлали съ собой, мои Мечты!

Но ты,—ты, чистая, единственная, ты,
Что не пришла ко мнѣ, одна изъ всѣхъ, съ зарею,
Меня покинувшихъ,—къ тебѣ, хотя бъ цѣною
Всей жизни, скорбь мою и пѣснь я понесу!
Ты скрылась, тихая, въ задумчивомъ лѣсу
И тамъ въ безмолвіи сидишь одна, нагая,
У ногъ босыхъ Любви, и богъ Любви лаская,
Дарить тебѣ цвѣты и самъ беретъ, склоняясь,
И оба нѣмы вы, цвѣтами лишь мѣняясь,
И пальцы вашихъ рукъ плетутъ, у липы ишистой,
Для васъ, для васъ двоихъ—одинъ вѣнокъ души-
стый.

И. И. ТХОРЖЕВСКІЙ.



Мудрость любви.

изъ А. ДЕ-РЕНЬЕ.

Пока не пробилъ часъ—спускаться въ сумракъ
вѣчный,
Ты, бывшій мальчикомъ и брошенный безпечной
Крылатой юностью, усталый какъ и мы,
Присядь—и вслушайся, до рѣзкихъ трубъ Зимы,
Какъ лѣтняя свирѣль поетъ въ тиши осенней.

Былая нѣжность спать, въ объятяхъ сладкой
лѣни.

А смолкнетъ пѣсенка—и слышно, въ тонкомъ снѣ,
Что Августъ говоритъ Сентябрьской тишинѣ,
И радость бывшая—навѣянной печали.
Созрѣвшій плодъ повисъ на вѣткѣ; прозвучали
Напѣвы вѣтерка,—угрозой зимнихъ бурь...
Но вѣтеръ спать еще, ласкаясь. Спать лазурь.

Безмолвны сумерки, и ясны небеса,
И рѣютъ голуби, и въ золотѣ лѣса...
Еще съ губъ Осени слетаютъ пѣсни Лѣта.

Твой день былъ солнечный; былъ ясный день раз-
свѣта,
А вечеръ сладостенъ, душа твоя чиста,
Еще улыбкою цвѣтутъ твои уста...

Пусть расплелась коса: волна кудрей пре-
красна!

Пусть ужъ не бьетъ фонтанъ: вода осталась
ясной.

Люби. И сотни звѣздъ зажгутся надъ тобой,
Когда пробьетъ твой часъ—спускаться въ мракъ
ночной!

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



* * *

ИЗЪ А. ДЕ-РЕНЬЕ:

Забрезжила заря въ дали небесъ прозрачной,—
Возьми расписанный свѣтильникъ восковой,
Который озарялъ восторги ночи брачной.
Вчера, когда обрядъ исполнивъ въковой,
Мы вмѣстѣ съ шествіемъ порогъ переступили,
То провожатые намъ факель засвѣтили
И ими уголь былъ возложенъ на очагъ.
Сулитъ грядущее намъ радость или мракъ—
Оно для насъ одно и то же съ той минуты,
Хотя бы выросли одни кусты цикуты,
Тамъ, гдѣ любимся мы розами теперь.
Пробрался первый лучъ въ растворенную дверь.
Вставай! Горитъ востокъ въ сіяньи блѣдно-аломъ,
Надѣнь дорожный плащъ и перстень твой съ
опаломъ,
И съ факеломъ въ рукѣ—мы выйдемъ за порогъ.
А если надъ землею лежитъ покровъ тумана—
Дай руку мнѣ твою, чтобъ поддержать я могъ
Въ пути шаги твои. Вкругъ стараго фонтана
Мы трижды обойдемъ, гдѣ, вся обнажена,
Спитъ нимфа юная, въ струи погружена.
Вотъ разливается заря по небосводу,
Свѣтильникъ погрузи, ненужный больше, въ воду.
Пойдемъ на взморье мы иль въ лиственную сѣнь,
За аркою воротъ намъ блещетъ ясный день,
И пусть легко звучитъ подъ аркой изъ гранита
Пѣвучій шагъ людей, которымъ жизнь открыта.

О. Н. ЧЮМИНА.



ЛЕБЕДИ.

изъ ж. РОДЕНБАХА.

Лебедей прекрасныхъ гордая семья
Вѣчно ищетъ кубокъ Оульскаго царя...

По водѣ неподвижной канала
Они плаваютъ, грусти полны..
Нѣтъ, найти они кубокъ должны,—
Даръ любви, что измѣны не знала!..
И мечта ихъ—спустившись до дна,
Видѣть чашу, что скрыла волна!..

Лебедей прекрасныхъ гордая семья
Вѣчно ищетъ кубокъ Оульскаго царя!...

Нѣтъ, не въ волны бурливаго моря
Бросилъ царь, вспоминая любовь,
Чашу слезъ, неутѣшнаго горя!..
Вотъ столпились всѣ лебеди вновь..
Неужели мечта ихъ свершится?
Иль вода здѣсь отъ слезъ солона
И въ ней горечи много тaitся,—
Точно моря подъ ней глубина?

Лебедей прекрасныхъ гордая семья
Вѣчно ищетъ кубокъ Оульскаго царя!..

ЮРІЙ ВЕСЕЛОВСКІЙ.



* * *

изъ ж. ГОДЕНБАХА.

Едва угаснетъ день, непримиримый врагъ,
Къ намъ страхи смутные несетъ вечерній мракъ;
Повитый трауромъ, луною озаренный,
Какъ кошка, будетъ онъ терзать и мучить насъ,
Онъ топить, какъ каналъ, нашъ разумъ покоренный;
И радость рѣзвая въ вечерній, страшный часъ,
Какъ нѣжныхъ розъ букетъ, въ безсильи увядастъ.
Лишь мракъ свой черный ядъ повсюду разольетъ.
Съ тѣнями ночи онъ сливается,—и вотъ
Къ намъ на сердце покровъ зловѣщий упадетъ;
Веселый блескъ зеркалъ печальный крепъ покрылъ,
И оскорбленный свѣтъ къ окошку отступаетъ,
Гдѣ кружева гардинъ—какъ саваны могиль...
Смертельно-сладкій ядъ вечерній мракъ разлилъ,
Неизъяснимое растетъ въ душѣ волненье,
Полетъ свободныхъ душъ коснется на мгновенье
Трепещущихъ сердецъ. Владыка, мощный Страхъ,
Рой призраковъ родитъ на пологихъ постели;
Вкругъ запахъ чувственный въ подушкахъ, про-
стыняхъ,

И ранки лампъ во мглѣ вечерней покраснѣли;
Струится кровь тѣней, онъ дрожать, толпой
Отъ свѣта робкихъ лампъ поспѣшно ускользая...
—Вотъ крылья опалилъ пугливыхъ мошекъ рой,
И кажется, что имъ отмщаетъ мракъ ночной,
За то, что ихъ мечта манила, общая
Въ томъ свѣтѣ воскресить лучъ солнца золотой!

Эллисъ.





Жоржъ Роденбахъ.

* * *

изъ Ж. РОДЕНБАХА.

Октябрь вернулся. Въ комнатѣ моей
Два гостя мрачные: Октябрь и Вечеръ темный.
Вошли, наполнили мой уголокъ укромный,
И только въ зеркалѣ—враждебный слѣдъ лучей.

Два брата грустные! Какъ всѣмъ они немилы,
Какъ всѣ неправы къ нимъ! Они мнѣ принесли
Увядшіе цвѣты и, кажется, вплели
Въ обои черные рисунокъ ихъ улымый...

Вновь Вечеръ, вновь Октябрь! И колоколъ имъ
вслѣдъ

Звучить томительно, несчастье предвѣщая,
И грустью, полной слезъ, намъ душу наполняя...
Все тонетъ въ сумракѣ: замѣтныхъ линій нѣтъ.

Октябрь вернулся къ намъ; онъ сталъ еще печаль-
нѣй!

Скитался долго онъ, тамъ, на чужбинѣ дальней;
Онъ тайно насъ искалъ, искалъ души больной,
И вотъ нашелъ ее.

И съ нѣжностью быллой
Все упрекаетъ насъ, зачѣмъ душой тревожной
Вѣрили безъ него мы ласкъ невозможной,
Чуждались Вечера, боялись, слыша звонъ...

Поодаль, съ Вечеромъ, въ углу садится онъ,
—И надрывается душа, изнемогаетъ
Въ нѣмыхъ рыданіяхъ, и съ ужасомъ внимаетъ
Бесѣдѣ странниковъ... А тѣ о ней грустятъ
И мѣрнымъ шопотомъ о смерти говорятъ.

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



Эпилогъ.

изъ ж. РОДЕНБАХА.

Это осень, и дождь, и конецъ увяданья!
Умираютъ мечты. И послѣдній порывъ—
Передаются другимъ, свою душу открывъ,
И себя пережить въ вѣковѣчномъ созданьи,—

Умираетъ и онъ! Смерть и этой мечтѣ,
Безнадежно пустой, какъ и всѣ остальные!
На губахъ замираютъ молитвы нѣмыя,
И послѣдній апостолъ умретъ въ темнотѣ...

Что мнѣ славы вѣнки! дорожилъ ли я ими!
Жалко грезы увядшей, послѣдней, одной,
О которой въ часъ смерти жалѣешь душой:
„Но исчезнуть бы, сердцемъ остаться съ другими“...

Поздно! смятъ мой цвѣтокъ, осыпается онъ,
Скоро будетъ онъ сорванъ рукой незнакомой!
Надвигается ночь—я охваченъ истомой—
Слабо движется кровь—къ сердцу крадется сонъ...

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



* * *

ИЗЪ Ж. МОРЕАСА.

Не говори, смѣясь: „жизнь — праздникъ!“ Умъ
глупца
Иль безсердечіе — въ невѣжествѣ безпечномъ.
Но бойся вымолвить: „жизнь — горе безъ конца“...
Тобой владѣть гнѣвъ, а онъ не будетъ вѣчнымъ!
Нѣтъ: смѣйся, какъ весной въ зеленыхъ вѣткахъ
день:
Рыдай, какъ океанъ, мучительно угрюмый;
Живи. И скажешь ты, объятый вѣщей думой:
„Да, это много — жить! но это все — лишь тѣнь...“

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



* * *

ИЗЪ Ф. ВЬЕЛЕ-ГРИФЕНА.

Встань! — Жизнь утомлена,
Пусть сладко спитъ она
Въ твоихъ объятыхъ; томно и устало
Красавица пусть дремлетъ до зари.
А ты — вставай! Во тѣмъ неуловимой
Тебя зоветъ Мечта;
Она зоветъ, и таетъ, мчится мимо...
О, кинься вслѣдъ за ней
На тайную, манящую дорогу!
Иль нѣтъ тебѣ къ чудесному путей!
Мечта неуловима,
Она исчезнетъ — къ Богу.

Ступай! оставь здѣсь все.
Возьми свой посохъ. Изъ земной любви,

Растушей каждый часъ и ненасытной,
Возьми одно: желанье.—И лети!
Мечта зоветъ, и таетъ, мчится мимо,
Она зоветъ лишь разъ.

Бросайся въ сумракъ! Бездна ли страшна?
Смѣлуй, не медли!

— Поздно!.. поздно!..

Жизнь пробудилась; чуткій сонъ любви
Разслышалъ все. Опять объятья Жизни
Тебя зовутъ для новыхъ, жгучихъ ласкъ...
Ты опоздалъ! Еще одно мгновенье
Мечта зоветъ,—и ускользаетъ прочь,
Одна, какъ тѣнь,
Съ нѣмымъ презрѣньемъ...

Теперь—

Сжимай въ объятьяхъ дорогую Жизнь!
Безъ счета, безъ конца,
Цѣлуй ее. Будь сильнымъ,
Будь властелиномъ Жизни и творцомъ!
Ты не ушелъ за бѣглою Мечтой,
За призракомъ, туманнымъ и зовущимъ
Къ чудесному и къ тайнѣ,—такъ вернись,
Вернись къ прекрасной и любимой Жизни!
Увѣковѣчь въ ней твой единый мигъ!
Изъ свѣтлыхъ сновъ ея и сердца мертвой муки
Создай одинъ, но гармоничный стихъ.
Пускай тебя волнующіе звуки
Переживутъ, и съ новою весной
Звенять всегда то смѣхомъ, то рыданьемъ,
Когда зеленый лѣсъ
Въ своей листвѣ смѣющейся и зыбкой
Одѣнетъ приманками любви,—
И пой, свѣтясь безпечною улыбкой!.

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



Смогло все; и, печаль затая,
Только листъ облетаетъ безшумный...

Но вчерашняя скорбь—вся жива!
Раньше капля за каплей будила
Въ гулкомъ сводѣ печали слова;

А теперь эта скорбь—вдругъ застыла
Полнымъ озеромъ слезъ... Но на днѣ
Тотъ же плачь затаенъ въ тишинѣ.

И. И. ТХОРЖЕВСКИЙ.



Раковины.

изъ П. ВЕРЛЕНА.

Я пестрыхъ раковинъ причудливый узоръ
Люблю по цѣлымъ днямъ разсматривать прилежно:
Въ нихъ прелесть новую всегда находить взоръ...
Въ безмолвномъ гротѣ, тамъ, гдѣ я любилъ такъ
нѣжно,

Такъ много раковинъ... Вотъ пурпуръ на одной,
То—кровь горячая души моей мятежной,

Что вспыхнула и страсть зажгла въ душѣ другой!..
А эта—такъ блѣдна, такъ смотреть грустно, томно,
Что разомъ вспомнилъ я печальный обликъ твой,

Когда разсердишься порой на взглядъ нескромный!..
А эта такъ мила, нѣжнѣе я бъ называлъ
Одно твое ушко, здѣсь въ сторонѣ укро мной

Какъ будто шейки сгибъ... но вдругъ я задрожалъ!..
Эллисъ





Пытка надеждой.

А. ВИЛЬЕ-ДЕ-ЛИЛЯ-АДАНА

„О, дайте мнѣ голосъ, голосъ—
чтобы крикнуть“. Эдгаръ По
(„Колодезь и маятникъ“).

Достохвальный Педро Арбуэсъ д'Эслила, шестой пріоръ доминиканскаго ордена въ Сеговіи и третій Великій инквизиторъ Испаніи, спускался, передъ вечеромъ, въ подземелье саррагосскаго Оффиціала (духовнаго суда). Его сопровождалъ „fra redemptor“ (братъ-испытатель), а впереди шли два служителя Святѣйшаго суда, съ фонарями въ рукахъ. Шли они къ отдаленной подземной темницѣ.

Вотъ заскрежеталъ ключъ въ замочной скважинѣ массивной двери, и они вошли въ затхлый „in-pase“ (монастырскую подземную тюрьму), гдѣ при слабомъ свѣтѣ, проникавшемъ сверху, можно было различить между кольцами, ввинченными въ стѣну, почернѣвшую отъ крови „кобылу“, жаровню и кувшинъ. На подстилкѣ изъ гнилой соломы, угрюмо сгорбившись, сидѣлъ какой-то человѣкъ въ лохмотьяхъ, скованный по рукамъ и ногамъ и съ желѣзнымъ ошейникомъ на шеѣ. Возрастъ его опредѣлить не было никакой возможности.

Этотъ заключенный былъ никто иной, какъ рабби Азеръ Абарбанель, аррагонскій еврей, обвиненный въ лихоимствѣ и безжалостности къ бѣднымъ, и вотъ уже болѣе года ежедневно подвергаемый пыткамъ. Его „ослѣпленіе“ оказалось столь же твердымъ, какъ и его кожа: онъ ни за что не соглашался отречься отъ своей вѣры.

Онъ гордился своей тысячелѣтней родословной и своими древними предками, — всѣ настоящіе, старозавѣтные евреи, какъ извѣстно, очень высоко ставятъ вопросы крови, а онъ, судя по Талмуду, происходилъ прямо отъ Отоніа, и, слѣдовательно, отъ Ипсиди, жена послѣдняго израильскаго судьи, — и это обстоятельство сильно поддерживало его мужество среди самыхъ жестокихъ и непрерывныхъ мученій.

Вотъ почему достохвальный Педро Арбуэсъ д'Эспила со слезами на глазахъ приблизился къ трепещущему раввину: его такъ глубоко огорчала мысль, что столь твердая душа уклоняется отъ своего спасенія. И онъ произнесъ при этомъ слѣдующія слова:

— Сынъ мой, радуйся: приходитъ конецъ твоимъ испытаніямъ здѣсь, на землѣ. Если, я въ виду такого упорства, вынужденъ былъ, сокрушаясь сердцемъ, примѣнить къ тебѣ большую суровость, то и задача братскаго исправленія имѣетъ свои предѣлы. Ты — упрямая смоковница, которой, за многократное нежеланіе дать плодъ, предстоитъ усохнуть... Но одинъ лишь Богъ да судить твою душу. Быть можетъ, безконечное Милосердіе блеснетъ для тебя въ послѣдній мигъ. Мы не должны терять надежды на это! Были тому примѣры... Итакъ, да будетъ! — отдохни нынѣшній вечеръ съ миромъ. Тебѣ назначено участвовать на завтра въ „auto da fè“: т. е. ты будешь воздвигнутъ на „quemadero“ — на костеръ, составляющій преддверіе будущаго вѣчнаго огня; какъ извѣстно тебѣ, мой сынъ, костеръ этотъ горитъ въ нѣкоторомъ отдаленіи, и смерть наступаетъ лишь черезъ два (а то и черезъ три) часа: для этого мы обыкновенно предохраня-

емъ лобъ и сердце сожигаемыхъ мокрыми и ледяными пеленами. Васъ будетъ только сорокъ три человѣка. Замѣть, что тебя мы помѣстимъ послѣднимъ, и тебѣ будетъ довольно времени призвать Бога и принести ему себя въ жертву для крещенія огнемъ, которое—отъ Духа святого. Надѣйся же на Свѣтъ небесный и спи.

При концѣ этой рѣчи, донъ-Арбузъ, знакомъ приказавъ снять цѣпи съ несчастнаго, нѣжно его обнялъ и поцѣловалъ. Потомъ пришла очередь „fra-redemptor'a“, который самымъ тихимъ голосомъ просилъ у еврея прошенія за все, что онъ заставилъ его вытерпѣть, въ видѣ искупленія. Потомъ обняли его оба служителя, поцѣлуй которыхъ, сквозь ихъ капюшоны, былъ беззвученъ. Церемонія кончилась, плѣнникъ остался одинъ, въ смятеніи, среди сумрака темницы.

Чувствуя сухость во рту, съ лицомъ, окаменѣвшимъ отъ страданій, рабби Азеръ Абарбанель смотрѣлъ сперва безъ особаго вниманія на закрывшуюся дверь. „Закрѣта?..“ Это слово, незамѣтно для него самого, пробудило въ его отуманенномъ мозгу какую-то грезу. Дѣло въ томъ, что ему показалось, будто свѣтъ фонарей блеснулъ на мгновеніе въ щели между дверью и стѣнами. Блѣдная тѣнь надежды, возникшая въ его больной душѣ, взволновала все его существо. Онъ потянулся къ этому необычайному явленію, и тихо-тихо съ величайшими предосторожности, просунувъ палецъ въ щель, онъ потянулъ къ себѣ дверь..... О, изумленіе! По чудесной случайности, служитель, запиравшій дверь огромнымъ ключомъ, нѣсколько не довелъ заржавленную задвижку замка до соотвѣтствующаго гнѣзда въ каменномъ косякѣ двери, и дверь отошла немного назадъ.

Рабби собрался съ духомъ и выглянулъ наружу.

Благодаря какому-то багровому сумраку, онъ разглядѣлъ прежде всего полукругъ земляныхъ стѣнъ со спирально-идущими ступнями лѣстницы; прямо предъ нимъ, пятью или шестью ступенями выше, виднѣлось нѣчто вродѣ черной паперти,

ведшей въ обширный коридоръ: снизу можно было разглядѣть лишь первыя арки сводовъ.

Подавшись впередъ, онъ съ усиленіемъ перешагнулъ черезъ высокій порогъ двери.— Да, это былъ коридоръ, но длины—бесконечной! Онъ освѣщался блѣднымъ призрачнымъ свѣтомъ: лампадки, подвѣшенныя къ сводамъ, мѣстами придавали голубоватый оттѣнокъ этому тусклому свѣту; въ концѣ же коридора тѣнь совсѣмъ сгущалась. На всемъ видимомъ протяженіи никакихъ боковыхъ дверей не было. Съ одной стороны, сквозь отдушины въ углубленіяхъ стѣнъ, забранныя рѣшетками, проникали снаружи сумерки—должно быть, тамъ была вечерняя заря, судя по красноватымъ полоскамъ, кое-гдѣ пробѣгавшимъ по плитамъ пола. И какое страшное молчаніе!.. Быть можетъ, однако, тамъ, въ глубинѣ этого сумрака, есть выходъ на свободу! Надежда, мерцавшая въ душѣ еврея, упорно держалась—вѣдь это была послѣдняя надежда.

И вотъ, еле двигая ноги, потащился онъ по плитамъ, держась той стѣны, гдѣ были отдушины и стараясь сливаться съ темною поверхностью длинныхъ стѣнъ.

Онъ подвигался впередъ медленно, такъ какъ ему приходилось упираться въ полъ руками, удерживая крикъ, когда разбереженная рана причиняла ему внезапную боль.

Вдругъ донесся до него звукъ приближающихся шаговъ, усиливаемый отголосками этой каменной аллеи. Его охватила дрожь, тоска сдавила сердце, въ глазахъ потемнѣло. Ну, теперь ужъ все кончено! Онъ прильнулъ всѣмъ тѣломъ къ темной впадинѣ стѣны, полумертвый отъ ожиданія.

Это былъ служитель, спѣшившій по коридору. Онъ быстро прошелъ, сжимая въ рукѣ инструментъ для разрыванія мускуловъ; видъ его, съ капюшономъ, спущеннымъ на глаза, былъ страшенъ. Онъ исчезъ. Содроганіе ужаса, овладѣвшее раввиномъ, какъ бы прекратило въ немъ на время всѣ жизненные отправленія, и больше часа онъ оставался на мѣстѣ, не въ состояніи шевельнуть ни однимъ

членомъ. Боясь, какъ бы не увеличить своихъ мученій въ случаѣ поимки, онъ уже помышлялъ вернуться въ свою темницу. Но прежняя надежда нашептывала ему въ сердце то божественное „можетъ быть“, которое укрѣпляетъ въ злѣйшихъ бѣдствіяхъ..

Несомнѣнно, съ нимъ случилось чудо...

И вотъ онъ опять потащился по направленію къ предполагаемому выходу. Изможденный мученіями и голодомъ, дрожа отъ тоскливаго напряженія, онъ все стремился впередъ. А этотъ могильный коридоръ, какъ будто подъ вліяніемъ сверхъестественной силы, казалось, все удлинялся. И онъ все вглядывался въ темноту, туда, вдаль, гдѣ долженъ былъ находиться спасательный выходъ.

— О, о! опять прозвучали шаги, но на этотъ разъ болѣе медленные и угрюмые. Передъ нимъ появились фигуры двухъ инквизиторовъ въ черныхъ съ бѣлымъ одеждахъ, въ длинныхъ шляпахъ съ загнутыми полями. Выступивъ вдругъ вдали изъ тусклаго сумрака, они шли и разговаривали тихимъ голосомъ и, казалось, спорили о чемъ-то важномъ, ибо руки ихъ оживленно двигались.

При этомъ зрѣлищѣ, рабби Азеръ Абарбанель закрылъ глаза: сердце его смертельно забилося, всѣ лохмотья его пропитались холоднымъ потомъ агоніи. Съ открытымъ ртомъ, не двигаясь съ мѣста, простершись вдоль стѣны, освѣщенной пламенемъ лампы, онъ лежалъ съ мольбою къ Богу Давида на устахъ.

Подойдя къ нему вплотную, оба инквизитора остановились въ сіяніи лампы—это, разумѣется, произошло случайно, въ пылу разговора. Одинъ изъ нихъ, слушая своего собесѣдника, въ то же время смотрѣлъ на рабби. И подъ этимъ взоромъ, на разсѣянное выраженіе котораго несчастный сперва не обратилъ вниманія, послѣдній словно заново переживалъ ощущеніе раскаленныхъ шипцовъ, терзавшихъ его бѣдное тѣло; и снова онъ живо вспоминалъ свои жалобные стоны и кровавые раны! Еле держась на ногахъ, безъ дыханія, судорожно мигая

рѣсницами, онъ дрожалъ отъ прикосновенія одежды монаха. Но—странное и въ то же время, вполне—естественное дѣло—инквизиторъ, очевидно, былъ глубоко погруженъ въ размышленіе о томъ, что отвѣтить своему товарищу, совершенно поглощенъ тѣмъ, что слышалъ въ это мгновеніе—и вслѣдствіе этого глаза его, упорно устремленные въ одну точку, хотя, повидимому, и глядѣли на еврея, но не видѣли его.

Въ самомъ дѣлѣ, черезъ нѣсколько мгновеній оба злобѣщихъ собесѣдника опять медленно пошли своей дорогой, все такъ же разговаривая тихимъ голосомъ, по направленію къ площадкѣ, недавно покинутой плѣнникомъ. Его не замѣтили!.. При ужасной сумятицѣ всѣхъ чувствъ бѣдняги это обстоятельство вызвало въ его мозгу даже мысль: „не умеръ ли уже я, и оттого меня не видятъ?“ Новое тяжелое ощущеніе вывело его изъ летаргіи: при взглядѣ на противоположную стѣну ему показалось, будто оттуда за нимъ наблюдаютъ два злобныхъ глаза, какъ разъ на уровнѣ его собственныхъ глазъ... Волосы встали у него дыбомъ, онъ откинулъ голову назадъ, внѣ себя отъ внезапнаго новаго припадка ужаса.

Но нѣтъ, нѣтъ! Ощупавъ камни рукой, онъ пришелъ къ убѣжденію, что это, должно быть, просто впечатлѣніе глазъ инквизитора осталось еще у него самого въ зрачкахъ и затѣмъ отразилось двумя пятнами на стѣнѣ...

Впередъ! Нужно было спѣшить по направленію къ той цѣли, гдѣ онъ воображалъ (конечно, благодаря своему болѣзненному состоянію), найти свое освобожденіе,—по направленію къ той густой тѣни, отъ которой онъ теперь былъ, повидимому, не далѣе трехъ десятковъ шаговъ. И онъ снова пустился, съ удвоенной скоростью, въ свой мучительный путь, тащась на колѣнахъ, упираясь руками, ползя на животѣ; вскорѣ онъ достигъ, наконецъ, темной части этого страшнаго коридора.

Вдругъ по его рукамъ, которыми онъ касался каменныхъ плитъ, распространилось ощущеніе хо-

лода; оно происходило отъ сильнаго воздушнаго тока изъ-подъ маленькой двери, у которой кончались обѣ стѣны.—Боже мой, что, если эта дверь выходить наружу! Все существо злополучнаго бѣглеца словно понеслось въ головокружительномъ вихрѣ надежды. Онъ сверху донизу принялся изслѣдовать эту дверь, не будучи въ состояніи ее разглядѣть, какъ слѣдуетъ, изъ-за мрака, царившаго кругомъ. Онъ ощупалъ ее: не было ни засова, ни замочной скважины... Вотъ шеколда! Онъ выпрямился: шеколда подалась подъ его пальцемъ; дверь передъ нимъ безшумно открылась.

— „Аллилуя!..“—пробормоталъ рабби, съ глубочайшимъ вздохомъ благодарности и восторга, стоя уже на порогѣ и глядя на открывшійся предъ нимъ видъ.

Дверь выходила прямо въ обширные сады, гдѣ въ это время уже была прекрасная, звѣздная ночь. Весна, свобода, жизнь встрѣчали его. А тамъ виднѣлось недалекое поле, уходящее къ „сіеррамъ“ (горнымъ хребтамъ), волнистыя очертанія которыхъ синѣли на горизонтѣ;—тамъ было спасеніе!

— Бѣжать! Онъ цѣлую бы ночь бѣжалъ по этимъ лимоннымъ рощамъ, отъ которыхъ доносился до него аромат. Добравшись до горъ, онъ былъ бы спасенъ! Онъ вдыхалъ съ жадностью благодатный воздухъ; вѣяніе вѣтра оживляло его, его легкія воскресали. Въ своемъ расширившемся сердцѣ онъ слышалъ слова: „Лазарь, встань!“ И, благословляя Бога, оказавшаго ему это милосердіе, онъ простеръ впередъ руки, поднявъ глаза къ небесному своду. Онъ былъ въ высочайшемъ экстазѣ.

Тутъ ему показалось, что тѣнь его рукъ протянулась къ нему; эти тѣни рукъ, почудилось ему, охватили его и обвили его шею—и кто-то нѣжно прижалъ его къ груди. Въ самомъ дѣлѣ, чья-то высокая фигура была рядомъ съ нимъ. Онъ довѣрчиво опустилъ свой поднятый взоръ на эту фигуру. но вдругъ словно обезумѣлъ отъ страха: взглядъ остановился, онъ весь трясся, щеки его тяжело отдувались, изо рта катилась слюна.

— О, ужась! онъ былъ въ рукахъ самого Великаго инквизитора, достохвальнаго Педро Арбуэса д'Эспила, который глядѣлъ на него глазами, полными слезъ, съ видомъ добраго пастыря, обрѣтшаго вновь свою заблудшую овцу!

Мрачный служитель Божій прижималъ къ своему сердцу несчастнаго еврея съ такимъ порывомъ состраданія, что жесткая власяница подъ монашеской одеждой терзала его грудь. И пока рабби Азеръ Абарбанель, въ смертной тоскѣ, закативъ глаза подъ лобъ, хрипѣлъ въ объятіяхъ аскета донъ Арбуэса, смутно отдавая себѣ отчетъ, что всѣ подробности этого рокового вечера были лишъ преднамѣренная пытка— пытка надежды—великій инквизиторъ, съ выраженіемъ горькаго упрека и съ опечаленнымъ взоромъ, шепталъ ему на ухо, прерывисто и жарко дыша отъ долгихъ постовъ:

— Какъ же это, мой сынъ? Наканунѣ, быть можетъ, своего спасенія... ты хотѣлъ насъ покинуть?

ПЕРЕВОДЪ А. Д.





Рихардъ Демель.

НЕЗАБУДКИ.

изъ Р. ДЕМЕЛЯ.

Незабудки здѣсь, въ кузницѣ дымной и темной,
Гдѣ молотъ оружье куетъ!
Развѣ миръ незабудкою скромной
У ручья, за домомъ цвѣтеть?
Молоты тяжело въ желѣзо бьютъ,
Куютъ, коуютъ,
Спѣшатъ,—работу кончаютъ.
Пылаетъ желѣзо, вода шипитъ...
И когда надъ огнемъ лезвіе заблеститъ,—
Черныя руки сверкаютъ...
Но порою склоняется темнымъ лицомъ
Надъ цвѣтами кузнецъ, отойдя отъ огня,—
И чудится—кто-то поетъ надъ ручьемъ:
Не забудь меня!..

Л. АНДРУСОНЪ.

Послѣ дождя.

изъ Р. ДЕМЕЛЯ.

Взгляни—небо снова сине,
Надъ вершинами влажныхъ березъ
Вьются ласточки, словно рыбки.
И ты хочешь плакать...

Въ душѣ твоей будутъ скоро
Стаи ласточекъ, золото солнца,
Шелестъ бѣлыхъ березъ.
И ты плачешь...—

Моими глазами
Въ твои гляжу я,
Два маленькихъ солнца,
И ты смѣешься...

Л. АНДРУСОНЪ.



Тихій городъ.

изъ Р. ДЕМЕЛЯ.

Лежить въ долинѣ городъ....
Къ концу подходитъ день,
И скоро звѣздъ не станетъ,
Ни мѣсяца на небѣ,
Лишь ночь раскинетъ тѣнь.
Туманы нависаютъ
Надъ городомъ и пашней....

Ни крыши, ни дворы, ни зданья,
Ни звукъ прорвать ихъ очертанья
Не смѣютъ; развѣ башни.
Но только путникъ оробѣлъ—
Лампада въ сумракѣ зажглась,
И пѣсня тихая хвалы
Изъ дѣтскихъ устъ сквозь мглу и дымъ
Къ нему навстрѣчу понеслась.

Н. Б.



Готической дѣвушкѣ.

изъ А. ЖИРО.

Гдѣ словъ молитвенныхъ, святыхъ созвучій взять,
Гдѣ вѣчные цвѣта готическихъ узоровъ?!.
Чѣмъ тихую печаль Ея склоненныхъ взоровъ
И безконечное страданье начертать?!.
Уничтожающимъ экстазамъ передать!..

Въ лазури милыхъ глазъ святая благодать;
Какъ траурныхъ крестовъ, душа полна укоровъ,
Желаній пламенныхъ себя во мглѣ соборовъ
Уничтожающимъ экстазамъ передать!..
Пою одну тебя, святая Дѣва дѣвъ,
Алтарь, мерцаніемъ свѣчей озолоченный,
Гдѣ брезжитъ день, твоей стопою засвѣченный!..

Священной миррою и нардомъ мой напѣвъ
Пускай кадитъ Тебѣ, Страдалица Святая,
Стихи пѣвучіе какъ длани сочетая!

Эллисъ.



Хаосъ.

Man muss noch Chaos in sich haben,
um einem tanzenden Stern zu gebären.
Nietzsche.

Пусть Хаосъ хохочетъ и пляшетъ во мнѣ,
Тотъ хохотъ пророчитъ звѣзду въ вышинѣ.
Кто любитъ стремительность пѣнной волны,
Тотъ можетъ увидѣть жемчужные сны.

Кто въ сердцахъ леплетъ восторгъ и бѣду,
Тотъ новую выброситъ Міру звѣзду.
Кто любитъ разорванность пляшущихъ водъ,
Тотъ знаетъ, какъ Хаосъ красиво поетъ.

О, звѣзды морскія, кружитесь во мнѣ,
Смѣшинки, рождайтесь въ разсыпчатомъ снѣ.
Потопимъ добро грузовыхъ кораблей,
И будемъ смѣяться надъ страхомъ людей.

Красивы глаза у тоскующихъ вдовъ,
Красиво рожденіе новыхъ цвѣтовъ.
И жизни оборванной бѣлую нить
Красиво румяной зарей отгѣнить.

Пусть волны смѣняются новой волной,
Я знаю, что будетъ чередъ и за мной.
И въ смѣхѣ, и въ страхѣ есть очередь мнѣ,
Кружитесь, смѣшинки, въ мерцающемъ снѣ.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.





МОЛИТВА.

О жизни, догорѣвшей въ хорѣ
На темномъ клиросѣ Твоемъ.
О Дѣвѣ съ тайной въ свѣтломъ взорѣ
Надъ осіяннымъ алтаремъ.

О томныхъ дѣвушкахъ у двери,
Гдѣ вѣчный сумракъ и хвала.
О дальней Мэри, свѣтлой Мэри,
Въ чьихъ взорахъ—свѣтъ, въ чьихъ косахъ—мгла.

Ты дремлешь, Боже, на иконѣ
Въ дыму кадильницъ голубыхъ.
Я предъ тобою, на амвонѣ,
Я—сумракъ улицъ городскихъ.

Со мной весна въ твой храмъ вступила,
Она со мной обручена.
Я—голубой, какъ дымъ кадила,
Она—туманная весна.

И мы подъ сводомъ вѣемъ, вѣемъ,
Мы стелемся надъ алтаремъ.
Мы надъ народомъ чары дѣемъ
И Мэри свѣтлую поемъ.

И дѣвушки у темной двери,
На всѣхъ ступеняхъ алтаря—
Какъ засвѣтлѣвшая отъ Мэри
Передзакатная заря.

И чей-то душный тонкій волосъ
Скользитъ и вѣетъ вокругъ лица
И на амвонѣ женскій голосъ
Поетъ о Мэри безъ конца.

О розахъ надъ ея иконой,
Гдѣ вѣчный сумракъ и хвала.
О Дѣвѣ дальней, благосклонной,
Въ чьихъ взорахъ—свѣтъ, въ чьихъ косахъ—мгла.

АЛЕКСАНДРЪ БЛОКЪ.



ЛАЗА БѢДНЯКОВЪ.

Ш. БОДЛЕРА.

Вы хотите знать, почему я васъ разлюбилъ? Вѣроятно, вамъ труднѣе будетъ понять, чѣмъ это высказать. Я думаю, что вы наилучшій образецъ женской безучастности, какой только можно встрѣтить.

Мы провели вмѣстѣ съ вами цѣлый день—въ то время онъ показался мнѣ короткимъ. Мы объясняли другъ другу, что всѣ наши мысли будутъ общими и что отнынѣ два наши сердца сольются въ одно; въ этихъ грезахъ нѣтъ, пожалуй, ничего новаго: странно въ нихъ только одно—что всѣ люди мечтаютъ объ этомъ, но никто не исполняетъ на дѣлѣ этой мечты.

Вечеромъ, немного утомившись, вы пожелали отдохнуть передъ новымъ кафѣ, занимавшимъ уголъ еще недостроеннаго бульвара, гдѣ недоконченныя зданія уже подымались во всемъ величїи надъ грудями щепня. Кафѣ сіялъ. Казалось, что въ немъ рожки самого газа пылаютъ со всѣмъ увлеченїемъ перваго дебюта, озаряя полнымъ блескомъ стѣны ослѣпительной бѣлизны, сверкающія, огромныя зеркала, золото багетъ и карнизовъ, фрески полнощекихъ пажей, съ трудомъ держащихъ на привязи своры гончихъ, дамъ съ охотничьими соколами на рукахъ, нимфъ и богинь, несущихъ на головѣ пирожное, фрукты и дичь, Гебъ и Ганимедовъ, протягивающихъ маленькія амфоры, съ тончайшимъ сиропомъ, или же цѣлыя пирамиды разноцвѣтнаго мороженаго:—вся исторія и мифологія служили украшенїемъ этому храму обжорства.

Прямо противъ насъ на улицѣ остановился человѣкъ лѣтъ сорока, съ просѣдью въ бородѣ, съ добрымъ, честнымъ, но усталымъ лицомъ; одной рукой онъ велъ мальчика, на другой—несъ ребенка, который, повидимому, былъ такъ слабъ, что не могъ держаться на ногахъ. Исполняя обязанность няньки, этотъ человѣкъ вышелъ, должно быть, со

своими дѣтьми для вечерней прогулки. Всѣ они были покрыты лохмотьями. Выраженіе этихъ трехъ лицъ казалось необыкновенно серьезнымъ: шесть внимательныхъ глазъ жадно разсматривали новый кафѣ съ равнымъ изумленіемъ, но съ различными оттенками этого чувства, смотря по возрасту.

Глаза отца какъ будто хотѣли сказать: „Какъ это красиво! Можно подумать, что золото со всего нашего бѣднаго міра разсыпано по этимъ стѣнамъ“. Глаза мальчика говорили: „Какъ тамъ хорошо, какъ свѣтло, но такихъ, какъ мы, туда не пустятъ“. Глаза того, что былъ на рукахъ отца, смотрѣли неподвижно и пристально, и въ нихъ не выражалось ничего, кромѣ тупого и глубокаго удивленія.

Въ пѣснѣ поется, что отъ радости душа становится добрѣе, сердце—мягче. Мое настроеніе въ тотъ вечеръ могло бы вполне оправдать эту пѣсню. Я былъ не только тронутъ выраженіемъ глазъ, обращенныхъ къ намъ, но я даже какъ будто стыдился, что наши стаканы и графины были объемомъ несравненно больше нашей жажды. Я искалъ, милый другъ, вашего взгляда: въ немъ мнѣ хотѣлось прочесть мою собственную мысль, и вотъ, пока мой взоръ утопалъ въ вашихъ дивныхъ глазахъ, блестящихъ прихотливой рѣзвостью, вдохновляемыхъ луною, вы обратились ко мнѣ и сказали: „Какъ несносны эти нищіе съ ихъ глупыми, безстыдными глазами. Не можете ли вы попросить хозяина кафѣ удалить ихъ отсюда?“

Вотъ какъ трудно, мой ангелъ, понять чужое сердце; вы видите, что мысль никогда не можетъ быть общей—даже у тѣхъ, кто любить другъ друга.

ПЕР. Д. МЕРЕЖКОВСКАГО.



ЖАЛОБА ПАСТУШКЪ.

ИЗЪ РЕНЭ ГИЛЯ.

Нѣтъ ни одной тропы на свѣтѣ, дорогая,
Гдѣ бъ не прошли хоть разъ влюбленные...

Въ пыли.

Расцвѣтшихъ лѣтнихъ дней шаги ихъ, замирая,
Подъ шопотъ страстныхъ клятвъ растаяли вдали.
(Такъ блеянье твоихъ овечекъ, такъ вдали
Замолкшій ровный шумъ нагорныхъ рѣчекъ, тая...)
Но, утро каждое, (смотри!) опять въ пыли
Расцвѣтшихъ лѣтнихъ дней—посѣвъ шаговъ! Свер-
кая,

Вся радость, вся мечта, встаетъ заря другая!
О дорогая!

Когда слетаетъ листь, и воетъ ловчихъ рогъ,
И полонъ небосклонъ его истоннымъ стономъ,
И вѣетъ вѣтръ въ овсѣ, блуждая безъ дорогъ,
Въ дни августа—жнецы (по дѣдовскимъ законамъ),
Какъ рой кузнечиковъ по пашнямъ и по склонамъ,
Серпами верещать, о дорогая!..

—Но,

Когда уже полно высокое гумно,
Вновь въ полдень запахи надъ полемъ страстно
дышать,
Вновь вѣтръ надъ жнитвами забытый стебель колы-
шетъ,

А гдѣ колосья ржи стройны и высоки,
Тамъ, гдѣ колосья ржи,—синѣютъ васильки!
Нѣтъ мѣста на землѣ, о дорогая, гдѣ бы
Кровь не лилась овецъ.

Они съ тобой по полю
Тѣснились и паслись, и вдоль большихъ дорогъ
Багряныхъ лѣтнихъ дней (глядя на ошупь въ небо
Очами кроткими) все шли, какъ бы въ неволю.
Въ пыли багряныхъ дней слѣды ихъ робкихъ ногъ
Дождемъ, что по тропамъ топтался и по полю,
Размыты до конца...

И все же на путяхъ

Багряныхъ лѣтнихъ дней, тамъ по большой дорогѣ,
Гдѣ лужи отъ дождя еще блестятъ во рвахъ,
Опять вздымаютъ пыль ихъ маленькія ноги!
И сколько бѣ небосклонъ не угрожалъ грозой,
Ихъ, робкихъ, блеющихъ, все столько жѣ за тобой!

Нѣтъ ни одной тропы на свѣтѣ, дорогая,
Гдѣ бѣ не прошли хоть разъ влюбленные...

И пусть

Серпомъ идущихъ лѣтъ ты срѣзана (любовь
Моей души и словъ!), и пусть струилась кровь
Мучительныхъ разлукъ, когда всевластна грусть,
Въ истоптанной пыли воспоминаній пусть
Посѣвъ твоихъ шаговъ размытъ...

Заря, сверкая,

Подъ голубымъ шатромъ одеждой бѣлизны,
Опять встаетъ, И вновь живетъ любовь былая!
Тобой полны—мечты и сны—какъ въ дни весны,
О дорогая!

ВАЛЕРІЙ БРЮСОВЪ.





Уотъ Уитманъ.

ГРОМЧЕ УДАРЪ, БАРАБАНЪ.

ИЗЪ УОТА УИТМАНА.

Громче ударъ, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите!
Въ окна и въ двери ворвитесь—съ неумолимою
силой:

Въ храмъ во время обѣдни,—пусть всѣ уйдутъ изъ
церкви;

Въ школу, гдѣ учится юноша, силою звуковъ вор-
витесь;

Жениху не давайте покоя: не время теперь быть
съ невѣстой;

Возмутите мирнаго пахаря, который пашетъ и
жнетъ...

Гремите сильнѣй, барабаны, громче, сильнѣе ударьте.
Рѣзкія трубы, трубите! Звучи намъ, призывный!
рогъ!

Громче ударъ, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите,

Надъ суетой городовъ, надъ уличнымъ шумомъ и
грохотомъ!
Постели готовы для спящихъ, чтобъ спать эту ночь
въ домахъ?
Не надо, не нужно, чтобъ спящіе спали въ постеле-
ляхъ своихъ.
Торговцы торгуютъ?—Не надо! Не надо теперь
торгащей!
Ораторъ еще не умолкъ? Пѣвецъ будетъ пѣть, по-
жалуй?
Въ судѣ адвокатъ защищаетъ дѣло свое предъ
судей?
Скорѣй же, скорѣй, барабаны, рассыптесь гремя-
щею дробью!
Пронзительно, трубы, трубите! Звучи намъ, при-
зывный рогъ!
Громче ударь, барабанъ!—Трубы, трубите, трубите!
Переговоровъ не надо, разубѣжденія прочь!
О боязливомъ не думать, о слезахъ и моленьяхъ
не думать,
О старикѣ, умоляющемъ юношу, помыслы прочь!
Голосъ ребенка да смолкнетъ, зовъ материнскій да
смолкнетъ,
Ждущіе похоронъ трупы—пусть вздрогнуть даже
они...
Страшную вѣсть возвѣстите боемъ своимъ, бара-
баны;
Съ воплемъ трубите намъ, трубы! Звучи намъ, при-
зывный рогъ!

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



ГОРОДСКАЯ МЕРТВЕЦКАЯ.

изъ уота уитмана.

У городской мертвецкой—
Праздно бродя, пробираясь подальше отъ шума,—
Я, любопытный, замедлил шаги...
Вижу—отверженный трупъ, проститутка,
На мокромъ простерлась полу, никому не нужна.
О святыня! о женщина! женское тѣло! вижу тѣло,
 гляжу на него одинокій.
Оцѣпенѣлая тишь не смущаетъ меня, ни вода, что
 льется изъ крана,
Ни трупный смрадь.
О этотъ домъ, дивный домъ, изящный, прекрасный
 домъ—
Развалившійся,
Этотъ бессмертный домъ, большій, чѣмъ всѣ наши
 зданія,
Этотъ прекрасный и страшный развалина-домъ,—
Обитель души,—самъ душа,—
Домъ, избѣгаемый всѣми,—
Прими же дыханье одно губъ задрожавшихъ моихъ
И эту слезу одинокую,
Какъ поминки отъ меня уходящаго,
Ты, сокрушенный, разваленный домъ, домъ грѣха
 и безумья,
Ты, мертвецкая страсти,
Домъ жизни, недавно смѣющийся, шумный,
Но и тогда уже мертвый,
Звенѣвшій и дивно украшенный домъ,
Но мертвый, мертвый, но мертвый.

К. ЧУКОВСКІЙ.



ИЗЪ УОТА УИТМАНА.

Тамъ, гдѣ ты или я обрѣтаемся въ эту минуту—
Всѣхъ вѣковъ средоточіе тамъ, всѣхъ вѣковъ
и народовъ.

Эта минута въ себѣ все совершенство таитъ,
И большаго рая и большаго ада во-вѣки не
будетъ, чѣмъ нынѣ.

К. ЧУКОВСКИЙ.



Ея тѣло.

Поэтъ сказалъ ей:

—Отдайте мнѣ ваше тѣло. Вы не знаете его красоты. Для васъ оно—закрытая книга. Изъ того, что вы носите его, вѣдь не значить, что оно только ваше. Отдайте его мнѣ.

Она молчала.

—Умѣете ли вы сдѣлать его еще болѣе красивымъ? Вызвать наружу все скрытое въ немъ изящество?

—Нѣтъ, этого я не умѣю.

—Я возьму ваше тѣло и покажу всѣмъ. Я потомъ верну его вамъ. Я верну.

—Я даже не знаю, о чемъ вы говорите.

—Такъ отдайте мнѣ. Всѣ, что не умѣютъ обращаться съ красотой, пусть отдадутъ ее поэту.

И она отдала свое тѣло поэту.

Черезъ нѣсколько времени онъ прочелъ ей крохотный рассказъ, ароматный и свѣжій,—какъ капля росы на листѣ крыжовника.

—Какъ хорошо,—прошептала она.

—Вотъ видишь, я сдержалъ свое обѣщаніе,—
сказалъ довольный поэтъ.

Она немного покраснѣла, наклонила голову и
спросила:

—И это все?

Поэтъ посмотрѣлъ на ея опущенныя рѣсницы
и, улыбаясь, отвѣтилъ:

—Да. Вѣдь я отбросилъ все лишнее.

ОСИПЪ ДЫМОВЪ.



Маятникъ.

Въ тягостномъ сумракѣ ночи нѣмой
Мѣрно качается Маятникъ мой,—
Съ визгомъ протяжнымъ, то ржavo скрипя,
Каждый замедлившій мигъ торопя...

Будто съ тоской—по утраченнымъ днямъ—
Кто-то по древнимъ, глухимъ ступенямъ,
Поступью грузной идетъ, въ глубину,—
Ниже, все ниже, все глубже,—ко дну...

Будто съ угрюмой мольбой—о быломъ—
Сумрачный Кормчій упорнымъ весломъ
Глухо, отрывисто гонитъ ладью,—
Въ даль, въ неизвѣстную Пристань мою...

Злой Перевозчикъ стучитъ да стучитъ...
Дальше, все дальше, все глуше стучитъ
Всѣмъ неизбежный, безжалостный врагъ,—
Всѣмъ неминуемый Времени шагъ...

Ю. БАЛТРУШАЙТИСЬ.



Путь.

Устали дрожащія ноги.
Въ пространствѣ дорога бѣжить.
По твердой, какъ камень, дорогѣ
Пыля, таратайка гремитъ.

Звонитъ колоколецъ невнятно.
Я боленъ, я нищъ, я ослабъ.
Колеблются яркія пятна
Вонъ тамъ разоравшихся бабъ.

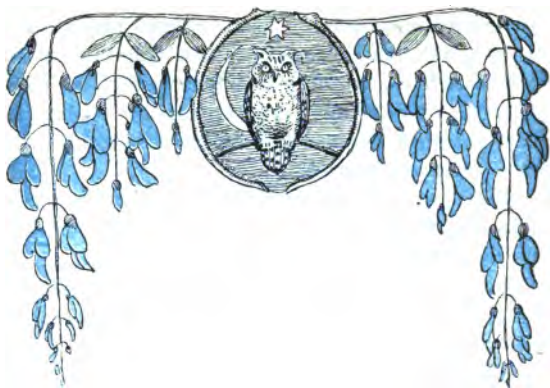
Подъ кровлю взойти да поспать бы,
Да сутки поспать бы сподрядъ.
Но въ даляхъ деревни усадьбы
Стекломъ искрометнымъ грозятъ.

Чтобъ бранью сухой не встрѣчали
Жилъе огибаю, какъ трусь,
И далѣ, и далѣ, и далѣ
Вдоль пыльной дороги влекусь.

Межъ копенъ озимаго хлѣба,
На пышный, оранжевый клень
Слетѣла изъ синяго неба
Чета ошалѣлыхъ воронъ.

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.





Благословеніе.

ЯНА КАСПРОВИЧА.

Если бы душа моя была такъ чиста, что право благословлять кого-нибудь не было бы съ моей стороны дерзкимъ притязаніемъ, я протянулъ бы руку къ вамъ, тихія, родимыя поля мои!

Ни одного гарнца пшеницы не извлекъ я изъ вашихъ бороздъ, не велъ на ярмарку скотины, выкормленной на вашихъ лугахъ, не набивалъ кожаной мошны,—съ чужого жнивья собралъ я колосья, оставшіеся послѣ жатвы, а по бѣлу свѣту пошло за мной лишь воспоминаніе о горѣ-нуждѣ да грусть-тоска.

Въ нихъ мое богатство, въ нихъ мой посѣвъ для унылыхъ, тоскливыхъ лѣтъ, что придутъ послѣ меня...

И никогда не обидѣлъ, не осквернилъ я тоски своей, хоть, какъ неопрятный грязный пьяница, плевалъ на себя, думая, что плюю на другихъ.

Потому что всегда, лишь только пальцы судорожно тянутся къ грязи, чтобы бросить ею въ нее и сказать ей, что она—злой, самодовольный разрушитель,—передо мной является вашъ образъ, о, тихія, родимыя поля мои, и оберегаетъ душу мою отъ послѣдняго паденія.

Сегодня посѣтилъ меня сонъ и зловѣще шепталъ мнѣ, будто Богъ отвернулся отъ меня и обратилъ васъ въ ужасную пустыню.

Морозъ подгрызъ корешки вашихъ озимей, и сѣрый сѣдой иней застилаетъ цвѣтушую когда-то вашу равнину.

Кусты черного чертополоха, окутавъ не опавшими еще заиндевѣлыми листьями сухіе стебли, торчатъ одиноко надъ мертвой травой узкой канавы.

Отъ закутаннаго въ сизую дымку темнаго лѣса прилетаетъ стая грачей и, не найдя пищи, исчезаетъ съ отчаяннымъ крикомъ въ свинцовой глубинѣ пространства.

Тошная лѣнивая кляченка рѣжетъ тяжелыми копытами землю длинной, однообразной дороги, таща за собой дырявый плетенчатый возокъ. Погоняетъ ее, застрявъ въ кучкѣ гороховой соломы, жалкій мужиченко въ сѣрой, нахлобученной на уши бараньей шапкѣ и въ опухшихъ кожаныхъ рукавицахъ;

—„Вью! вью!“—помахиваетъ онъ кнутомъ—„вью! вью! старуха! Ближе намъ къ смерти, чѣмъ къ веснѣ! Лишь бы добраться! Вью! вью!...“

И тащится такъ къ далекому, синему пятну деревушки, столь далекому и столь синему, что крыши хатъ почти слились съ землей, образуя какъ бы кайму, отдѣляющую ее отъ неба.

А за этой триумфальной колесницей жизни—стукъ-стукъ! стукъ-стукъ!—ковыляетъ полусумасшедшій, только что выпущенный изъ тюрьмы поджигатель...

„Ладно“—хрипитъ, угрожая кому-то, это желтое заиндевѣлое, огромное пугало—„пока ничего! Погожу,—вырастетъ эта малость ржи, созрѣетъ, на

гумна свезете! Весь міръ мнѣ сжечь можно, потому—я его сотворилъ, я, не другой кто!..“

О, дышашіе страхомъ грядущихъ дней поля мои!

Не знаю, какія судьбы васъ ждутъ, дурныя ли или хорошія, но грусть моя останавливается межъ лазурной надеждой и еще большимъ сумракомъ и шлетъ вамъ свое робкое благословеніе...

ПЕР. ТРОПОВСК.



Васильки.

Набѣгаетъ, склоняется, зыблется рожь,
Точно волны зыбучей рѣки.
И вездѣ васильки,—не сочтешь, не сорвешь.
Ослѣпительно полдень хорошъ.

Въ небѣ тучекъ перистыхъ прозрачная дрожь.
Но не въ силахъ дрожать лепестки.
А туда побѣжать, черезъ рожь, до рѣки—
Васильки, васильки, васильки.

— „Ты вчера обѣщала сплести мнѣ вѣнокъ,
Повѣряла мнѣ душу свою.
А сегодня ты вся, какъ закрытый цвѣтокъ.
Я смущенъ. Я опять одинокъ.

Я опять одинокъ. Вотъ какъ тотъ василекъ,
Что груститъ тамъ, на самомъ краю—
О, пойми же всю нѣжность и все, что таю:
Эту боль, эту ревность мою“.

— „Вы мнѣ утромъ сказали, что будто бы я
Въ чемъ-то лживо и странно таюсь,
Что прозрачна, обманна вся нѣжность моя,
Какъ свѣтящихся тучекъ края.

Вы мнѣ утромъ сказали, что будто бы я
Безсердечно надъ вами смѣюсь,
Что томительнѣй жертвъ, что мучительнѣй
узъ—

Нашъ безмолвный и тихій союзъ”.

Набѣгаетъ, склоняется, зыблется рожь,
Точно волны зыбучей рѣки.
И вездѣ васильки,—не сочтешь, не сорвешь.
Ослѣпительно полдень хорошъ!

Въ небѣ тучекъ перистыхъ прозрачная дрожь.
Но не въ силахъ дрожать лепестки.
А туда побѣжать, черезъ рожь, до рѣки—
Васильки, васильки, васильки!

ВИКТОРЪ ГОФМАНЪ.



ЗАКАТЪ.

Вечерь... Я слушаю:—скрипка поетъ,
Зарею тоскуя вдали сиротливо...
На западѣ тихо и грустно—красиво
Вѣчно-прекрасное смотреть... зоветь...

Голову клонить усталость на грудь...
А скрипка по-дѣтски поетъ безыскусно,
Такъ просто и нѣжно, такъ жалобно—грустно,
Просить и плачетъ: прости... не забудь...

ВЛ. ЛЕНСКИЙ.





Габріэле д'Аннунціо.

ПРЕЛЮДІЯ.

ГАБРІЕЛЕ Д'АННУНЦІО.

Вечеръ, свѣтъ, сіяющій на однѣхъ лишь вершинахъ, золотые тона, разсыпанные по подобнымъ горамъ облакамъ, о смерть и красота, разлитыя по всей вселенной!

Вотъ предсмертный мой мигъ, мой предсмертный мигъ.

Вечеръ спустился на наготу первыхъ цвѣтовъ, на юную весну, еще непокрытую листьями, отъ времени до времени касаясь воскресшихъ тварей тысячи и тысячи разъ легкими перстами внезапнаго дождя. И дождь, прервавшись въ воздухъ, такъ похожъ на свою бѣлую сестру.

Вотъ мой предсмертный мигъ.

Тотъ, кто отданъ во власть могилъ, желаетъ вопрошать васъ, о глубокіе корни. Откройте ему

тайну подземную, что васъ питаетъ; откройте ему то слово беззвучное, что даетъ вамъ силу расти и внизъ и вверхъ, любовь къ землѣ и любовь къ небу. Одно лишь скрыто отъ глазъ его. Одно лишь скрыто отъ глазъ того, кто осмѣлился на новыя времена взглянуть новымъ взоромъ.

Мать моя, зачѣмъ ты разорвала мягкую пелену моихъ вѣкъ и въ то же время наградила слѣпотою тѣлеснаго взора, который развращаетъ себя? Почему должна вытекать изъ нихъ волна того моря горечи, которое поднимается изъ всѣхъ грудей наверхъ, къ лицу и льется черезъ край. Но я не буду плакать.

Я слышу чудо. Охватываетъ и умирающего этотъ бредъ жизни, входящій въ каждую вѣтку, чтобы вызвать на ней цвѣты и сѣмена.

Порывъ Пѣснопѣнія, дрожаніе струнъ на вѣчной Лирѣ!

Быть можетъ, какая-нибудь великая Муза существуетъ въ этотъ часъ по земной дорогѣ и не видятъ ея люди, склонившіеся въ простотѣ надъ дымящимися бороздами. Быть можетъ, идетъ она одна, босая, по древнему базальту, по пустынной дорогѣ изъ Остіи; можетъ быть отъ лавровой рощи къ дорогѣ Гробницъ, а можетъ быть вдоль затонувшихъ стѣнъ гавани. Проходитъ надъ высокими Морскими Воротами; слышитъ, какъ подходитъ къ устью корабль съ богатствами Рима. И лавры, окружающіе кудрявую голову, поднялись и блестятъ, какъ наконецники копій, орошенные кровью вечера.

Свѣтлоокая Воля, дочь Паллады и Сатира, радость божественнаго насилія, зачатая въ поднявшемся къ небу крикѣ, перворожденная высокаго поколѣнія Музъ, помнишь ли ты о далекомъ царствѣ?

Небо надъ нами было сѣроватаго цвѣта; блѣдное, какъ чудная жемчужина, разверзшееся. И не лавры вдохнули мужество, но цѣлый лѣсъ поднявшихся рукъ. И тѣло одного человѣка, какъ бы размножилось; внезапно предстала могучая толпа, толпа гигантовъ, предводимыхъ безоружнымъ королемъ. И услышали мы, какъ позади насъ затрепетало

подъ морскимъ вѣтромъ невидимое знамя, забился парусъ Улисса, убѣгающій отъ бури. Песчаный берегъ выглядѣлъ, какъ развернутая шкура огромнаго льва. И былъ тамъ король, король Пустыни: сердце изъ плоти, величиною въ кулакъ; но все величіе неба спускалось, воспринятое грудью, и легкія вбирали его воздухъ, претворяя его въ сверхчеловѣческое дыханіе.

О это величіе! Не превзойденное ничѣмъ, не познанное никѣмъ.

Отнынѣ къ какой странѣ небесной мнѣ обратиться свои уста?

Вотъ несется орелъ, тяжело машетъ крыльями, несетъ въ когтяхъ тяжелую ношу, словно мою желѣзную судьбу. Орелъ это? или моя жадная надежда, что смѣется подъ стрѣлами молніи?

Вы, новыя Эринніи, дочери Авроры и Человѣка, поройтесь въ сердца моему, измѣрьте его, какъ дно морское, и если въ глубинѣ его найдете вы не жажду безсмертія, а что-нибудь другое, то выбросьте его, какъ истлѣвшій плодъ, въ уголь, гдѣ валяются отбросы человѣчества. Но если это жажда и мое сердце покажутся вамъ равноцѣнными, то оставьте его въ когтяхъ парящей птицы съ его тайной, которую не выразить ничѣмъ.

Тамъ внизу, внизу Ночная Дуга, торжествуя, шепчется со звѣздами. О, это черное вино предсмертныхъ минутъ, которое нужно выпить изъ чаши стыда до послѣдней капли. Въ первый разъ показала мнѣ желанной участь гбнувшаго въ морѣ, когда онъ все больше и больше впиваетъ морскую влагу, словно вкушаетъ пищу вѣчности, и слышитъ завыванія сирены, призывающей его къ ночному преображенію.

Все прахъ и все безмолвіе. Моя же душа освободилась теперь отъ всякаго трепета и отъ вожужительныхъ порывовъ вѣтра, которому остается лишь свистѣть черезъ дыры, пробитыя въ черепѣ.

Повсюду безмолвіе. Не несется больше вдоль рѣки пѣніе женщины съ вѣнкомъ на волосахъ: она

останавливается у священнаго устья и ждетъ, облокотившись о мечъ, широкій, какъ весло.



МОТИВЫ ДЛЯ СИМФОНИЧЕСКАГО ИНТЕРМЕЦЦО.

На какія высоты я долженъ взойти теперь?
Гимнъ Жизни XIX.

О красота, поднимающаяся въ вихрь своего большаго крыла, подобно воинственному пламени, взлетающему въ вихрь бури, и, подобно жаворонку, поющая надъ міромъ?

Какой этотъ новый сынъ древней матери Земли, еще связанный съ чревомъ Матери, взлетаетъ при вѣсти утренней звѣзды. Со своимъ челомъ, отмеченнымъ высшей печатью, онъ, подобенъ бѣлому ростку, пробивающемуся сквозь тяжелую глыбу земную къ радости и свѣту міра.

Что это за новый стражъ сидѣлъ передъ Черными Воротами? Положилъ колѣно на колѣно и пальцы рукъ его сцѣпились, какъ два гребня, и въ груди былъ глубокий родникъ крови. Сидѣлъ, какъ будто погруженный въ сонъ, но, весь вниманіе, онъ слушалъ безмолвіе рѣкъ, текущихъ изъ Мрака среди древняго трепета міра.

Дверь Воскресенія, кто будетъ лежать теперь у твоего порога, котораго не успѣли оттоптать людскія ступни, кто будетъ стоять передъ твоими невыразимыми створками, красуясь своими аполлоновскими кудрями и своимъ отчаяніемъ? Это онъ, тотъ, который потерялъ Эвридику.

Его божественная полукруглая лира молчитъ и онъ не касался ея; и онъ бодрствуетъ, но безъ на-

дежды, онъ погруженъ въ сновидѣнія, но не спитъ. И даже, если услышитъ легкій дрожащій звукъ шаговъ готоваго воплотиться тѣла, не обернется, ибо отъ взгляда назадъ погибла его жена, отъ этого взгляда погибла Эвридика.

Кто стоитъ у порога? Кто растворяетъ невыразимыя створки Чистѣйшихъ Дверей? Не заскрипѣли, растворяясь, дверныя петли; но разсвѣтъ скользнулъ по разсыпавшимся кудрямъ, заблесталъ по натянутымъ струнамъ. И шаги Тѣни, которые не топчутъ асфodelей преисподней и анемоновъ Стикса со своимъ приближеніемъ становятся болѣе тѣлесными. Вотъ они звучатъ, словно это живыя ноги, несущія драгоцѣнную ношу. Кто это снова вступаетъ на земную дорогу? Это не Эвридика.

Стрѣла любви пронзила всю безконечность Ада; и всѣ его блѣдныя лужайки и медленно текущія рѣки и застывшія болота задрожали; и борозда свѣта стоитъ среди мрака. Можетъ быть это печальная Альцеста?

Можетъ быть, это дочь Пелея, возвращающаяся къ царскимъ покоемъ, къ ложу изъ слоновой кости, къ цвѣтущимъ сыновьямъ? Это она отдала Ночи свою дивную душу, съ любовью, вознесшейся надъ всякой другой смертной любовью, и вслѣдъ неустрашимой изгнанницѣ кинула цвѣтъ своей трепетной юности? Это Альцеста, это Альцеста.

Несетъ она бѣлое пламя въ твердой рукѣ и шествуетъ съ закрытымъ лицомъ. Никто не ведетъ ея, ни богъ ни освободитель-герой не сопровождаютъ ея въ священномъ возвращеніи; но она сама озаряетъ себѣ путь огнемъ въ протянутой рукѣ. Вотъ переступаетъ порогъ, встрѣчаетъ ногой брошенную лиру. „О, Любовь, спаси насъ!“ Мелодичный возгласъ пронизываетъ всю Безконечность Ада, касается сердца рождающейся Зари. Но это голосъ не Альцесты.

МОТИВЫ ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Слыша рыданіе, застываетъ отъ ужаса сердце
ночи и умолкаетъ побѣжденный Плачъ плеядъ.
Весь полный великой работы, стоитъ въ лучезар-
номъ безмолвіи надъ Итазіей небесный сводъ. По-
жаръ разростается и оборачивается среди Поля
дикий конь и слышится топотъ копытъ кентавра по
Аппіевой дорогѣ; и пастухъ въ невѣдѣніи, какъ во
времена Нумы, глядитъ на красное знаменіе надъ
Городомъ и не страшится.

Кто осмѣлится прибавить одинъ хоть слогъ на
фронтонѣ Арки? И кто рѣшится начертать на стѣнѣ
Холма первую букву имени? И кто разгадаетъ бу-
дущее, скрытое въ страдальческомъ чревѣ?

Чувствуется, что гдѣ-то работаютъ великія ге-
ройскія силы; ибо поднялось съ Моря вѣяніе Судьбы
и раздуваетъ костеръ.

Вѣяніе Моря и Судьбы, ты проносишься по
пустынной Аппіевой дорогѣ мимо гробницъ, свѣщешь
среди камней, которыми Кормчія дочери Солнца
окаймилъ тотъ страшный путь въ жилище Мрака,
ты дуешь надъ всепожирающимъ пожаромъ, взды-
маешь пламя ввысь до самыхъ звѣздъ, вырываешь у
него грозное ворчанье, потрясаешь огромнымъ фа-
келомъ надъ Городомъ, знающимъ другіе алтари,
мечешь искры и пепелъ въ глаза людей-рабовъ и
ослѣпляешь ихъ, потому что взоры ихъ устремлены
на зрѣлище стыда. Горе побѣжденнымъ!

„Я не заступъ и не сума и не вѣсы и не мо-
товило. Я руль и мечъ, я буря и война!“ восклик-
нулъ убійца съ костра. „Но кто расскажетъ моему
сыну, что въ ночи, въ мои предсмертныя минуты
на груди моей покоилось Солнце мое, подобно
раскаленному жернову? Прочь, псы, на цѣпь васъ!
Мой пепелъ это мои сѣмена!“

ПЕР. А. ПЕЧКОВСКИЙ.





Взоры.

изъ М. МЕТЕРЛИНКА.

О эти бѣдные усталые взгляды!

И ваши и мои!

И тѣ, которые исчезли, и тѣ, которые будутъ,
И тѣ, которые не достигнуть бытія, но все же
существуютъ.

Иные изъ нихъ какъ будто посѣщаютъ бѣдныхъ въ
воскресный день.

Иные подобны безпріютнымъ больнымъ.

Иные, какъ ягнята на лугу, покрытомъ холстами.

А эти необычайные взоры!

Подъ сводами однихъ какъ бы присутствуешь при
казни дѣвственницы въ запертомъ залѣ,

Другіе заставляютъ думать о невѣдомыхъ печаляхъ!

О крестьянахъ у фабричныхъ оконъ,

О садовникѣ, сдѣлавшемся ткачемъ,

О лѣтнемъ полднѣ въ музеѣ восковыхъ фигуръ,

О мысляхъ королевы, смотрящей на больного въ
саду,

О запахѣ камфоры въ лѣсу,

О принцессѣ, запертой въ башню въ праздничный
день,

О долгомъ плаваніи въ водахъ теплаго канала.
Сжальтесь надъ взорами, которые робко движутся,
какъ больные, выходящіе въ поле,
Сжальтесь надъ взглядами раненаго, обращенными
къ хирургу

И похожими на палатки подъ грозою!
Сжальтесь надъ взглядами искушаемой дѣвствен-
ницы.

(О! млечныя рѣки утекутъ и исчезнуть во мракѣ!
И лебеди умерли среди змѣй!)

Сжальтесь надъ взглядами дѣвственницы, готовой
пасть!

Принцессы, покинутыя въ безконечныхъ болотахъ!
И эти глаза, въ которыхъ освѣщенный суда на
всѣхъ парусахъ уходятъ въ бурю!

И жалкіе взоры, страдающіе отъ невозможности
быть въ иномъ мѣстѣ!

Сколько страданій едва различныхъ, но столь
разныхъ!

Тѣ, которыхъ никто никогда не пойметъ!

И эти бѣдныя взоры, почти нѣмые,

И эти бѣдныя взоры, что шепчутъ,

И эти бѣдныя задушенные взоры!..

Среди иныхъ кажется,—что находишься въ замкѣ,
превращенномъ въ больницу!

Другіе же подобны палаткамъ, лиліямъ войны,
разбитымъ на монастырской лужайкѣ!

А множество другихъ похожи на раненыхъ, за
которыми ухаживаютъ въ теплицѣ!

А множество другихъ похожи на сестеръ мило-
сердія на суднѣ, гдѣ нѣтъ больныхъ!

О! видѣть всѣ эти взоры!

Принимать всѣ эти взоры!

Истощать свои взоры имъ навстрѣчу.

И съ тѣхъ поръ потерять возможность сомкнуть
глаза!

ALLEGRO.



* * *

Несказаннымъ объятый, стою надъ холоднымъ за-
тономъ.

Уходящая въ себя, глубокая тишь...
Внимаю тихимъ, кристальнымъ звономъ.
Откуда они?... Не знаю. Дрожить камышъ.
Плачетъ лилія.
Нѣжная... бѣлоснѣжная...
Жителей горнихъ воскрылія,
Высоко, тамъ, гдѣ раскинулась лазурь безмятеж-
ная,

Вѣютъ, воздушныя... неуловимыя... бѣлыя...
Мольбы несмѣлыя,
Дѣвственно-чистыя,
Рвутся изъ сердца и въ дали лучистыя
Тихо летятъ.....
Тихо скользятъ онѣ, словно ночной ароматъ
Сонныхъ цвѣтовъ, очарованныхъ тайной затона,—
Охваченныхъ дымкой предутреннихъ сновъ,
Влюбленныхъ цвѣтовъ.

Къ выси подъеблю я очи.
Тамъ, изъ глубинъ небосклона,
Въ сумракъ ночи,
Призракъ, весь лучезарный, сходитъ на землю...
Это Печаль...
Подруга моя! Тебѣ ли я снова внемлю?
Тебѣ ли? О, Золотая! Улыбкою свѣтлой ты озаря-
ешь безконечную даль,

Баюкая сердце усталое...
Словно опять въ колыбели,
Я засыпаю... Въ жизни такъ мало я
Счастія зналъ... Успокой... Обними... Обмани...
Въ душу глубокими взорами очей твоихъ темныхъ
взгляни...

Сонъ неразгаданной Вѣчности снова навѣй...
Обними... Успокой... И согрѣй...

ВЛ. ЛИНДЕНБАУМЪ.



* * *

Подъ звучными волнами
Полночной темноты
Далекими огнями
Колеблются мечты.
Мнѣ снится, будто снова
Цвѣтеть любовь моя,
И счастья земного
Какъ прежде жажду я.
Но пѣсней не бужу я
Красавицу мою,
И жажду поцѣлуя
Томительно таю.

Обвѣянный прохладой
Въ нѣмомъ ея саду
За низкою оградой
Тихохонько иду.
Глухихъ ищу тропинокъ,
Гдѣ травы проросли,—
Чтобъ жалобы песчинокъ
До милой не дошли.
Движенья замедляю
И пѣсни не пою,
Но сердцемъ призываю
Желанную мою.

И, сердцемъ сердце чую,
Она выходитъ въ садъ.
Глаза ея, тоскуя,
Во тьму мою глядятъ.
Въ ночи ея безсонной
Внезапныя мечты,—
Въ косѣ незаплетенной
Запутались цвѣты.
Мнѣ снится: передъ нею
Безмолвно я стою,
Обнять ее не смѣю,
Таю любовь мою.

ВЕДОРЪ СОЛОГУБЪ.

Снѣжные хлопья.

Глухимъ путемъ, невѣженнымъ,
На блѣдномъ, склонѣ дня,
Иду въ лѣсу оснѣженномъ,
Печаль ведетъ меня.

Молчить дорога странная,
Молчить невѣрный лѣсъ...
Не мгла ползетъ туманная
Съ безжизненныхъ небесъ—

То вьются хлопья снѣжные,
И, мягкой пеленой,
Безшумные, безбрежные,
Ложатся предо мной.

Пушисты хлопья бѣлые,
Какъ пчелъ веселыхъ рой,
Играютъ хлопья смѣлые
И гонятся за мной,

И падаютъ, и падаютъ...
Къ землѣ все ближе твердь...
Но странно сердце радуютъ
Безмолвіе и смерть.

Мѣшается, сливается
Дѣйствительность и сонъ,
Все ниже опускается
Зловѣщій небосклонъ—

И я иду и падаю,
Покорствуя судьбѣ,
Съ невѣдомой отрадою
И мыслью—о тебѣ.

Люблю недостижимое,
Чего, быть можетъ, нѣтъ...
Дитя мое любимое,
Единственный мой свѣтъ!

Твое дыханье нѣжное
Я чувствую во снѣ,

И покрывало снѣжное
Легко и сладко мнѣ.
Я знаю, близко вѣчно;
Я слышу стонетъ кровь...
Молчанье безконечное...
И сумракъ... и любовь.

З. Н. ГИППУСЪ.



Съ ОБРЫВА.

Стремнина скалъ. Волной желѣзной
Здѣсь плоскогорье поднялось
И надъ зіяющею бездною,
Оцѣпенѣвъ, оборвалось.
Здѣсь небо ясно,—слой тумана
Ползетъ подъ нами, какъ драконъ,—
И моря синяя нирвана
Виситъ въ пространствѣ съ трехъ сторонъ.
Но дико здѣсь. Какъ руки фурій,
Торчитъ надъ бездною изъ скалъ
Колючій, искривленный бурей,
Сухой и звонкій астрагалъ.
И на зарѣ сѣдой орленокъ
Шипитъ въ гнѣздѣ, какъ василискъ,
Завидѣвъ за моремъ спросонокъ
Въ туманѣ сизомъ красный дискъ.

ИВАНЪ БУНИНЪ.





СЕРГѢЙ КРЕЧЕТОВЪ.

Безумный инокъ

Я окно распахнулъ,
Влажный вѣтеръ прильнулъ
И цѣлуетъ измученный лобъ.
Иль не все успокоить,
Сонной лаской покроетъ
Эта келья, мой тихій гробъ?
Въ небѣ сіяніемъ розовымъ
Сплетаются тихія зори—
Алѣетъ утренняя, голубѣетъ, умираетъ вечерняя.
Надъ лѣсомъ березовымъ,
Молчащимъ въ осеннемъ уборѣ,
Тянуть на югъ журавли.
Кто меня слышитъ? Обступили меня стѣны унылыя.
Съ подавленнымъ крикомъ
Предъ благостнымъ ликомъ
Склоняюсь ницъ.
„Ты, чью главу увѣнчали кровавыя тернія!

Теряю послѣднія силы я.
Боже! Внемли.
Въ смятеніи мой духъ. Куда, о, куда мнѣ идти?
Не знаю пути.
Тьма сторожить. Не видно просвѣта.
И нѣтъ отвѣта
Межъ пыльныхъ страницъ.
Тамъ, за лѣсомъ, умираютъ мои дальніе братья,
Гибнутъ въ неравномъ бою,
И когда при Твоемъ алтарѣ
Твой служитель къ Тебѣ, негасимому Свѣту, руки
возносить,

Возглашая священный привѣтъ:
„Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ“,
Къ намъ вѣтеръ доносить
Шумъ перестрѣлки на вечерней зарѣ.
Этихъ звуковъ не въ силахъ прогнать я.
Сотворю ли волю Твою,
Коль обѣтовъ нарушу заклатья?
Я не знаю... Но, вѣрю,—Мечта,
Пригвожденная древле ко древу креста,
Меня не осудить.
Да свершится, что будетъ!
Бѣгу, продираясь сквозь чашу вѣтвей, обезумѣв-
шій инокъ.

Валеникъ сухой
Хруститъ подъ ногой.
Березы кропятъ меня брызгами чистыхъ слезинокъ.
Что-то гудитъ подъ землей. Смутный ропотъ бѣ-
жить по земнымъ таинственнымъ нѣдрамъ.
Скоро услышу я шелестъ знаменъ, колеблемыхъ
вѣтромъ.

СЕРГѢЙ КРЕЧЕТОВЪ.



Послѣдній Человѣкъ.

Кометы знакъ, какъ кольца змѣя,
Вѣнчаютъ небо. Такъ. Пора.
Лежу недвижный, цѣженъя,
У охладѣвшаго костра.

Великій день неслышно прожить.
Сомкнулось вѣчное кольцо.
Послѣднихъ миговъ не встревожить
Ничье склоненное лицо.

Вокругъ взметнулись пики башенъ
И глыбы каменныхъ громадъ.
Въ алмазахъ лунныхъ изукрашенъ
Изгибныхъ арокъ зыбкій рядъ.

Суровый храмъ, какъ черепъ бѣлый,
Глядитъ провалами очей.
Молчитъ парламентъ опустѣлый,
Молчитъ покинутый музей.

Эмблема равенства и братства
На нихъ рѣзцомъ изсѣчена.
Бери ненужныя богатства,
Хранитель новый, Тишина!

И пусть все то, чѣмъ люди жили,
Что слито яркостью племенъ,
Уснетъ подъ слоємъ сѣрой пыли,
Въ полетѣ мертвенныхъ временъ.

Я знаю: житель отдаленный
На тверди блещущихъ планетъ,
Влекомъ мечтой неутоленной,
Откроетъ вновь нашъ мертвый свѣтъ.

И съ вѣщей дрожью гость случайный
Пытливо стогны обойдетъ

И наши муки, наши тайны
Въ страницахъ ветхихъ перечтеть.

Когда жъ, тревожный и усталый,
Предастся сладостному сну,
Къ его челу, какъ атомъ малый,
Я, призракъ ласковый, прильну.

Все море радостей и болей,
Что было вѣдомо вѣкамъ,
Въ него вдохну могучей волей,
Навѣкъ пришельцу передамъ.

И приобщенный тайнымъ звеньямъ,
Летя пространствами назадъ,
Снесетъ грядущимъ поколѣньямъ
Старинной жизни тонкій ядъ.

Въ иныхъ мірахъ, осиливъ бездну,
Тысячелѣтій темныхъ дверь
Я, духъ земли, опять воскресну
Со всѣмъ, что умерло теперь.

.

Застыла кровь. Текуть мгновенья.
Мой взоръ смыкають цѣпи сна.
Мои пустынные владѣнья
Прими, Властитель-Тишина.

СЕРГѢЙ КРЕЧЕТОВЪ.





Маркъ Криницкій.

Ангель страха.

Страшенъ Ты, Боже, во святилищѣ
Твоемъ!

Псаломъ 67, ст. 36.

Я—ангелъ страха. Мнѣ было дано испытаніе
пройти черезъ всю землю изъ края въ край. Я вы-
шелъ въ полночь, а возвратился на утренней зарѣ.

Я видѣлъ море, бушующее у береговъ, и огром-
ный корабль, наткнувшійся на подводную скалу.
Одна за другою были спущены восемь шлюпокъ.
Буря ревѣла, но и сквозь грохотъ валовъ я слы-
шалъ рѣзкій плачъ дѣтей. Капитанъ остался уми-
рать на кораблѣ. На мгновеніе вѣтеръ разорвалъ

черное облако, и выглянувший злобѣйшій дискъ мѣсяца освѣтилъ корпусъ погибающей громады съ четкою надписью: „Надежда“. Черная фигурка стояла у борта и хладнокровно курила. Вдали въ изрытой волнами поверхности мелькали двѣ шлюпки. Когда мѣсяцъ выглянулъ черезъ нѣсколько мгновений опять, отъ корабля виднѣлась только верхушка мачты, да море выкинуло деревянные обломки вмѣстѣ съ трупомъ неизвѣстнаго мужчины.

Еще я видѣлъ, какъ подъ рукою усталого человека въ кожаной курткѣ со стономъ повернулись двѣ желѣзныя полосы, и, звеня и громыхая, промчался поѣздъ, закованный въ желѣзную броню и залитый электрическимъ свѣтомъ. Онъ выбрасывалъ тучи звѣздъ и тумана: красное зарево бѣжало за нимъ по землѣ. Человекъ въ фуражкѣ съ тремя серебряными полосками, держась одною рукою за рукоятъ механизма, управлявшаго движеніями чудовища, впивался глазами въ черную мглу. Другой былъ блѣденъ и спѣшилъ исполнять какія-то сложныя приказанія. Чудовище дрогнуло. Въ это время съ откоса навстрѣчу выбѣжали темные звенящіе силуэты огромныхъ цистернъ; раскачивая порванными цѣпями и сшибаясь буферами, они летѣли по гладкимъ рельсамъ, развивая вокругъ себя дуновение и ревъ бури... Еще мгновение, и вся окрестность потонула въ смѣшанномъ лязгѣ и грохотѣ. Наступило молчаніе: лишь вѣтеръ шелестилъ въ кустахъ да гдѣ-то раздавалось глухое шипѣніе. Вскорѣ надъ безформенной грудой всталъ коптящій столбъ воспламенившейся нефти, да вдали по линіи двигались съ двухъ противоположныхъ сторонъ два красныхъ огонька.

Я молча посмотрѣлъ на звѣзды и спѣшилъ дальше.

Мнѣ попадались вереницы почернѣвшихъ могильныхъ крестовъ, тянувшіяся по холмамъ, пріосѣненнымъ старыми ветлами. Кругомъ лежали пустыри и лѣсистыя дебри.

Я видѣлъ спящіе города. Они лежали, какъ исполинскіе муравейники. Груды строительныхъ ма-

теріаловъ навалены были по окраинамъ. Тамъ безконечно тянулись заборы и постоянные дворы съ усталыми, задумчиво вздыхающими клячами. Черные навѣсы боенъ ютились возлѣ безмолвныхъ кладбищъ, густо обросшихъ акаціями, а за ними тянулись свалки нечистотъ, издавая зловоніе. На станціяхъ горѣли тусклые огни; при однообразномъ звонѣ проходили и отходили сонные поѣзда. Неоконченныя насыпи выступали здѣсь и тамъ. Кое-гдѣ съ грохотомъ выбрасывали дымъ и паръ свѣтящіеся фабричныя зданія. А въ серединѣ царили сны. И, притаившись, я стоялъ на площадяхъ, какъ неясная, колеблющаяся тѣнь. Я ждалъ перваго мерцанія утра, чтобы устремиться вмѣстѣ съ предразсвѣтнымъ вѣтромъ. И взоры мои падали глубоко въ чрево домовъ, а слухъ ловилъ малѣйшія колебанія звуковъ.

Я читалъ сонныя грезы по лицамъ спящихъ людей и это были большею частью страшныя видѣнія, отъ которыхъ стыла кровь и безумныя крики исторгались изъ груди. Имъ снились пропасти, измѣны близкихъ, мучительныя болѣзни, внезапная смерть. Кто изъ нихъ просыпался,—чувствовалъ себя счастливымъ и говорилъ: „Это былъ только сонъ!“ И я удивлялся этимъ несчастливцамъ, потому что ихъ дѣйствительность была не лучше самаго страшнаго кошмара. Тамъ и сямъ болѣзни и смерть совершали среди нихъ втихомолку свое неутомимое дѣло. Окна аптекъ горѣли зловѣщимъ, тусклымъ блескомъ. Изрѣдка отворялись тяжелыя двери домовъ, и оттуда выходилъ врачъ или священникъ.

Творецъ сокрылъ отъ меня свѣтлую сторону бытія; всюду мой взоръ являлся лишь вѣстникомъ несчастья. Но я не могъ удержать своего любопытства: меня влекла въ себѣ черная бездна челоувѣческаго страданія. И чѣмъ больше я видѣлъ, тѣмъ сумрачнѣе становилось мое сіяніе и блѣднѣе—звѣзды въ небесной вышинѣ.

Изнемогшій палъ я на зарѣ къ дверямъ рая, съ оледенѣвшимъ сердцемъ и потухшимъ челоомъ.

И сказалъ мнѣ Пославшій:

— Я сотворилъ вселенную словомъ устъ. Кто ты, чтобы судить меня? Кто измѣрить число Моихъ мыслей и укажетъ ихъ кругъ? Я возлюбилъ дрозда и копчика. Я возрастилъ анчаръ и лилію. Я—жизнь и тлѣніе!

И взялъ Онъ меня и положилъ въ храмъ Своемъ у Святыхъ вратъ.

Объятый ужасомъ, лежалъ я предъ алтаремъ безъ мысли и движенія. Я видѣлъ трепетный свѣтъ гаснущихъ лампадъ. За окнами, въ сумрачныхъ нишахъ набухалъ день, зажигая розовымъ блескомъ стекло и хрусталь.

Гдѣ-то загремѣлъ засовъ. Вошли люди. Они не видѣли меня, но смутно чуяли мое присутствіе, полное таинственного содроганія, и говорили тихо, вполголоса, еле слышно ступая ногами среди жуткаго молчанія святилища.

Вдругъ гулко ударилъ колоколь... Звукъ его спустился глубоко въ подземелье и, опершись, вышелъ и понесся въ неизмѣримую даль. Мнѣ показалось, что онъ ударилъ въ мое собственное сердце.

Я всталъ и крикнулъ.

Я видѣлъ, какъ закачались люстры и дрогнули цѣпи лампадъ. Прильнувъ къ стекламъ купола, я крикнулъ еще и еще. Я видѣлъ, какъ закружились ласточки, испуганныя рѣзкими звуками моего голоса...

О, какъ мнѣ было отраднo кричать! Я чувствовалъ, какъ мой крикъ, крикъ, исторгшійся изъ всего моего свѣтлаго состава, возмущеннаго зрѣлищемъ бытія, поднялся и всталъ до самаго небеснаго купола, сплетенный съ рыданіемъ мѣди и сотрясая тучи.

И я видѣлъ, какъ люди останавливались въ полѣ и на дорогахъ и прислушивались ко мнѣ: они удивлялись тому, что простая мѣдь заставляетъ дрожать въ нихъ сердце. О, какъ странно было для нихъ вѣяніе райской скорби!

И, словно очарованныя, собирались на мой крикъ безмолвныя, задумчивыя толпы. Я видѣлъ

стариковъ, которые, казалось, не шли, а ползли, опираясь на клюку. Я видѣлъ женщинъ, печальныхъ, съ опущеннымъ взоромъ, которыя носили въ своихъ утробахъ младенцевъ. Улыбка замирала на устахъ юношей и дѣвъ, когда они переступали черезъ церковный порогъ, слизанный временемъ и сотрясенный звуками моего голоса. И только дѣти безпечно улыбались другъ другу и собственнымъ грезамъ, потому что они могли улыбаться и на смертномъ одрѣ.

Скоро всѣ арки и переходы храма наполнились молящимися. Скорбь и важность были написаны на ихъ угрюмыхъ и сосредоточенныхъ лицахъ. Я видѣлъ, какъ раскрывались ихъ сердечныя раны. Я слышалъ ихъ скорби, какъ бѣненіе глубокаго источника, скрытаго подъ землею.

И снова, охваченный мыслью о безысходности страданія, я ощутилъ приливъ чернаго отчаянія и, дерзко обращаясь мыслью къ Пославшему, я началъ вопрошать Его.

И вотъ Святитель взялъ чашу, стоявшую на алтарѣ, и, протянувъ ее къ блѣднымъ, потемнѣвшимъ отъ страданія лицамъ, сказалъ:

— Пейте отъ нея всѣ: это—кровь Моя, которую Я пролилъ за васъ...

Гдѣ-то высоко въ небѣ прошебетали ласточки.

— Кто измѣритъ число Моихъ мыслей и укажетъ ихъ кругъ?—вспомнилъ я слова Пославшаго и безмолвно, подавленный величіемъ Божественной скорби, простерся предъ алтаремъ.

* * *

Я обвѣянъ его святыми трепетными крылами. Я вѣрю, что это—мой ангелъ-хранитель, который ведетъ меня утреннею стопою надъ безмолвными, ничего не возвращающими безднами. Тернистъ мой путь, и нѣсколько разъ въ сомнѣніи отступалъ я передъ нимъ. Но каждый разъ ободрялъ онъ меня своею суровою и вмѣстѣ ласковой рукою. Другъ мой, этотъ путь страшенъ только для того, кто думаетъ, что жизнь—игрушка!

МАРКЪ КРИНИЦКІЙ.

* * *

Я тонкая вѣха
На каждомъ пути.
Каскадами смѣха
Зову я придти.

Ты ждешь? Ты считаешь
Слѣды по песку?
Придешь и узнаешь
Тоску и Тоску...

На время сверкну я
Звенящей рѣкой,
На мигъ позову я—
На вѣки ты мой.

Лѣснымъ водопадомъ
Умчу, не любя.
Къ незримымъ преградамъ
Притисну тебя.

Подводные камни
Тебя загрызутъ,
И кровью уста мнѣ
Зажмутъ и зальютъ.

Кровавой усмѣшкой
На мигъ засмѣюсь,
И тонкою вѣшкой
Опять обернусь.

Чье сердце рыдаетъ?
Кого завлеку?
Придетъ и узнаетъ
Тоску и Тоску...

П. ПОТЕМКИНЪ.





Викторъ Стражевъ.

* * *

Въ уютѣ комнаты, у оконъ,
Завечерѣла тишина.
Зацвѣлъ зарей твой темный локонъ,
Воздушно-легкій, милый локонъ,
Въ лучахъ, упавшихъ изъ окна.

О, синь вершинъ остывшей были!
О, дней истлѣвшихъ свѣтлый прахъ!
О, какъ безсмертно мы любили!
Кочуя, вольные, любили
Въ лазурно-пламенныхъ шатрахъ.

И встала ночь—и разметнула
Надъ нами черное крыло.

Съдая скорбь, какъ мать, прильнула,
У изголовья скорбь прильнула,
И горе-посохъ повело.

Не надо словъ. Не надо рушить
Зарей зацвѣтшій сонъ-хрусталь.
Любовь и скорбь мы будемъ слушать,
Въ лучахъ зари мы будемъ слушать
Пѣвуче тающую даль.

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.



* * *

Твой голосъ ласково-далекій
Мой неизбытный, сладкій бредъ.
О, шелести, печаль-осока.
Цвѣти, цвѣти, мой тихоцвѣтъ.

Поетъ мой вечеръ темноокій.
Томи, томи, святая быть.
И въ тишину ночей, глубоко,
О, никни ты, печаль-ковылъ.

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.



* * *

Надъ голыми, неплодными полями
Грустилъ осенній блѣдный тихій день.
Бродила Скорбь голодныхъ деревень
Проселками, кривыми колеями.

Въ прорѣзы тучъ глядѣла неба просинь.
По перелѣскамъ ржаво-золотымъ
Курился, ползалъ легкій ѣдкій дымъ...
Изнемогала сѣверная Осень.

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.



* * *

А. Ф. Діесперову

Вечоръ, одинъ, бродя безъ цѣли,
Забрелъ я въ глубь лѣсныхъ берлогъ,
Въ глухой оврагъ, гдѣ сосны рдѣли,
Гдѣ—волчій станъ, звѣриный логъ:

И затопила дебрь лѣсная
Меня густою тишиной—
И жизнь невѣдомо родная
Раскрылась въ глубинѣ иной.

И было сумеречно, сонно.
И день сквозь узкое окно,
Сквозь хвою сосенъ, потаенно,
Глядѣлъ ко мнѣ, въ лѣсное дно.

И я лежалъ на мшистомъ ложѣ
Въ звѣриномъ логовѣ, одинъ.
Была душа суровѣй, строже.
Была роднѣе ласка мшинъ.

И годы, можетъ быть, летѣли
Въ недвижно-сонной тишинѣ.
Ронлась мгла, и сосны рдѣли,
И сердце плавилось во мнѣ.

ВИКТОРЪ СТРАЖЕВЪ.

ЖАТВА.

Она идетъ по рыжимъ полямъ;
Въ рукахъ ея серпъ.
У нея на челѣ багряный шрамъ—
Царскій гербъ.
Мѣрно ступаютъ босыя ноги,—
Тихо и мѣрно,
По межѣ, по узкой дорогѣ,
Но вѣрной.

Она идетъ по рыжимъ полямъ,
Смѣется.
Увидитъ ее василекъ—улыбнется,
Нагнется.
Придетъ она и къ намъ—
Веселая.
Навѣститъ наши храмы и села.
На червеной дорогѣ
Шуршать-шепчутъ ей травы.
И виновный, и правый
Нищей царицѣ—въ ноги.
Наточимъ острыхъ косъ мы,
Скосимъ золотые стебли—
Овесъ ли, хлѣбъ ли:
Любо намъ, яро!
А царицыны красныя космы
Горятъ огнемъ-пожаромъ.
Отдадимъ мы царицѣ покосъ,
Пусть пьянѣетъ душистымъ сѣномъ;
И до утреннихъ росъ,
Утонимъ ее радостнымъ плѣномъ.

ГЕОРГІЙ ЧУЛКОВЪ.





ОТРЫВОКЪ ИЗЪ РОМАНА

СТ. ПШИБЫШЕВСКАГО.

Черкасскій шелъ вдоль бульвара домой.

Издали доносился еще грохотъ извозничьихъ экипажей.

Безысходная грусть и тоскливое чувство одиночества овладѣло имъ. Онъ чувствовалъ себя сиротой—злая мачеха-судьба выгнала его изъ-подъ родного крова на всѣ четыре стороны. Ночь! А тутъ вѣтеръ гудитъ, завываетъ по полямъ, покрытымъ промокшею и продрогшею рожью, дождь сѣчетъ его по лицу, сухой нитки нѣтъ на немъ, вода просачивается сквозь убогіе лохмотья, стекаетъ по тѣлу, проникаетъ въ мельчайшія поры... Обнаженные ветлы стоятъ страшными призраками по бокамъ дороги... Онъ бредетъ по полямъ, по холмамъ, царапая руки о колючій кустарникъ, ноги вязнуть въ глинистой почвѣ, оступаются, попадаютъ въ канавы, спотыкаются о межи—онъ все идетъ, идетъ—куда?

Онъ оглянулся кругомъ.

Батюшки, да вѣдь весна на дворѣ!

Почки на деревьях распускались въ мягкіе, благоухающіе листья, нѣжный апрѣльскій воздухъ ласкалъ его лицо словно лебяжьимъ пухомъ. Густая каштановая аллея была объята глубокой тишиной; какой-то безконечной грустью вѣяло отъ нея, унылою, заслушавшеюся въ самое себя, невозмутимою задумчивостью, чѣмъ-то такимъ, чего нельзя было выразить вслухъ, а лишь безконечно тихимъ, неуловимымъ шопотомъ, нѣтъ! даже не шопотомъ, а таинственной, глубокой, гдѣ-то далеко, далеко въ глубинѣ души, рождающейся рѣчью звуковъ, пѣснью, мелодіей.

Черкасскій присѣлъ на скамѣ и задумался.

— Весна, весна,—тихо шепталъ онъ.

И во всю ширь и даль свою раскинулась передъ его взоромъ родная земля.

Вонъ! покрылись уже нѣжными, благоухающими цвѣтами поля репейника, пышнымъ ковромъ зеленѣютъ озими, вербы покрылись нѣжной зеленой листвою, желтые цвѣты куриной слѣпоты пестрѣютъ на лугахъ, скромные анемоны прижимаются къ травѣ.

Ему захотѣлось домой — туда подъ родимый кровъ, быть тамъ, бродить, смотрѣть на все, жадно пожирать все глазами, вдыхать грудью...

— Зачѣмъ?—прошепталъ онъ вдругъ.

Куда ни глянешь, всюду горе, страданіе, муки, на каждомъ перекресткѣ притаилось и ждетъ жертвы горе-злосчастіе.

Но взоръ его не могъ оторваться отъ этихъ картинъ забытой родины.

Когда въ темныя ночи, бывало, стоятъ серебристые тополя, словно призраки въ бѣлыхъ савахъ, и пугаютъ своимъ видомъ путника—

Когда съ озера Гопло поднимаются бѣлыя испаренія и серебристымъ туманомъ стелются по лугамъ, и сквозь это море мглы струятся бѣдные, тоскливые лучи огоньковъ, свѣтящихся въ окнахъ избенокъ, гдѣ ютятся убогіе добыватели торфа—

Когда бѣлый туманъ этотъ подымается выше и таетъ въ сѣткѣ моросящаго дождя—нѣтъ, это

даже не дождь—это только что-то, что прежде было густое, растворяется, таетъ въ воздухѣ, это мысль какая-то, полная грусти и раздумья, таетъ и разсѣивается въ пространствѣ; съ самаго дна души подымается какая-то туманная пелена, сгущается въ продолговатыя, похожія на жемчужины, слезы и падаетъ обратно на дно души; одна жемчужная слеза за другой, одна другой тяжелѣе, одна другой печальнѣе... Боже, Боже!

И весь міръ превращается въ море ужасной, безысходной тоски, отражается весь въ каждой слезинкѣ и падаетъ вмѣстѣ съ нею куда-то въ бездну.

Это плачь безъ стона—плачешь, но ни одинъ мускулъ лица твоего не выдаетъ твоихъ рыданій. Хрустальныя жемчужины струятся изъ глазъ твоихъ, струятся ручьями въ твое же сердце.

И во всю ширь и даль свою раскинулась передъ взоромъ Черкаскаго родная земля его, объятая торжественнымъ величіемъ своего горя, страданья и грусти:

Когда настанутъ, бывало, лунныя ночи—когда въ морѣ луннаго свѣта сверкаютъ сжатые поля серебристыми искрами, словно громадная подкова, часто подбитая серебряными гвоздями, когда становится такъ тихо, что кажется, будто весь міръ остановился на мгновеніе въ своемъ безконечномъ движеніи, погрузившись въ глубокую, тяжелую думу, когда...

Вдругъ онъ вскочилъ со скамьи.

Все вокругъ него стало принимать страшныя, угрожающія, зловѣщія формы.

Голосъ его замеръ, словно что-то оглушило его, онъ чувствовалъ, какъ что-то рыдало въ высотѣ надъ нимъ, рвалось на свободу и не могло вырваться; впереди что-то притаилось между деревьями, готовясь выскочить изъ своей засады; а позади себя онъ слышалъ тихіе, чуть касающіеся земли шаги—вотъ, вотъ за самой спиной—вотъ что-то схватываетъ его, впивается когтями въ грудь, вонзается ядовитымъ жаломъ въ шею...

Боже, Боже!
Онъ ускорилъ шагъ.
Кошмаръ прошелъ вдругъ, такъ же мгновенно,
какъ и пришелъ!
О, родина!
Да, изъ нея, изъ ея болотъ, трясинъ и тор-
фяниковъ всосалъ онъ въ себя этотъ ядъ, кото-
рый проникаетъ всѣ его чувства и, разъѣдая, все
превращаетъ въ страданіе.

ПЕР. Е. ТРОПОВСКИЙ.



* * *

I.

Одинъ, одинъ средь горъ. Ищу Тебя.
Въ холодныхъ облакахъ бреду безцѣльно.
Душа моя
скорбитъ смертельно.

Вонзивши жезлъ, стою на высотѣ.
Хоть и смѣюсь, а на душѣ такъ больно.
Смѣюсь мечтѣ
своей неволью.

О, какъ тяжель вѣнецъ мой золотой!
Какъ я усталъ!.. Но даль пылаетъ.
Во тмѣ ночной
мой рогъ вызываетъ.

Я былъ межъ васъ. Лучъ солнца золотилъ
причудливыя тучи въ яркой дали.
Я васъ будилъ,
но вы дремали.

Я былъ межъ васъ печальнонеземной.
Мои слова повсюду раздавались.
И надо мной
вы всё смѣялись.

И я ушелъ. И я среди вершинъ.
Одинъ, одинъ. Жду знаменій неожиданныхъ.
Одинъ, одинъ
среди бурь туманныхъ.

Все какъ въ огнѣ. И жду, и жду Тебя.
И руку простираю вновь безцѣльно.
Душа моя
скорбитъ смертельно.

II.

Изъ-за дальнихъ вершинъ
показался женихъ озаренный.
И стоялъ онъ одинъ,
высоко надъ землею вознесенный.

Извѣщалось не разъ
о приходѣ владыки земного.
И въ предутренній часъ
запылали пророчества снова.

И лишь свѣта потокъ
надъ горами вознесся сквозь тучи,
онъ стоялъ, какъ пророкъ,
въ багряницѣ, свободный, могучій.

Вотъ идетъ. И вѣнецъ
отражаетъ зари свѣтъ пунцовый.
Се—вѣнчаннй телецъ.
основатель и богъ жизни новой.

III.

Суждено мнѣ молчать.
Для чего говорить?

Не забуду страдать.
Не устану любить.

Насъ зовутъ
безъ конца...
Намъ пора...
Багряницу несутъ
и четыре колючихъ вѣнца.

Весь въ огнѣ
и любви
мой предсмертный, блуждающій взоръ...
О, приблизься ко мнѣ—
распростертый, въ крови,
я лежу у подножія горъ.

Зашатался надъ пропастью я
и въ долину упалъ, гдѣ поетъ ручеекъ.
Тяжкій камень, свистя,
неожиданно сбиль меня съ ногъ—
тяжкій камень, свистя,
размозжилъ мнѣ високъ.

Среди ландышей я—
зазіявшій, кровавый цвѣтокъ.
Не колышется больше отъ мукъ
вдругъ застывшая грудь.
Не оставь меня, другъ,
не забудь!..

АНДРЕЙ БѢЛЫЙ.





Александръ Курсинскій.

Горный духъ.

Я—мрачный демонъ; въ безднахъ горъ
Забытъ я свѣтлыми богами...

Шуми, шуми, угрюмый боръ,
Подъ неподвижными снѣгами!

Я знаю истину одну:

Что рай нигдѣ мнѣ не обѣщанъ...

Ползи, ползи, звено къ звену,
За ночью ночь, какъ змѣй изъ трещинъ.

Но все жъ, сквозь выступы скалы,
Гляжу на свѣтъ я гордымъ взоромъ,
Не мнѣ смутить молчанье мглы
Въ безсильи дрогнувшимъ укоромъ.

Отраденъ вѣчности покой,
Застывшихъ сновъ очарованье...

О, дальше, дальше,—мiръ живой,
Гдѣ тусклы радость и страданье!

А. КУРСИНСКІЙ.

* * *

J'implore ta pitié, Toi, L'unique
que j'aime, Du fond du gouffre
obscur, où mon coeur est tombé.
Ch. Baudelaire.

Когда старуха-Жизнь гнилые скаля зубы,
Бросаетъ смѣхъ въ лицо обманутымъ мечтамъ,
И тотъ надменный смѣхъ, удушливый и грубый,
Сто тысячъ голосовъ, какъ бѣшенныя трубы,
Повторять, злобствуя повсюду, здѣсь и тамъ,

И ясно лишь одно,—что нѣтъ нигдѣ исхода,
Въ извивахъ сѣрыхъ стѣнъ встрѣчаетъ взоръ ту-
пикъ,

Гдѣ, притаясь въ углу, подъ маскою уроды,
Дитя всѣхъ мукъ твоихъ, твой сонъ, твоя свобода,
Слюною брызгая, шевелить свой языкъ,—

Тогда всей чуткостью, отчаянной и дикой,
Души затравленной, не мыслящей преградъ,
Я познаю Тебя, спасающий, великій,
Въ сѣдыхъ провалахъ зла бездонно-многоликій,
И гасить скорбь мою врачующій твой ядъ.

А. КУРСИНСКИЙ.



Изъ пѣсень Астартъ.

Пусть молва тебя порочить
и ничтожные клянутъ.
Красота твоя пророчить, ласки—ждутъ.

Какъ велѣнья Немезиды—
твои страшныя права.
Не страшны тебѣ обиды и слова.

Ты не можешь быть, какъ люди,
оскверненною грѣхомъ.
Ты земная вѣсть о чудѣ міровомъ.

Ты для мукъ и наслажденій
непощадныхъ, какъ судьба.
Ты царица возжелѣній и раба.

Какъ проклятье, какъ святыня,
красота твоя сильна.
Ты—Астартъ, ты—богиня, ты—одна.

Ты мой ужасъ, мое счастье,
ты моя—и никого.
Ты молитва сладострастья моего.

* * *

Любви мнѣ не надо. Любви не хочу я.
Хочу, чтобы ты, не любя,
томилась рабой моего поцѣлуя,
Мнѣ надо—тебя.

Тебя—твоихъ косъ рыжекудряя пряди,
томленье слабѣющихъ рукъ.
безумное „да“ въ ожидающемъ взглядѣ
и тихій испугъ.

Тебя—твою грудь, твои блѣдныя плечи,
твой странный, русалочный ротъ...
Пусть медлятъ и лгутъ наши лживыя рѣчи—
желанье не лжетъ.

Пусть лаской невольной, пусть пѣной безстрастной
отвѣтитъ покорность твоя.

Будь только доступной и только прекрасной:
Любить буду я.

Моею безвластно, моею несмѣло—
останешься ты холодна.
Но ты мнѣ отдашь твою жизнь, твоё тѣло
—до боли, до дна.

* * *

Точеныхъ плечъ живая блѣдность
и волны ржавыя волосъ,
въ улыбка—смѣна и безслѣдность
то обольщеній, то угрозъ.

Въ ней—родники губящей ласки,
въ ней все—томительный обманъ—
и взоры, сказочнѣе сказки,
и бедра узкія и станъ.

И губъ расцвѣтшихъ въ аломъ чудѣ,
неопыленные цвѣты,
и дерзко-дѣвственныя груди,—
два жала нѣжной наготы.

Нѣмая музыка движеній,
больной рисунокъ тонкихъ рукъ...
Въ ней—всѣ томленья искушеній,
всѣ искушенья страстныхъ мукъ.

Еще невѣдѣнья рабыня,
но жрица сладостныхъ тревогъ,
еще ребенокъ, но богиня,
безгрѣшность, но порокъ.

СЕРГѢЙ МАКОВСКІЙ.





Нина Петровская.

Ложь.

Кто ты? Я видѣлъ тебя два раза и не знаю, была ты или приснилась. Постой. Я вспоминаю. Мы стояли гдѣ-то наверху. Пахло влажной землей, надъ головами низко свѣшивались широкіе вырѣзные листья. Непонятное и грубое шумѣло внизу. Бѣлые столики рядами и отдѣльные у стѣнъ. Много чужихъ лицъ. Я только сейчасъ ихъ вспоминаю, а тогда мы не видали никого. Наклонились подъ листьями. Онѣмѣли. Близко.

Слышала, какъ у меня билось сердце? Свѣтлымъ прозрачнымъ виномъ наполнилось до краевъ и билось медленно, медленно—какъ передъ смертью. Твое лицо у меня на плечѣ. Чужое непонятно прекрасное лицо. Волосы твои что-то пѣли, прикасаясь къ щекѣ.

Что это? Откуда? „Не знаю... Это музыка“. Слушаемъ, блѣдные. Концы пальцевъ похолодѣли. „Гдѣ вы живете?“ Смятый бѣлый листочекъ че-

винно прилежъ на отсырѣвшій камень перилъ. Отъ движенія карандаша протянулась тонкая незримая нить между двумя еще вчера далекими жизнями. Напишите? „Да“.

Внизу фонарики. Бѣлые, красные вздрагиваютъ между вѣтвями. Въ прихожей шумно. Кто-то потерялъ калошу. Хлопаютъ двери, врывается бѣлый паръ. Бубенчики звенятъ у крыльца. Прощайте?.. „Нѣтъ, мы вмѣстѣ“.

Уже утро. Кто укралъ ночь? Будто не было ея. Только тамъ подъ листьями чувствовали мы ее. Помнишь?

Не забыла, какъ ѣхали? Или это снилось подъ утро?—Свѣтлое жемчужное небо, снѣгъ посинѣлъ. Бѣлая скрипящая дорога. Бубенчики звенятъ точно вдали. Хочется лечь въ мягкій синій снѣгъ. Широко открытыми глазами утонуть въ свѣтлѣющемъ небѣ. Чтобы руки, твои поющія нѣжныя руки ласково легли на заолодѣвшій лобъ. Пусть, медленно изнемогая отъ радости, бьется сердце. Хочется тихой бѣлой смерти подъ утренній звонъ колоколовъ.

У тебя печальные глаза. Кто ты? Почему ты такъ просто вошла въ мою жизнь?

„Не надо спрашивать. Нужно покорно приближаться къ любви. Мы такъ мало любимъ. Встрѣчаемся и уходимъ, можетъ быть, навсегда. Не хочется узнать, подойти—думаешь—успѣю. Посмотри мнѣ въ глаза. Вотъ такъ. Сегодня насъ поцѣловала судьба“.

Ѣдемъ почти молча. Держу твои руки. О чемъ-то простомъ и ясномъ рассказываютъ ласковые пальцы. Зимній разсвѣтъ медленно преодолеваетъ ночь. На мосту еще фонари горятъ, а сквозь высокія желѣзныя арки уже видны просвѣтленныя снѣжныя дали.

Твое лицо блѣдно и серьезно. Тонкіе и серебряные лучи протянулись отъ него къ сердцу.

И сердце бьется медленно, медленно, точно передъ смертью.

Не помнишь, какъ мы разстались?.. У воротъ дворникъ въ мохнатой шубѣ,—чудовище городскихъ ночей. Гдѣ-то съ острымъ звукомъ соскребаютъ снѣгъ. Иду по бѣлому пустынному двору. Была ты или только приснилась подъ утро?

День былъ длиненъ и грустенъ, о немъ не стоитъ говорить.

Вечеръ. Я у тебя, въ незнакомой комнатѣ. Морозной паутиной затянулось узкое окно.

Гдѣ-то далеко одинокій электрическій фонарь. Тѣни пляшутъ на стеклѣ.

Мы забыли, что это самая обыкновенная комната, съ цифрой на дверяхъ. Всѣмъ чужая, съ постелью, гдѣ часто спятъ равнодушные прїѣзжіе люди. Самая обыкновенная комната,—обои съ цвѣточками, умывальникъ выкрашенъ желтой краской, на дверяхъ номеръ—139. На столѣ на бѣлой скатерти тикаютъ мои часы.

Сидимъ близко, тѣсно прижались. Медленно сливаются холодющія губы. Хочется говорить шопотомъ.—Ты отдалась бы мнѣ радостно? „Да“.

Ты ждала меня? „Да“. Ты моя? „Да“.

Постой. Тише. Слушай музыку. Вотъ звенящія волны отдѣляются отъ твоего тѣла. Рассказываютъ о тебѣ. Я знаю, ты близкая. Мы мало говоримъ, но посмотри, какъ свободно и легко ты прикоснулась къ моему сердцу. Уѣдешь, а свѣтлая солнечная полоса надолго протянется за тобой. Буду смотрѣть тебѣ въ слѣдъ съ тихой благодарностью.

Смотримъ другъ на друга строго, торжественно, точно даемъ большую клятву.

Уже поздно. Электрическая лампочка вспыхиваетъ пронзительнымъ свѣтомъ. Поправляемъ бѣлую сдернутую скатерть. Мы устали. Мы—какъ актеры въ тѣсной уборной послѣ представленія. Не хочется снимать пышныхъ царственныхъ мантий. А уже ждетъ опять знакомое платье, такое поношенное.

Улыбаемся смущенно, грустно. Руки у меня дрожатъ. Опять оторвалась пуговица у пальто. Послѣдній разъ смотрю на дверь,—139. Длинные, длинные ступени внизъ... У моихъ воротъ тотъ же

дворникъ въ мохнатой шубѣ. Поднимаюсь по лѣстницѣ. Долго, долго снимаю пальто.

На столѣ остатки грустнаго ужина и потухшій самоваръ. Жена сегодня не дождалась меня.

„Ты вернулся“—спрашиваетъ она черезъ стѣну.

Я не узнаю голоса. Но это она. Кто же еще!

Все позади. Я вернулся! Сейчасъ, сейчасъ...

МИНА ПЕТРОВСКАЯ.



Огоньки.

Весело смѣются
Жизни огоньки,
Яркой лентой выются
Искры, язычки...

Пламя застилаетъ
Грусть-тоску, печаль,
Сердце замираетъ,
Рвясь куда-то вдаль...

Длинной вереницей
Огоньки бѣгутъ,
Вольной, пѣвчей птицей
Радость намъ поютъ...

Кровь быстрѣетъ въ жилахъ,
Радостно такъ жить...
Здравствуй, все, что въ силахъ
Вѣрить и любить...

. Тлѣютъ, догорая,
Жизни огоньки,
Рвется грудь, страдая,
Полная тоски...

Въ длинныхъ скорбныхъ звукахъ
Смерти слышенъ зовъ...
Сердце стонетъ въ мукахъ
Тягостныхъ оковъ...

Гаснетъ, зеленѣя,
Слабый огонекъ,
Умираетъ, тлѣя,
Грустенъ, одинокъ...

Оборвались струны,
Замеръ сладкій звонъ,
Жизни голосъ юный
Превратился въ стонъ...

. Огонекъ поднялся
Слабый невзначай...
Вспыхнулъ... и прервался.
Смерть идетъ... прощай.

МИХАИЛЬ ГАЛЬПЕРИНЪ.



Юньскій закатъ.

I.

Юньскій закатъ преисполненъ блаженнымъ поко-
емъ.

Въ немъ чудятся шопотъ свиданья и вздохи раз-
луки.

Колышется зарево—словно вожди передъ боемъ
Къ послѣдней мечтѣ простираютъ багряныя руки.

Пылаютъ и рдѣютъ, потупясь, стыдливыя зори.
Румянецъ ихъ кротокъ; ихъ робкіе вздохи безмолв-
ны.

Колышется зарево—словно въ пурпурное море,
Поднявъ паруса, устремляются алые челны.

Мечты заревыя нѣжныя, ихъ роптанье печальнѣй.
Съ трещаньемъ стрекозъ снизошли благодатныя
росы.
Колышется зарево—словно, склонясь надъ купаль-
ней,
Багряная дѣва струить золотистыя косы.

II.

Послѣ полдня золотого
Солнце ждетъ на полусклонѣ.
Небо—жемчугъ ясно-блѣдный—
Утомленно замираетъ.
Сквозь жемчужные покровы
Проступаетъ шитъ пурпурный.
Воздухъ звонокъ—въ этомъ звонѣ
Дышитъ солнцу гимнъ побѣдный.
Красный шитъ спустился ниже.
Склонъ небесный розовѣтъ,
Льется ласковымъ багрянцемъ,
Манитъ сердце къ вѣчной дали.
Рѣютъ мошки легкимъ танцемъ.
Провизжавъ, стрижи упали
И рассыпались надъ рѣчкой.
И темнѣтъ, и свѣжѣтъ...
На рубиновомъ закатѣ
Только красное колечко.

Гдѣ я?.. Въ царствѣ сновъ и сказокъ.
Шелестъ лодки по купавамъ;
Рѣчку ивы обступили;
Стаи утокъ; блескъ заката;
Весла шлепаютъ по травамъ,
Рвутъ круги болотныхъ лилій.
Встали призраки ночные.
Тишиной земля объята,
Небо крылья осѣнили.

БОРИСЪ САДОВСКОЙ.





ТИТАНЫ.

Къ мраморамъ пергамскаго жертвенника.

Обида! Обида!
Мы—первые боги,
Мы древнія дѣти
Праматери-Геи,—
Великой Земли!
Измѣною братьевъ,
Боговъ Олимпійцевъ,
Низринуты въ Тартаръ,
Отвыкли отъ солнца,
Оглохли, ослѣпли
Во мракъ подземномъ,
Но все еще помнимъ
И любимъ лазурь.
Обуглены крылья,
И ногъ змѣевидныхъ
Раздавлены кольца,
Тройными цѣпами
Обвиты тѣла,—
Но все еще дышемъ.
И наше дыханье

Колелеблеъ громаду
Дымящейся Этно
И землю и небо,
И храмы боговъ.
А боги смѣются,
Высоко надъ нами,
И люди страдаютъ,
И время летить.
Но здѣсь мы не дремлемъ:
Мы мщеніе готовимъ,
И землю копаемъ,
И гложемъ, и роемъ
Когтями, зубами—
И нѣтъ намъ покоя,
И смерти намъ нѣтъ.
Источимъ, пророемъ
Глубокіе корни
Хребтовъ неподвижныхъ
И вырвемся къ солнцу,—
И боги воскликнуть,
Блѣднѣя, какъ вору:
„Титаны! Титаны!“
И выронять кубки,
И будетъ ужаснѣй
Громовъ Олимпійскихъ,
И землю разрушить
И небо—нашъ смѣхъ...

Д. С. МЕРЕЖКОВСКІЙ.



Изъ книги „Земля“.

шаломъ ашъ.

Былъ день. Я еще былъ маленькимъ ребенкомъ. Чисто вымыты были мои руки, невинна была моя душа. Сердце мое еще не познало зла. Отца своего я не зналъ, мать моя уѣхала въ чужую страну, и во мнѣ шевельнулось и укрѣпилось желаніе узнать Бога, моего Творца. И пошелъ я въ поле, сѣлъ около рѣки и ждалъ ночи.

И кончился день, и началась ночь. И на небо набѣжала туча и закрыла концы земли. И росадымъ поднялась надъ водой и легла надъ полями.

Тогда я обратилъ глаза въ безконечность, и сердце мое читало молитву:

„Богъ міра, вѣнецъ всего живого и мертваго, Творецъ того, что есть и чего нѣтъ, Ты, въ которомъ—все и который во всемъ, яви мнѣ ликъ Свой! Я всѣми оставленъ, у меня нѣтъ никого, кромѣ Тебя, Творецъ мой! Отъ Тебя я пришелъ, къ Тебѣ иду я. Челнъ мой уплылъ въ далекое море, и я одинъ остался на берегу и не имѣю ничего, кромѣ Твоего неба, которое меня прикрываетъ, и Твоей земли, которая носитъ меня на себѣ. И я еще молодъ, и нуженъ мнѣ отецъ, который водилъ бы меня за руку, и нужна мнѣ мать, которая осушала бы мои слезы“.

Все это говорило мое сердце. Но уста мои молчали. И окутала меня тайна ночи, и довърчиво положилъ я голову свою на землю, и было мнѣ такъ, какъ будто я спалъ на груди матери.

И лежалъ я, объятый грезами, и слышалъ вдругъ голосъ, и былъ звукъ его, какъ пѣніе арфы, которое плещется въ волнахъ рѣкъ, которое соткано изъ запаха бархатныхъ розъ и несется изъ глубокихъ темныхъ лѣсовъ.

—Милосердіе мое съ тобою, милосердіе мое съ тобою, дитя мое!

И было мнѣ такъ, какъ будто мать гладила меня по волосамъ, какъ будто сестра пѣла мнѣ пѣсню о родинѣ.

И когда я открылъ глаза, я увидѣлъ передъ собою женщину, и была она нагая и босая.

Ея груди были полны и утопали въ колосьяхъ, и голова ея была украшена плодами земли.

Въ рукахъ своихъ она держала вѣтры міра, и ноги ея вросли въ землю, и вся она походила на дерево. И подняла она свои руки—и были онѣ похожи на водяныя лиліи, и вѣтеръ развѣвалъ ея волосы—и напоминали они вѣтви вербы.

И слѣпа она была и шла, окутанная тѣнями ночи.

И это было, когда она приблизилась ко мнѣ. Я спряталъ свое лицо на поверхности земли и спросилъ: „Кто ты?“

Она мнѣ отвѣтила: „Я тотъ Богъ, котораго ты звалъ. Я мать вселенной, плодородіе, которое творить отъ безконечности до безконечности. Никто при исходѣ моемъ не предписалъ мнѣ закона, никто не поставилъ мнѣ границъ. Никто не знаетъ, когда я возникла, никто не знаетъ, когда наступить мой конецъ. Я творчество всего сущаго, и имя мое — „бытіе“. Молитву твою услышала я и пришла, потому что ты звалъ меня!“

И это было, когда она говорила со мною. И подулъ на меня вѣтеръ, и былъ въ его волнахъ запахъ весны, и были въ немъ влажность и нѣжность, и спустилась надо мной роса, какъ роса надъ полями, которая поднимается съ воды, раньше чѣмъ восходитъ солнце. И пахла она, какъ раннее весеннее утро въ лѣсу, какъ вода, льющаяся изъ каменистаго ключа, какъ поцѣлуй невѣсты въ брачную ночь. И было мнѣ, какъ будто обновленная кровь потекла въ моихъ жилахъ, и крѣпость наполнила мозгъ моихъ костей, и свѣтъ упалъ на глаза мои. Я раскрылъ глаза и увидѣлъ: земля далека и обширна, какъ просторъ неба, и корни всего растущаго погружены въ нее, и каждый цвѣточекъ и каждая былинка раскрываетъ

ротикъ, чтобъ вдохнуть въ себя жизнь. И каждая травка и каждый ростокъ сосетъ свой сокъ изъ земли. И прилетѣли птицы изъ всей страны и обнимались съ цвѣтами земли. И одинъ жилъ съ другимъ, а она мнѣ сказала:

„Къ другимъ богамъ обратились вы, а вашего Бога-Создателя вы не познаете. Что же такое чело-вѣкъ, если не одно изъ моихъ твореній, которое черпаетъ жизнь свою изъ земли, изъ нея исходить и въ нее возвращается, исполнивъ вѣкъ свой?

Развѣ онъ не братъ дереву? И развѣ не равенъ онъ былинкѣ въ полѣ, погрузившей свои корни въ землю?

А вы обратились къ небу, къ звѣздамъ вы подняли взоры свои, къ тому, что выше васъ и чуждо вамъ. Глаза твои плѣнялъ небесный свѣтъ, и сердце твое влекло то, что далеко отъ тебя.

Такъ говорить Богъ: небо,—небо для Бога, а землю,—землю далъ я людямъ.

А вы судили землю чуждымъ ей судомъ, вы устроили міръ мой по чуждой ему правдѣ.

Не справедливость небесъ есть земная справедливость, и не правда небесъ есть правда дѣтей земли.

И обратились вы къ чуждому Богу, къ Богу небесъ, къ Богу, который васъ не знаетъ и вашей молитвы не слышитъ.

И было такъ, что когда вамъ нуженъ былъ дождь, онъ посылалъ вамъ бурю. Добрымъ онъ дѣлалъ зло, а злымъ добро. Ибо не добро небесъ есть добро земли, и не зло небесъ есть зло земли. Вы пророчествовали отъ имени Бога неба, и ваши пророчества не осуществлялись, потому что они чужды были Богу земли и чело-вѣку земли.

Они пророчествовали отъ имени небеснаго Бога. Тебя я возвожу въ пророки Бога земли!“

Услышавъ это, я обратился къ ней и сказалъ:

—Я еще молодъ, и никто меня не знаетъ, и никто не слыхалъ еще имени моего. И будетъ такъ: когда я приду къ братьямъ своимъ и буду говорить имъ отъ имени Бога, о Которомъ они до сихъ

поръ не слышали, они скажутъ: „ложь, ложь возвъ-
щаетъ онъ! Если дѣйствительно правда, что Богъ
явился ему, пусть онъ намъ покажетъ знаменіе,
дабы мы увидѣли и увѣровали, какъ въ пророка
Божія“.

И слышался ея голосъ, и былъ звукъ его,
какъ плескъ воды, и былъ запахъ его, какъ дыха-
ніе цвѣтовъ:

— Не Богъ небесъ твой Богъ земли, не какъ
пророки небесныхъ боговъ, пророкъ Бога земного.

Не сверхъестественное знаменіе есть знаменіе
твоего Бога. Твое знаменіе—естественно.

Не миндаля, растущій на посохѣ въ рукѣ чело-
вѣка, есть знаменіе твоего Бога, а миндаля, рас-
тущій на вѣтви дерева, корень котораго вросъ въ
землю.

Не то, что солнце заходитъ среди дня, есть
знаменіе твоего Бога, а то, что солнце заходитъ
каждый вечеръ и восходитъ каждое утро. То, что
лѣтомъ грѣетъ солнце, а осенью льетъ дождь—
вотъ знаменіе твоего Бога.

Потому что все, что сотворилъ Богъ, онъ со-
творилъ для добра. Мое знаменіе есть: „Бытіе“.

И было такъ, что, когда мой Богъ-Создатель
кончилъ говорить, и поднялась съ полей роса, на-
поившая все цвѣтущее и растущее, тогда Бога, мо-
его Бога окутали росистыя облака, притаившіяся
въ углахъ земли.

И солнце выплыло, чтобъ освѣтить міръ, и
земля проснулась для работы.

ПЕР. А. БРУМБЕРГЪ.





Иванъ Новиковъ.

Дитя ночи.

Подъ утро въ долинѣ родился Цвѣтокъ.
Въ душу ему заглянула—успѣла!—
Темная ночь.
И прочь
Улетѣла.
Подъ самое утро родился Цвѣтокъ.

Ночнымъ ароматомъ дышалъ.
Ночною мечтою мечталъ.

Зѣри—дѣвушки въ розовыхъ платьяхъ—
Его увидали,—смѣялись и звали,
Увлекали гурьбой—
За собой.
Цѣловали
Пѣснями дѣвушки въ розовыхъ платьяхъ.

Не слышалъ Цвѣтокъ.
Не засмѣялся Цвѣтокъ.

На небо, ликуя, взошла Королева,
Всѣхъ обогрѣла, Цвѣтку улынулась.
И зазвенѣли поля.
Вся земля
Проснулась:
Въ блескъ, ликуя, взошла Королева.

Не видѣлъ Цвѣтокъ.
Не пробудился Цвѣтокъ.

Подъ вечеръ въ долину умеръ Цвѣтокъ—
Ночная душа тосковала.
Въ Вѣчную Ночь—
Вѣрная дочь—
Отлетала.
Подъ вечеръ для ночи родился Цвѣтокъ.

Умирая—рождаясь—мечталъ,
Ночную мечту призывалъ.

ИВАНЪ НОВИКОВЪ.



ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА.

Вечеръ, палъ росистый,
Ногъ не замочи!
Западъ золотистый
Погасилъ лучи.

Мѣсяцъ робко глянулъ
И опять исчезъ.
Гдѣ-то близко прятнулъ
Сумеречный бѣсъ.

А изъ закоулка
Смотрить домовой...
Славная прогулка,
Дѣдушка съдой!

Нечисти не бойся,—
Нечистъ вѣрный другъ!
Лишь росой умойся,
Очерти свой кругъ,

Всѣ къ тебѣ сбѣгутся
Дружною гурьбой,
Сказкою сольются
Съ радугой-мечтой...

Вотъ онъ—за соломой,
И хомутъ на немъ...
Ничего — знакомый!
Мимо мы пройдемъ...

Садъ такъ тихо манить
Матовой рукой...
Вечеръ не обманеть,
Вечеръ дастъ покой!

За его ограду
Вступимъ, не спѣша...
Нѣжную прохладу
Сладко пьеть душа...

Дай мнѣ руку... ближе...
О, моя весна!
Вечеръ звуки нижить
Въ ожерелья сна.

Въ сумракѣ аллеи...
Что-то знать хочу...
Но спросить не смѣю
И молчу... молчу...

ИВАНЪ НОВИКОВЪ



* * *

Ѣду въ санкахъ по полянѣ,
Снѣгъ подъ полозомъ скрипитъ,—
Снѣгъ живой, живыя сани,
Мѣсяцъ на небѣ горитъ.

Лѣсъ застылъ въ ночномъ убогѣ,
Лѣсъ замолкъ и недвижимъ.
Сердце жуткой ночи вторить...
Мѣсяцъ, сани—всѣ бѣжимъ...

Бѣгъ нашъ холодомъ окованъ,
Бѣгъ въ пустынѣ межъ небесъ.
Тайной грозной заколдованъ
Сторожить угрюмый лѣсъ.

Къ намъ на землю изъ эфира
Бѣлый падаетъ кристаллъ
И поетъ печали міра,
Гдѣ таинственно блисталъ.

Кто мнѣ пѣсни разгадаетъ?
Мѣсяцъ, мѣсяцъ, Расскажи!
Мѣсяцъ мертвенно сіяетъ.
Но не вѣрю блѣдной лжи:

Караулитъ смерть движеніе,
Но предѣлъ и смерти естъ!
Отчего жъ въ душѣ томленье?..
Отчего неясна вѣсть?

Ахъ, о чемъ тоскуютъ пѣсни?
Ахъ, о чемъ рыдаетъ снѣгъ?
Богъ таинственный, воскресни!
Богъ, направь ночной нашъ бѣгъ!

ИВАНЪ НОВИКОВЪ.





Николай Поярковъ.

Свѣжая вѣточка.

Милое свѣтлое солнышко съ тяжелою длинною косою и такими—по дѣтски—веселыми синими глазами. Радостно улыбающееся доброе солнышко.

Вотъ она идетъ по шумной улицѣ, среди нахмуренныхъ злыхъ развратныхъ людей. Такая стройная—молодая лозинка—чистая, радостная.

Зеленѣющая вѣточка апрѣльского деревца. Идетъ, осіянная внутреннимъ свѣтомъ, гордая со-знаніемъ первой любви. Словно хрупкій сосудъ съ драгоценнымъ виномъ несетъ бережно и счастливо.

Всѣ мысли со мной. Проходитъ мимо большихъ зеркальныхъ оконъ. Какъ здѣсь весело! Сколько зелени, розъ и нарциссовъ. Вспоминаетъ обо мнѣ, нащупываетъ тонкой рукой портмонзъ, входитъ. А оттуда возвращается, улыбаясь, съ бѣлымъ длиннымъ сверткомъ въ рукахъ.

Кругомъ снѣгъ, трещить морозъ, а она несетъ свѣжія розы. Прибавляетъ шагу—торопится принести мнѣ радость.

Я жду. Весело трещитъ каминъ. На столѣ вчера полученный большой номеръ журнала, гдѣ напечатана моя статья о забытомъ, старинномъ художникѣ. Рядомъ нѣсколько книгъ, о которыхъ я давно мечталъ. Весь мой гонораръ ушелъ на покупку.

Я жду. Но вотъ быстрые, быстрые знакомые шаги. (Она не любитъ встрѣчаться съ кѣмъ-нибудь въ коридорѣ). Увѣренный стукъ въ дверь, предо мною милое, еще дѣтское лицо съ горящими святою радостью глазами. Снимаю синюю шубку, грѣю поцѣлуями руки, сажаю въ кресло къ камину.

— Я на часокъ, прямо съ уроковъ изъ гимназій. Да. Вижу—она въ зеленоватомъ форменномъ платьѣ и черной пелеринкѣ.

Итакъ, цѣлый часъ сидимъ у камина, вздрагивая отъ расцѣтающихъ ласкъ. Слушаемъ тишину, боясь услышать стукъ въ дверь.

— Ты знаешь—сегодня началась весна, говоритъ она. Какъ все таинственно и хорошо. Гдѣ-то глубоко подъ снѣгомъ поднялась работа, а скоро цвѣты, зеленый лѣсъ, теплые дни. Я шла и думала о поворотѣ солнца, о веснѣ, о тебѣ.

Она смолкаетъ, но скоро оживленно говорить.

— Смотри, вотъ старый бабушкинъ браслетъ изъ рубиновъ. Ея подарокъ. Вчера мнѣ стало 18 лѣтъ, и я теперь взрослая.

Милая распускающаяся вѣточка.

Теплота камина ласково охватываетъ, растутъ сумерки. Смѣлѣютъ ласки, и рука сильнѣе обнимаетъ хрупкій станъ и распускающіяся лиліи—дѣвичьи груди.

— Надо лампу,—торопливо говоритъ она, и мнѣ слышатся едва уловимыя гнѣвные нотки. Мнѣ такъ неловко за случайно родившуюся слишкомъ интимную ласку.

Встаю, зажигаю свѣтъ и спѣшу показать журналъ и книги. Ея лицо, еще залитое румянцемъ стыда, сразу веселѣетъ, въ глазахъ быстрыхъ искорки.

— Милое солнышко—не сердись. Вотъ подарокъ тебѣ—любимый твой Панъ. Смотри, въ какомъ красивомъ зеленомъ лѣсномъ переплетѣ. Хорошо?

Солнышко смѣется. Вспоминаетъ о цвѣтахъ. Бѣжитъ... Ахъ, они бѣдные. Имъ надо воды скорѣй, скорѣй.

Торопимся. Проливаемъ воду изъ графина на коверъ и любимся тремя алыми розами. Она подходитъ къ піанино, беретъ нѣсколько гордыхъ, стройныхъ аккордовъ, говоритъ: слушай стихи, и тихо аккомпанируя, гибкимъ, неокрѣпнувшимъ голосомъ мело-декламируетъ.

Въ амфорахъ нѣтъ вина. Вербены оцвѣтаютъ.
Веселый первый лучъ дробится по горамъ.
Въ долинахъ и лѣсахъ туманы быстро таютъ.
Пусти меня скорѣй. Я тороплюсь во храмъ.

У мраморныхъ колоннъ на жертвенникѣ бѣдомъ
Богинѣ принесу святую голубицу.
Я ночью вся твоя—и мыслями, и тѣломъ,
А днемъ не смѣю ласкать таинственную жрицу.

Въ окно смѣется день, лазурью голубѣя.
У мраморныхъ колоннъ зажгу я фимиамъ;
Коснется ночь земли—опять приду къ тебѣ я,
Пусти меня скорѣй. Я тороплюсь во храмъ.

Еще нѣсколько сильныхъ аккордовъ и широкій торжественный конецъ.

Что это? Хорошо, очень хорошо.

— Это стихи моей подружки Зины Врублевской.
Она поэтъ, красавица, смѣлая во всемъ, декадентка.
Хочешь, познакомлю?

Спрашиваетъ тревожно.

— О нѣтъ, зачѣмъ?—говорю я.

Ушла. Сиж у камина, потушилъ лампу.

„Въ амфорахъ нѣтъ вина. Вербены оцвѣтаютъ“, невольно повторяю я. Начнетъ таять снѣгъ и я уйду къ другой, повинуюсь власти тѣла.

Милая вѣточка. Я не разобью твоего хрустального прозрачнаго сосуда. Кто эта Зина Врублевская?

А вѣточка гибкая, свѣжая скользить по улицѣ среди чужихъ людей, такихъ же злыхъ и развратныхъ, какъ я.

Н. ПОЯРКОВЪ.



НА КАЧЕЛЯХЪ.

Подымаюсь, опускаюсь,
Свѣжихъ листиковъ касаюсь
Пламеннымъ лицомъ.
Приближаюсь, удаляюсь,
Я качаюсь, я качаюсь
Въ голубомъ!

Вижу тучекъ пышный локонъ,
Стройный контуръ дальнихъ оконъ,
Море красокъ—лугъ!
Вѣтеръ въ уши мягко дуетъ
И съ испугомъ вдругъ цѣлуетъ
Шею жукъ.

Выше, выше, въ голубое!
На роскошно-снѣговое
Облачко лечу.
Бѣлымъ завиткомъ играю,
Въ синихъ взорахъ замираю,
Хохочу!

ЛЮБОВЬ СТОЛИЦА.



Ея волосы....

„Ея волосы—пепель розовый и пышный на жертвенникъ.

„Нѣжный лобъ—легкій сводъ надъ пещерами сѣрыхъ глазъ. Страшны свѣтлыя воды! И тяжекъ, и ярокъ мѣткій взоръ.

„Полонъ и мягокъ плодъ ея губъ, но неумолима ласковая улыбка. И, какъ красный сокъ ободраннаго граната, пробѣжала кровь подъ тонкую кожу.

„Смерть и жизнь въ пьяномъ сокѣ розоваго плода ея влажныхъ губъ. Фіаль сокровенный моей безумной любви.

„Какъ подспудный жаръ въ тонкомъ алавастрѣ тлѣющихъ углей, просвѣтилась кровь сквозь нѣжные лепестки ея щекъ.

„Радостно, уже нѣжа, склоняются склоны ея плечъ.

„Покорно выгнулся и стойко зыбкій стебель ея шеи.

„Какъ гроздья золотого винограда и на нихъ упавшіе два лепестка блѣдно-алой розы—ея молодая ровная груди, высоко поднятая любовью, какъ къ солнцу впередъ притянулись.

„Ея тѣло, блѣдное, солнцемъ пронизанное сердце чайной розы, и зыбкое и сильное, какъ высокій вскинувшійся, выгнувшійся тонкій валъ“...

Л. ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛЬ.



ДѢДУШКА.

Г о л о с ъ. Дымитъ каминъ.
Въ розовомъ свѣтѣ
Рядъ запыленныхъ картинъ.

Дѣ д у ш к а. Слушайте, дѣти!
Вездѣ была тоска....

Г о л о с ъ. Кто-то плачетъ, дрожить....
Подъ напоромъ вѣтра доска
О заборъ стучить.

Дѣ д у ш к а. Въ небѣ горѣла звѣзда,
Красна, какъ огонь.
Зачѣмъ вы дрожите всегда?!
Дѣтей не тронь!
Возвышался рядъ могилъ,
И чернѣли онѣ.
Кто-то лампы гасилъ.
Голубые горѣли огни.

М а м а. На креслѣ старый дѣдъ
Лепечетъ въ ночной тишинѣ.
Онъ видѣлъ десятки лѣтъ:
Ихъ вновь проживаетъ во снѣ.

Г о л о с ъ. Подъ напоромъ вѣтра доска
Объ заборъ стучить.
Стукнула чья-то рука!

Дѣ т и. Дѣдушка! Дѣдушка спать?!...

Г о л о с ъ. Завылъ подъ окнами песъ.
Холодный вѣтеръ пошелъ.
Кто-то что-то унесъ!
Кто-то кого-то увелъ!...

А. Л. МИРОПОЛЬСКИЙ.





Они почували.

Маленькая драма въ трехъ дѣйствіяхъ.

ШАРЛЯ ВАНЪ ЛЕРБЕРГА.

Морису Метерлинку.

Въ оркестръ похоронный маршъ. Глухая барабанная дробь. Звукъ рога вдалекѣ. Барабанная дробь. Короткій церковный мотивъ въ органѣ. Многократные и глухіе удары. Поднимается занавѣсъ.

Сцена представляетъ комнату очень бѣдной хижины. Направо стоитъ прислоненная къ стѣнѣ большая кровать съ балдахиномъ и занавѣсками изъ черной саржи. Въ серединѣ задней стѣны дверь; налѣво окно съ опущенной шторой. Около кровати маленькій столикъ; на немъ Распятіе, среди двухъ зажженныхъ свѣчей желтаго воска.

Бурная ночь. Дождь хлещетъ въ стекла. Издалека доносится свистъ вѣтра среди деревьевъ и лай собаки. При поднятіи занавѣсы сцена кажется пустой, и она освѣщена только двумя мерцающими восковыми свѣчами. Снова слышны удары въ дверь. Молодая дѣвушка стремительно встаетъ съ кровати, выражая ужасъ всѣми своими движеніями. Она полуодѣта, въ рубашкѣ, съ распущенными бѣлокурыми волосами.

ДѢЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Дочь. Кто тамъ?

Голосъ снаружи. Я.

Дочь. Кто вы?

Голосъ. Я!

Дочь. Это не имя. Кто вы?

Голосъ. Ахъ! но... Я человѣкъ, вы это прекрасно знаете.

Дочь. Я никого не жду.

Голосъ съ кровати. Дочка, что это за шумъ?

Дочь. Матушка, это вѣтеръ.—Вы пришли ко мнѣ?

Голосъ. Разумѣется, не къ вамъ, крошка, разумѣется, не къ вамъ.

Мать. Нѣтъ, правда, я слышу что-то.

Дочь. Если вы не скажете вашего имени, я не отворю.

Голосъ. Но... но... этого нельзя сказать. Я человѣкъ съ водою.

Дочь. Человѣкъ съ водой?

Голосъ. Ну, да. Послушайте!

Слышно бульканье выливаемой воды.

Мать. Дочка, я слышу воду. Я слышу, что-то льется.

Дочь. Человѣкъ съ водой?

Голосъ. Ну, да, и съ губкой.

Дочь. Съ губкой?.. Мнѣ ничего этого не надо.

Голосъ. Простите, крошка, простите... Это для того, чтобы обмыть.

Мать. Кто это, дочка?

Дочь. Матушка... это... нищій... нищій просить милостыню.

Мать. А-а! Ну такъ подай ему. Вѣднѣкъ! Пусть онъ войдетъ и отдохнетъ. Въ такую ночь! Ахъ, Боже мой!

Стукъ въ дверь.

Дочь. Нѣтъ!—Матушка, я боюсь, мало ли кто можетъ прийти.

Мать. Это не хорошо, что ты говоришь, это не хорошо, нужно ему открыть дверь; дай ему хлѣба.

Стукъ въ дверь.

Дочь. Нѣтъ!—Я боюсь тѣхъ, кто приходитъ ночью, матушка; быть можетъ, это воръ.

М а т ь. Дочка, нужно открыть, слышишь ты, нужно открыть! Кто тамъ? улыбаясь. Ахъ! мать хорошо знаетъ, кто это, дочка. Она знаетъ этотъ звукъ.

Стукъ въ дверь.

Д о ч ь встревоженная. Ты знаешь, кто это?

М а т ь. А какъ же? Кому же это быть, какъ не нашему доброму Господину. Онъ охотится ночью. И вотъ онъ захотѣлъ ѣсть и пить, онъ усталъ. Открой ему, дочка, открой ему поскорѣй. Я слышу топотъ его черныхъ коней!

Лошадиный топотъ въ отдаленіи.

Д о ч ь. Что это за шумъ, вы не одни?

Г о л о с ь. Разумѣется, я одинъ! и нѣтъ никакого шума... Ахъ, да... можетъ быть, правда, тамъ внизу... Это отъ тѣхъ, кто идетъ за мной... Но откройте же.

Стукъ въ дверь.

Д о ч ь. Уходите!

Г о л о с ь. Такъ вы не хотите открыть?

Д о ч ь. Я никогда не открою.

Г о л о с ь. Ну, хорошо, я подожду.

М а т ь. Всѣ говорятъ, дочка: завтра, завтра; да, но еще, еще кто тамъ? Онъ хочетъ ждать? То, чего не знаетъ одинъ, то знаетъ другой, чего не видитъ одинъ, то видитъ другой, и это великій грѣхъ и неразуміе... Дочка, такъ онъ ушелъ, что я не слышу его больше?

Д о ч ь смотря на дверь. Да, мать... да... да... онъ ушелъ.

М а т ь. А! Да хранить его Господь и Святая Дѣва!.. Что за погода тамъ, снаружи.. Поди сюда, дочка, помолимся за него, за этого бѣдняка среди ночи, прочтемъ Отче Нашъ и тройную молитву. Поверни немножко крестъ ко мнѣ, вотъ такъ... такъ.

Слышно, какъ двѣ женщины шепчутъ молитвы, слышенъ шелестъ ветокъ въ рукахъ старухи. Дождь хлещетъ въ окна.

Медленно бѣетъ десять часовъ.

Слышно, какъ лаетъ собака. Дочъ задуваетъ свѣчи. На сценѣ темнота.

ДѢЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Звукъ рога вдалекѣ. Барабанная дробь. Органъ. Многократные удары. Свѣчи опять зажжены, и видно, какъ молодая дѣвушка стоитъ у кровати, неподвижная, въ позѣ ожиданія, съ лицомъ, обращеннымъ къ двери.

Стукъ въ дверь.

Дочь стремительно бросаясь къ двери. Ахъ замолчите же, замолчите! Мать спитъ теперь.

Стукъ въ дверь.

Голосъ снаружи. Это мнѣ все равно!

Дочь. Вы сказали, что вы подождете.

Голосъ со взрывами смѣха. Я? Я только что пришелъ!

Дочь. Что? А развѣ это не вы только что были здѣсь?

Голосъ. Конечно, не я.

Мать. Дочка, я слышу шумъ.

Дочь по направленію къ двери. Это неправда.

Голосъ. Вотъ еще что!

Мать. Дочка, я слышу, что-то шевелится.

Дочь. Кто же вы?

Голосъ. Но...

Мать. Да, тамъ есть что-то, да!..

Дочь. Я никого не жду.

Мать прислушиваясь. Да, да, что-то тамъ трется, тамъ вотъ, тамъ, подъ дверью; конечно, что-то тамъ ползетъ. Что это тамъ, дочка?

Дочь. Это ночная птица, матушка. Кто же вы?

Голосъ. Но... я человѣкъ съ бѣльемъ.

Дочь. Человѣкъ съ бѣльемъ?

Голосъ. Да.

Мать. Но, нѣтъ, дочка, но, нѣтъ, я слышу, кто-то говорить. Кто это тамъ, это не твой голосъ, не твой; но нѣтъ, тамъ кто-то есть! Кто тамъ, дочка?

Дочь. Матушка, я же говорю тебѣ, что тамъ ничего нѣтъ.

Мать. Да, да, тамъ кто-то есть.

- Стукъ въ дверь.

Ты слышишь? Стучать въ дверь. Кто тамъ? Спроси, кто тамъ.

Дочь. Матушка, это человекъ, который заблудился и спрашиваетъ, какъ ему пройти.

Мать. Ахъ, сохрани его Господь! Въ такую ночь, ахъ Боже мой! Открой ему поскорѣй, дочка, этому бѣдняку, пусть онъ отдохнетъ и поѣстъ немножко. Ахъ, Боже мой! Послушай.

Стукъ въ дверь.

Ахъ! нужно ему открыть! Это, дочка, долгъ милосердія. Пойди.

Дочь. Матушка, я боюсь, это ужъ второй разъ, мало ли кто можетъ прійти.

Мать. Не бойся, дочка, это доброе дѣло, и слѣдуетъ дѣлать добрыя дѣла.

Стукъ въ дверь.

Дочь по направленію къ двери. Нѣтъ!

Мать. Ты не слышишь лошадей?

Дочь. Что это за шумъ?

Голосъ. Нѣтъ никакого шума... Ахъ! тамъ внизу... Я не знаю, нѣтъ, это отъ тѣхъ, что тамъ идутъ.

Мать. Но, дочка, послушай, что-то трется тамъ, подъ дверью.

Дочь быстро. Это дождь бьетъ въ дверь, матушка.

Стукъ въ дверь.

Нѣтъ!

Мать. Но, нѣтъ, твоя мать не глуха, она слышитъ, какъ трава растетъ. Это шумъ отъ чего-то, что волочится, ахъ, да, теперь я знаю, да! Это прекрасная Госпожа наша изъ замка, что тамъ, прекрасная Госпожа на лошади; она пришла! Вѣдь она обѣщала? Да, да, конечно, дочка, это она, я очень хорошо слышу, это она, открой ей поскорѣй!

Стукъ въ дверь.

Дочь по направленію къ двери. Нѣтъ! Приблизившись къ своей матери и взявъ ее за руки. Ахъ, матушка, я боюсь тѣхъ, кто приходитъ ночью.

Мать послѣ нѣкотораго молчанія и смотря ей въ глаза. Почему, дочка? Христосъ съ нами.

Дочь. Ахъ! матушка, что съ тобою, ты такъ дрожишь?

Мать. Это я отъ радости, дочка, что Она тамъ.

Стукъ въ дверь.

Дочь. Я не открою!

Голосъ. А! Чортъ побери!

Мать. Это приходитъ къ намъ желанная гостья.

Дочь. Не дрожи такъ, матушка.

Мать прерывающимся голосомъ. Но это плохо, это, охъ, охъ! охъ! это плохо... это, не къ добру, охъ, охъ!.. я говорила тебѣ, что нужно... открыты! охъ! что нужно от...крыты! открыты!

Стукъ въ дверь.

Голосъ. Такъ значитъ, вы не хотите открыть?

Дочь. Нѣтъ! уходите.—О! что съ тобой, матушка, у тебя руки совсѣмъ холодныя?

Голосъ. Ну, хорошо, я подожду!

Дочь. Я никогда не открою.

Голосъ. Ну, это мы еще посмотримъ.

Дочь. О! матушка, ты...

Мать задыхаясь и кашляя. Дочка, я видѣла прекрасный сонъ, охъ! подними немножко подушку... да! прекрасный сонъ! Я была въ раю... кашляя и въ саду... кашель всѣ ангелы дѣлая двумя руками жестъ, какъ будто она собирается танцевать... танцовали! напѣвая я со Святой Дѣвой... все время изображая жестами, прежде чѣмъ сказать я танцевала... посреди; кашель праздникъ, прекрасный праздникъ, охъ! охъ! охъ! Она дѣлаетъ страшныя усилія, чтобы подняться.

Дочь удерживая ее и стирая потъ съ ея лица. Мать! о, матушка!

Мать. Среди райскихъ цвѣтовъ... кашель--послѣ нѣкотораго молчанія и перехода на другое. Развѣ она удалилась, что я ее не слышу больше?

Дочь глядя на дверь. Да, мать, да... да... Онъ ушелъ.

М а т ь. Да хранить ее Господь своимъ свя-
тымъ воинствомъ.

Д о ч ь. Да, матушка, я помолюсь за него.

М а т ь позволяя себя уложить, медленно. Да... нужно
молиться за Нее... нужно молиться за Нее глубокой
вдохъ молиться Святой Дѣвѣ Маріи въ ея обители.
Кашель. Прочтемъ Отче Нашъ и троякую молитву.
Подвинь немного Распятіе, я что-то его плохо вижу.
Да, вотъ такъ, да.

Слышно, какъ онѣ шепчутъ молитвы. Еще слышенъ
телестъ четокъ и кашель. Шумить дождь, бьющій въ стекла.

Медленно бѣетъ одиннадцать часовъ.

Слышно, какъ лаетъ собака. Дочь задуваетъ свѣчи. На
сценѣ темнота.

ДѢЙСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Барабанная дробь. Звукъ рога вдалекѣ. Мотивъ въ ор-
ганѣ. Усиленный стукъ въ дверь. Въ полной темнотѣ.

Д о ч ь. Ахъ! Боже мой! ахъ, Боже мой! Замол-
чите же вы! Какой ужасъ, моя мать умереть отъ
страха!

Стукъ въ дверь.

Г о л о с ь снаружи. Вотъ и я!

Д о ч ь. Но умоляю васъ, замолчите, умоляю
васъ, о, Боже мой!

Г о л о с ь. Ну, чего тамъ! Вотъ и я здѣсь!

Стукъ въ дверь.

Д о ч ь. Но чего же вамъ нужно?

Г о л о с ь. Чего? войти!

Стукъ въ дверь.

Д о ч ь. Вѣдь вы мнѣ обѣщали подождать до
утра!

Г о л о с ь раздражаясь смѣхомъ. Ахъ, скажите,
пожалуйста! Я только что пришелъ! Не правда ли,
эй, вы?

М а т ь. Дочка, зажги свѣчу.

Свѣтъ.

Д о ч ь. Это неправда!

Г о л о с ъ. Ахъ! чортъ побери! Что вы, смѣ-
тесь, что-ль, здѣсь надо мной?

М а т ь. Дочка, зажги и другую свѣчу, вѣдь
Она тамъ пришла.

Свѣтъ усиливается.

Г о л о с ъ. Что же вы не впустите меня къ
себѣ?

Д о ч ь. Мнѣ васъ не нужно.

Г о л о с ъ. Хорошо, хорошо; каждому свой че-
редъ! Я тутъ вовсе и не для васъ пришла, вотъ
оно что!

М а т ь осматривая печально комнату. Мой домъ
недостойнъ принять ее.

Г о л о с ъ. А! вотъ какъ! Отворите вы мнѣ,
наконецъ, или я вышибу дверь?

М а т ь. Но, дочка... подними занавѣску... и впу-
сти солнышко... такъ все-таки будетъ немного
лучше здѣсь. Раскрывая руки радостнымъ жестомъ.
Пусть все будетъ, какъ въ праздникъ, вѣдь Она
сейчасъ войдетъ.

Д о ч ь. Хорошо, матушка. Она поднимаетъ штору.
Освѣщенное окно, тѣнь похоронныхъ дрогъ на стѣнѣ.

М а т ь. Что это за тѣнь?

Д о ч ь. Ахъ!..

Она быстро опускаетъ занавѣску.

М а т ь. Дочка, возьми святой воды.

Д о ч ь беря крзпильницу и кропило и обращаясь къ
двери. Нѣтъ! Кто же вы?

Г о л о с ъ. Но, чортъ побери! Человѣкъ... съ
этой вещью...

Д о ч ь кропя направо, налѣво, передъ собою и на
дверь. При каждомъ ея шагѣ глухой стукъ въ дверь; мать
крестится. Послѣ нѣкотораго молчанія. Съ какой вещью?

Г о л о с ъ. Я человѣкъ съ гробомъ, да!

Д о ч ь испуская крикъ. Ахъ! человѣкъ...

Г о л о с ъ. Да, да, быть можетъ, меня не ждали?

М а т ь задыхающимся голосомъ. Открой ей дверь,
дочка. Она можетъ войти.

Д о ч ь. Матушка, это не госпожа... это... кто-
то... спасается отъ преслѣдованія и ищетъ убѣжища.

М а т ь хриплымъ голосомъ. Открой Ей, поскорѣе, дочка, охъ! охъ! открой... Ей поскорѣе, поскорѣе, охъ! охъ! Она—желанная гостья. Охъ, воды, дай мнѣ воды!

Г о л о с ь. Чортъ возьми, какая это тяжесть!

Стукъ въ дверь.

М а т ь. Ахъ, я задыхаюсь, дочка... гдѣ Распятіе?.. я его уже не вижу больше, да, да, нужно Ей отворить дверь.

Г о л о с ь. Такъ онъ весь намокнетъ.

Стукъ въ дверь.

М а т ь. Поди, накрой на столъ... постели самую хорошую скатерть. Ударяя себя въ грудь. Вотъ здѣсь, вотъ какъ разъ здѣсь! Хриплымъ голосомъ. О-о... поди, поди, нарви цвѣточковъ, да... Она тамъ... открой же Ей.

Неистовые удары въ дверь.

Г о л о с ь. Приходится выломать двери!

М а т ь. Да, тамъ, я Ее вижу, я Ее узнаю, о, прекрасная Госпожа наша.

Новые удары въ дверь.

Г о л о с ь. Ну, чего же вы тамъ, эй, вы?

Голоса на улицѣ.

М а т ь хриплымъ голосомъ. Прекрасная Госпожа наша... у меня передъ глазами, видишь ты теперь двери... ихъ уже нѣтъ. Открой.

Удары въ дверь. Слышно, какъ дверь трещить.

Да, у ней что-то тамъ есть, что-то тамъ на плечѣ.

Она крестится.

Д о ч ь. Охъ, матушка!

Г о л о с ь. Коль это нужно, такъ вотъ вамъ!

Удары въ дверь и трескъ.

Д о ч ь. Уходите, уходите же, кто бы вы тамъ ни были! Уходите, говорю вамъ, я не открою двери, говорю я вамъ, никогда, никогда, никогда! Вы при-

шли, что ль, убить мою мать, да? Трескъ. Вы, что ль, принесли намъ съ собою смерть, да? Ахъ, Боже мой! Но что же я вамъ такого сдѣлала? Ахъ, Боже мой! Ахъ, Боже мой!

Удары и трескъ. Она падаетъ на колѣни передъ дверью, рыдая.

Мать дѣлая невѣроятныя усилія, чтобы подняться. Войдите, прекрасная Госпожа наша, день насталь, и я готова.

Дочь на колѣняхъ и съ поднятыми руками. О! о! я боюсь, перестаньте, молю васъ! мы—бѣдныя женщины. У насъ ничего нѣтъ. Моя мать больна. Вѣдь не за нами вы пришли, не правда ли? Вы—не злодѣи. Я вамъ открою дверь, но скажите, вѣдь у васъ есть состраданіе, не правда ли? Вы не хотите смерти моей бѣдной матери?.. Удары и трескъ усиливаются. Горячій споръ снаружи. Старуха начинаетъ хрипѣть ужаснымъ образомъ. Молодая дѣвушка бросается на колѣни передъ кроватью своей матери. Ахъ, матушка, успокойся же, что съ тобой, не хрипи такъ, я умираю отъ страха, я у ногъ твоихъ, рядомъ съ тобой! матушка, посмотри, посмотри на меня, это я, твой ангелочекъ! почему ты мнѣ больше ужъ не отвѣчаешь?

Мать. Кто ты, ангелочекъ?

Голосъ. Пора! Пора!

Страшные удары и трескъ.

Дочь продолжая стоять на колѣняхъ, у кровати. Но вы не войдете, ни вы, ни другіе!

Голосъ. Посмотримъ!

Усиленные удары. Кусочекъ дерева отскакиваетъ отъ внутренней стороны двери и падаетъ въ комнату. Въ продолженіе всего слѣдующаго снаружи происходитъ споръ.

Дочь. О, матушка, какъ ты дрожишь, руки у тебя, какъ ледъ, не бойся, посмотри, тебя охраняетъ твой дорогой ангелочекъ, не бойся, они не сдѣлаютъ тебѣ ничего дурного, развѣ ты меня уже не узнаешь? О, не смотри на меня такъ, твоимъ

неподвижнымъ взоромъ, матушка, я боюсь теперь тебя!

Слышно ржаніе лошадей.

М а т ь улыбаясь и прижимая дочь къ своей груди, въ то время какъ правой рукой она показываетъ на дверь, Это карета!

Грохотъ тяжелой кареты, которая останавливается у двери. Свѣтъ мелькаетъ мимо дверной щели. Шумный споръ. Слышны отрывки фразъ, попеременно съ ругательствами:

„Что такое? Что такое? Не хотятъ отворить?“

„Дверь закрыта. О, та-та-та!.. Гдѣ же онъ? Нужно вышибить дверь!“

„Совсѣмъ мокрый! Это трупъ! Это трупъ!“

Новый натискъ на дверь съ усиленными ударами.

М а т ь которая слушала все это съ открытымъ отъ удивленія ртомъ. Святая Дѣва Марія!

Д о ч ь. Матушка, это я тебя обнимаю, посмотри и благослови меня! Матушка, ты въ моихъ объятіяхъ, о, посмотри на меня, посмотри же!

Неистовый шумъ снаружи. Дверь подъ напоромъ подается. Дочь бросается на дверь и отталкиваетъ ее назадъ своими руками. Борьба. Ужасная суматоха.

М е д л е н н о б ѣ т е т ь п о л н о ч ь .

В с ѣ г о л о с а с н а р у ж и , с ѣ о б л е г ч е н і е м ѣ . А х ѣ ! .

При послѣднемъ ударѣ полночи старуха испускаетъ страшный хриплый крикъ, и молодая дѣвушка бросается отъ двери, въ отчаяніи, къ кровати съ расprostертыми руками, въ то время какъ дверь, уступая напору, падаетъ за ней вслѣдъ съ грохотомъ и гаситъ обѣ свѣчи сильнымъ холоднымъ дуновеніемъ.

З А Н А В Ѣ С Ъ .

ПЕРЕВ. С. А. ПОЛЯКОВЪ.



Межь нивъ.

Почиваютъ золотыя,
Благодатныя, святыя
Нивы вдоль пути.
Только небо все да нивы...
Чась смиренный, сиротливый!
Время спать идти.

Тихо мы бредемъ до дому
И ввѣряемся сѣдому
Морю спѣлыхъ нивъ.
Убаюкиваетъ съ лаской
Зыбь ихъ, думной, сизой краской
Боль угомонивъ.

Тамъ овецъ плетется стадо
Въ хлѣвъ свой: дома лишь отрада!
По угламъ—пора.
Минуль чась дневного пыла:
Солнце, просіявши, скрыло
Свѣтъ свой до утра.

Утро... о разсвѣтъ волшебный!
Назѣвайте сонъ цѣлебный,
Волны нивъ, на насъ,
И про утро намъ шепчите,
И въ гнѣздѣ насъ заключите
Въ этотъ тихій чась.

Лейте миръ и упованье,
Такъ что съ солнцемъ разставанье
Силь въ насъ не убьетъ.
Дремля на яву, кончаемъ
Жизнь, и лишь разсвѣта чаемъ.
Такъ нашъ духъ поетъ.

ИВАНЪ КОНЕВСКИЙ.





Иванъ Рукавишниковъ.

* * *

Плачуть пѣсни, плачуть рѣчи
Такъ торжественно, такъ строго.
Кто, рабы, скользя, какъ тѣни,
Строятъ мѣдныя ступени?
И все стонуть, плачуть, стонуть
Такъ торжественно, такъ строго?
Мы, несчастные предтечи,
Мы, смиренные предтечи
Гордеца—счастливица—бога.
Наше счастье—лишь несчастье.
Наша гордость—лишь смиренье.
Наши души въ Смерти тонуть.
Наши души въ Страхѣ тонуть.
Стонуть.

Наша гордость—лишь смиренье.
Наше счастье—лишь несчастье.
Наша радость—лишь тоска.
Почему не умираемъ,
Скорбь бросаемъ
Въ высь, въ вѣка?
Чуемъ вѣщее движенье,
Приближенье
Двойника.
И рабы, скользя, какъ тѣни,
Строимъ, строимъ мы ступени,
Строимъ мѣдныя ступени
На Землѣ.
Строимъ выше. Строимъ выше...
Безъ жилья, безъ стѣнъ, безъ крыши
Столбъ поставимъ на Землѣ.
Вьются мѣдныя ступени.
Крѣпче, выше нѣтъ столба.
Строять тѣни, стонуть тѣни,
А хозяинъ ихъ Судьба.

ИВАНЪ РУКАВИШНИКОВЪ.



* * *

Завершается столѣтіе
Богоборства моего,
Мнѣ пропѣли многолѣтіе
Богъ и ангелы его.

Что мнѣ дѣлать съ вѣчной славой?
И кому мнѣ жизнь продать?
Позабавимся, Лукавый!
Хочешь храмъ мой раскидать?

Скатимъ камни, громъ таящіе,
Скатимъ камни съ вышины.

Эй! ловите, люди спящіе!
Люди мертвой стороны!

За столѣтіемъ столѣтіе
Камни храма моего
Будутъ пѣть мнѣ многолѣтіе...
Гдѣ былъ храмъ, тамъ—ничего.

Что мнѣ дѣлать съ божьей славой?
Божій храмъ... Что дѣлать съ нимъ?
Храмъ разрушимъ, бѣсъ лукавый!
Славу людямъ продадимъ.

ИВАНЪ РУКАВИШНИКОВЪ.



Откосъ.

Снова пыльные бурьяны
Закачались, замотались,
Вѣтромъ пьяны.
Снова прежняя дорога,
И тоска моя тревога
Снова прежняя,
Снова кажется неволя
Неизбѣжнѣе.
Вамъ ли, пьяные бурьяны,
Лиловоголовые,
Я открою мои раны;
Раны новыя?
Иль тебѣ, мой путь убогій,
Колен, какъ гробъ глубокія,
Проторенныя дороги
Одинокія?
Ни дорогамъ протореннымъ,
Ни бурьянамъ придорожнымъ

Не узнать имъ о тревожномъ,
Непреложномъ, невозможномъ,
Не узнать имъ о бездонномъ.
Снова свѣтель я тоскуя,
Снова мѣръ мнѣ тѣсенъ, тѣсенъ,
И съ тревогой свѣтлой жду я
Новыхъ ранъ и новыхъ пѣсенъ.

Расцвѣтають пѣсни-раны,
Расцвѣтають пѣсни-стоны,
Пролетають ураганы,
Слышу клики, слышу звоны,
Слышу буйные набаты,—
Здравствуй, мѣръ, огнемъ объятый,
Здравствуй, недругъ, мной сраженный,
Здравствуй, мѣръ освобожденный.

Эй, вы, пьяные бурьяны,
Буйноголовые,
Вы моею пѣсней пьяны,
Моей раной-пѣсней новою.
Ты, дорога, не нужна мнѣ,
Безъ пути и безъ дороги
Смѣло въ тѣму шагаютъ ноги
Подъ откосъ, на остры камни.

Колыхайтесь, океаны,
Вейся, хаосъ, пылью пряной,
Искожу я кровью рдяной,
Кровью рдяной.

КОНСТ. ЭРБЕРГЪ.





ЭПИТАФИЯ.

К. ТЕТМАЙЕРА.

Здѣсь лежить та, которая жила для любви и любила счастье.

Посадите розы на моей могилѣ, ибо жизнь моя цвѣла, и я увяла, какъ цвѣтокъ.

Спокойная схожу я въ Аидъ и ни о чемъ не жалѣю, ибо познала жизнь и была, какъ облако, пронизанное солнцемъ, или какъ радужный кругъ на водѣ.

Посадите, о, жители Афинъ, розы не моей могилѣ, цвѣтушія ароматныя розы, ибо часы моихъ дней и ночей падали въ вѣчность, какъ розовые лепестки съ вѣнчика, чистые и благоуханные.

Когда на розахъ заблеститъ утренняя роса, знайте, это очи мои плачутъ слезами радости; когда засверкаетъ вечерняя—то слезы сладкихъ воспоминаній. Ибо жизнь моя цвѣла и увяла, какъ цвѣтъ,—иныхъ слезъ я не знала.

О вѣчная, безсмертная Киприда, со стройными
бедрами и волшебнымъ поясомъ, противъ чаръ ко-
торого не устоять никому, богиня, сильнѣйшая смер-
ти, сдѣлай такъ, чтобы моя жажда любви не со-
шла со мною въ сѣнь смертную, но наполнила мѣръ,
какъ теплый, душистый паръ наполняетъ воздухъ
послѣ весенняго дождя, хоть и высохшаго. Сладко
будетъ мнѣ тамъ, надъ Ахерономъ, грезить, что я
умножила счастье на свѣтѣ.

ПЕР. Ж. З.



* * *

Если розы тихо осыпаются,
Если звѣзды меркнуть въ небесахъ,
Объ утесы волны разбиваются,
Гаснетъ лучъ зари на облакахъ,—

Это смерть,—но безъ борьбы мучительной;
Это смерть, плѣняя красотой,
Объясняетъ отдыхъ упоительный,—
Лучшій даръ природы всеблагой.

У нея, наставницы божественной,
Научитесь, люди, умирать,
Чтобъ съ улыбкой кроткой и торжественной
Свой конецъ безропотно встрѣчать.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ.



* * *

Мы встрѣтились рано,
Едва лишь заря
Ночного тумана
Разсѣкла моря,

Едва лишь въ сторожкѣ
Фонарикъ потухъ,
Въ саду на дорожкѣ
Распѣлся пѣтухъ,

И въ сладкой истомѣ
Опомнившись вдругъ,
Въ хлѣву на соломѣ
Проснулся пастухъ.

Я несъ съ собой ночи
Уютъ и тепло,
И сонныя очи
Слѣпило и жгло;

И втайнѣ послушный
Обманчивой мглѣ,
Твой взглядъ равнодушный
Скользилъ по землѣ.

Ничто въ мигъ досуга
Не сблизило насъ;
Лишь души другъ друга
Признали тотчасъ;

Въ короткомъ сближеньѣ,
— Призывъ и порывъ, —
Слились на мгновенье
Другъ друга вмѣстивъ...

Мигъ встрѣчи былъ кратокъ,
Но вѣчно живой
Въ душѣ отпечатокъ
Хранится другой,

Хранится годами,
И встрѣчу съ тобой
Забыль я очами,
Но помню душой.

СЕРГѢЙ РАФАЛОВИЧЪ.



КАШЕЛЬ.

Маленькій, съ злобными искрами-глазками,
Съ множествомъ хвостиковъ, съ шерстью густой,
Грудь надрывая мнѣ дикими встрясками,
Кашель сидитъ во мнѣ злой...

Гулко по легкимъ моимъ онъ катается,
Ни на минуту не дастъ отдохнуть,—
Хвостикомъ, шерстью за кожу цѣпляется,
Рветъ и щекочетъ мнѣ грудь...

Часто бываетъ,— удержишь дыханіе,
Силы собравши,— не дышешь,— молчишь,
Думаешь, вотъ прекратятся страданія,
Ляжешь измученный... кажется, спишь...

Тихо неслышнымъ ползкомъ онъ подкрадется,
Выберетъ мѣсто себѣ побольнѣй,—
Да какъ вопьется, забьется, закатится,
Клочья рветъ злобно изъ груди моей...

Вотъ и теперь, слышу, какъ пробирается,
Тихо щекочетъ, царапаетъ грудь...
Мука проклятая вновь начинается...
Кашляю снова... нѣтъ мочи вздохнуть...

.....

МИХАИЛЪ ГАЛЪПЕРИНЪ.





Александръ Рославлевъ.

Въ башнѣ.

Надъ моремъ и городомъ въ башнѣ живу.
Я пѣсни пою одиноко.
Тамъ волны, тамъ люди, какъ сонъ наяву,
Его я извѣдалъ до боли глубоко.

Отсюда виднѣе мнѣ зори востока,
Своими сосѣдями птицъ я зову,
И радъ, что давно и высоко
Надъ моремъ и городомъ въ башнѣ живу.

А. РОСЛАВЛЕВЪ.

Ложь.

Заперть я двери и все отошло:
Улица, женщины, свѣтъ и огни.
Дьяволъ раздумья, смѣющийся зло,
Дьяволъ раздумья, мы снова одни!

Мысль, какъ умѣлый отточенный ножъ.
Жизнь эту, мертвую, весело вскрыть,
Сердце ея—неизбывную ложь,—
Весело сердце ея обнажить.

Свѣтлый ребенокъ о Богѣ спросилъ:
„Гдѣ онъ?“ и я отвѣчалъ: „въ небесахъ“,
Зная весь ужасъ и холодъ могилъ,
Зная предсмертный, мучительный страхъ.

Женщинѣ-сказкѣ, лазурной мечтѣ,
Клялся я вѣчностью, солнцемъ, душой,
Зная, что завтра же, гадъ въ темнотѣ,
Этой пресытятся, я буду съ другой.

Съ крикомъ: „Свобода“, въ пыли баррикадъ,
Слѣпо ступая на трупы и въ кровь,
Въ сердцахъ твердилъ я, безпечень и радъ:
„Было не разъ и не разъ будетъ вновь“.

Ложь многоликая, пестрая ложь
Пляшетъ, дохочетъ, рыдаетъ, клянеть,
Каждый на вздорную куклу похожъ,
Въ каждомъ пружинка и хитрый заводъ.

Кто-то завелъ и забылъ навсегда.
Вѣчно, безцѣльно,—впередъ и назадъ,
Эти сломались, другимъ череда,
Повко придумано: „жизнь автоматъ“...

Ложь двухсторонняя, цѣльная ложь,
Маска подъ маской—и такъ безъ конца,
Тщетно, безумецъ: ихъ всѣ не сорвешь.
Если бъ сорвалъ,—не увидишь лица...

Лгите же смѣло, уставшіе жить,
Каждый солгалъ уже тѣмъ, что живетъ...
Правды не выдумать, лжи не убить,
—Рыцарь мой добрый, слѣпой Донъ Кихотъ!

АЛЕКСАНДРЪ РОСЛАВЛЕВЪ.



* * *

ИЗЪ УОТА УИТМАНА.

„О, капли меня! медленныя капли, сочитесь.
Чистосердечно отъ меня отпадая, капайте, капли
кровавыя,
Изъ ранъ, нанесенныхъ, чтобы волю вамъ дать, на
волю изъ плѣна васъ выпустить,
Изъ лица моего, изо лба моего, и губъ,
Изъ груди моей, изнутри, гдѣ я былъ сокрытъ,
вытѣсняйтесь, красныя капли, исповѣдальныя
капли.
Дайте узнать имъ вашъ алый жаръ, дайте бли-
стать имъ,
Насытите ихъ вами, совсѣмъ пристыженными, мок-
рыми,
Сіяйте надъ всѣмъ, что я написалъ или что еще
напишу, кровавыя капли,
Въ нашемъ свѣтѣ да будетъ все видно, капли ру-
мянокрасныя.
Да будетъ все видно, и да будетъ все пересо-
здано.
Все заново“.

К. Д. БАЛЬМОНТЪ.



Романсъ.

Не хочу уходить...
Только вмѣстѣ съ тобой хороша
Эта ночь...
И такъ жаждетъ душа
Трепетать, замирать и любить...
Не могу я себя
Превозмочь...
Дай мгновенье еще близъ тебя,
Беззавѣтно любя,
Въ этомъ жгучемъ восторгѣ побыть...
Не гони меня прочь,
Не хочу уходить...

.

Я хочу умирать
Въ сладкихъ кольцахъ объятій твоихъ,
Чтобъ, воскреснувши вновь,
Вся любовь
Въ ласкахъ жгучихъ моихъ
Огневыхъ
Стала снова кипѣть и играть...
Я хочу въ искрахъ страсти сгорать,
Чтобъ, почувявши ихъ
Въ вихрѣ ласкъ неземныхъ,
Ты постигла, что значитъ желать
Умирать....

.

МИХАИЛЬ ГАЛЪПЕРИНЪ.





Александръ Койранскій.

* * *

Изъ вашихъ глазъ я скроюсь вскорѣ
На перепутьи, у рѣки,
Чтобъ вновь взойти на косогорѣ,
Гдѣ ивы стройны и легки.

И будетъ обликъ мой безпечень,
И воздухъ счастьемъ напоенъ,
А кдсогоръ, кругомъ расцвѣченъ,
Заблещетъ красками, какъ сонъ.

Я приглядѣлся къ вашимъ лицамъ,
Прислушался къ нѣмымъ словамъ...
А тамъ я буду близокъ птицамъ
И лугъ усыявшимъ цвѣтамъ.

Меня слова и лица мучать,
Я становлюсь упрямъ, жестокъ,
Они жъ любить меня научатъ
И быть, какъ птица, какъ цвѣтокъ.

Тѣнь серебристыхъ ивъ привѣтитъ
Меня въ бездушно-жгучій зной,
И взоръ мой многое отмѣтитъ,
Слѣдя за тонкою листвою.

Все, что мнѣ больно, позабуду,
И будетъ сладокъ мой покой...
И весь уйду навстрѣчу чуду
На косогорѣ, надъ рѣкой.

АЛЕКСАНДРЪ КОЙРАНСКІЙ.



Мой демонъ.

Нѣтъ, никогда съ тѣхъ поръ, какъ мрачныя со-
зданья

Сомнѣній и тоски тревожатъ духъ людей
Гордыней гнѣвною иль смѣхомъ отрицанья,
Или отравою страстей,—

Съ тѣхъ поръ какъ мудрый Змій изъ праха по-
казался,

Чтобъ демономъ взлетѣть къ надзвѣздной вы-
шинѣ,—

Донинѣ никому онъ въ мірѣ не являлся

Столь мощнымъ, страшнымъ, злымъ, какъ
мнѣ...

Мой демонъ страшенъ тѣмъ, что пламенной печати
Злорадства и вражды не выжжены на немъ,
Что небу онъ не шлетъ угрозъ и проклятій
И не глумится надъ добромъ.

Мой демонъ страшенъ тѣмъ, что, правду отрицая,
Онъ высшей правды ждетъ страснѣй, чѣмъ се-
рафимъ.

Мой демонъ страшенъ тѣмъ, что, душу искушая,
Уму онъ кажется святымъ.

Привѣтна рѣчь его, и кротокъ взоръ лучистый,
Его хулы звучать печалью неземной.

Когда жъ его прогнать хочу молитвой чистой,
Онъ вмѣстѣ молится со мной...

Н. МИНСКІЙ.



ОСЕННИЕ ГОЛОСА.

По обширнымъ полямъ моихъ думъ,
По концамъ многолюдныхъ земель
Вѣялъ въ холодѣ дней моихъ хмель,
Затаенный въ тиши моей шумъ.

И всегда не хотѣлъ я людей.
Я любилъ безпристрастный обзоръ
Стѣнъ, высотъ и степныхъ областей,
Величавый, игривый узоръ.

Я на башни нѣмая взиралъ,
Я внималъ грохотанью лавинъ
И средь сѣверныхъ явныхъ равнинъ
Я съ осеннимъ дыханьемъ игралъ.

Высока моя пѣснь, высока:
Такъ холодные токи плывутъ,
Легкій дымъ въ небесахъ, облака...
Ни страстей ни унынія путь!

Такъ по нивамъ житейскимъ лечу,
А порой укрываюсь во ржи.
О, дышать вновь и вновь я хочу:
Сказку, вѣтеръ, какъ встарь, мнѣ скажи!

ИВАНЪ КОНЕВСКІЙ.



Пѣсня изъ земли.

За рудниками и за скалами
Скрыта струя чистой воды.
Въ нее оступился землекопъ ногою
И вдругъ застоялся въ тупомъ удивленьи:
Онъ пѣсню слышитъ прорвавшей воды.

Въ серебряномъ звукѣ встрѣчаются струйки,
Весенняя пѣсня въ ночномъ рудникѣ!
Какъ мертвые тянутся стѣны и камни,
Но дивной гармоніи, размѣра невидимаго
Исполнена пѣсня изъ сердца земли.

Какъ скалы, проходятъ народы земные,
Сердца ихъ покрыты слоями песковъ,
Вѣками пласты осѣдали на груди,
Мѣстами лишь въ шахтѣ стоитъ землекопъ!

Но дивный родникъ за мертвящей стѣною...
Суровый рабочій, онъ вспомнилъ весну,
Сіяетъ цвѣтами и воздухъ и небо,
И мнится—цвѣтеть и лепечетъ кирьга.

Чу! ропшутъ, какъ буря, ученые дюдѣ,—
Что мечтанье обманъ, не живетъ ни къ чему,—
Но трудъ землекопа разрушить всѣ стѣны
И міръ весь откроетъ для пѣсенъ воды.

А. ДОБРЮЛОВЪ.





ALEXANDER (А. Брюсовъ).

По бездорожью.

Я въ храмъ выискалъ заржавленные латы,
Да старый щитъ съ поломаннымъ мечомъ,
Да мѣдный шлемъ, изсѣченный, измятый,
Съ большимъ отрепаннымъ, надломленнымъ перомъ.

И вотъ, какъ рыцари, надѣвъ свои доспѣхи,
Я въ городъ выѣхалъ на старомъ скакунѣ.
Дивясь, прохожіе толпились въ дикомъ смѣхѣ,
Прижавшись къ низенькой, бревенчатой стѣнѣ.

Я выѣхалъ окраиной за городъ,
Плетусь впередъ къ измѣнчивой мечтѣ.
И давить грудь тяжелый мѣдный воротъ,
И свѣтъ дрожить на латахъ и щитѣ.

Встрѣчайте путь мой руганью и смѣхомъ!..
Мнѣ дѣла нѣтъ до вашихъ мертвыхъ словъ.

Мнѣ вторить лѣсъ своимъ стогласымъ эхомъ,
Мнѣ вторить даль игрой колоколовъ!

Не знаю спутниковъ въ дни темной непогоды...
И въ дождь и снѣгъ всегда одинъ... забыть...
И день за днемъ проходить адчно годы
Подъ мѣрный стукъ подкованныхъ копытъ...

Всю жизнь плетусь впередъ по бездорожью.
Мнѣ каждый день невѣдомъ, дикъ и новъ.
И пусть весь путь былъ только яркой ложью—
Я не хочу иныхъ путей и сновъ!

ALEXANDER.



ТРИОЛЕТЫ.

I.

Прошли безумья пьяныхъ весень,
Минули дни случайныхъ встрѣчъ.
И сквозь темнѣющую просинь—
Прошли безумья пьяныхъ весень—
Кроваво-мертвенная осень
Возносить заостренный мечъ.
Прошли безумья пьяныхъ весень,
Минули дни случайныхъ встрѣчъ.

II.

Метель поетъ привѣтъ прощальный
Среди чернѣющихъ вѣтвей.
Встрѣчая пѣсней погребальной,
Метель поетъ привѣтъ прощальный,
И слышенъ мѣрный и печальный
Далекій благовѣстъ церковей.
Метель поетъ привѣтъ прощальный
Среди чернѣющихъ вѣтвей.

III.

Я, узникъ каждой новой встрѣчи.
Забылъ просторъ родныхъ степей.
Склоняя скованныя плечи,
Я, узникъ каждой новой встрѣчи,
Ловлю мелькающія рѣчи
Подъ мѣрный звонъ моихъ цѣпей.
Я, узникъ каждой новой встрѣчи,
Забылъ просторъ родныхъ степей.

IV.

Стою закованный, безвольный,
Впивая ядъ мгновенныхъ словъ;
Съ печалью тихой и безбольной
Стою закованный, безвольный,
И слышу дальней колокольни
Тяжелый звонъ колоколовъ.
Стою закованный, безвольный,
Впивая ядъ мгновенныхъ словъ.

V.

Смотрю за тонкую рѣшетку
Съ глухой покорностью раба.
Судьба мгновенья дѣлится четко...
Смотрю за тонкую рѣшетку.
Свершайся радостно и кротко
Судьбы владычной ворожба.
Смотрю за тонкую рѣшетку
Съ глухой покорностью раба.

ALEXANDER.



ПЛЫВУТЬ ОБЛАКА....

Плывутъ облака...
За ними несутся и мысли...
Надъ сердцемъ уныло повисли
Печаль и тоска...

Плывутъ облака...

На нихъ—алый отблескъ заката.
Въ душѣ все туманомъ объято
И тьма глубока...

Плывутъ облака...

Нестись бы средь нихъ на край свѣта—
Тамъ вѣчное солнце и лѣто,
Тамъ жизнь широка...

Плывутъ облака...

Ныряетъ кровавое солнце
И шлетъ мнѣ привѣтъ сквозь оконце...
И снова тоска...

Плывутъ облака.

МИХАИЛЪ ГАЛЬПЕРИНЪ.





Въ голубые священные дни...

Въ голубые, священные дни
Распускаются красные маки.
Здѣсь и тамъ лепестки ихъ—огни—
Подаютъ намъ тревожные знаки.

Скоро солнце взойдетъ.
Посмотрите—
Зори красныя.
Выносите
Стяги ясныя.
Выходите
Впередъ,
Дѣвицы красныя.

Краснымъ полымемъ всходитъ Любовь.
Цвѣтъ Любви на землѣ одинаковъ.
Да прольется горячая кровь
Лепестками разбрызганныхъ маковъ.

З. Н. Г.

* * *

Есть храмъ. Всѣ двери закрыты.
Засовы всѣ задвинуты.
И мы стоимъ на паперти,
Забыты и отринуты.

Мы слышимъ смутно пѣніе,
Что издали доносится,
Не зная, въ чемъ служеніе,
О чемъ въ мольбахъ тамъ просится.

Мы видимъ дымъ отъ ладана,
Что вьется сквозь отдушины.
Но тайна не разгадана,
Молитвы не подслушаны.

Н. МИНСКИЙ.



* * *

Я твоя всѣмъ нетронутымъ тѣломъ,
Я твоя всей влюбленной душой,
Овладей мной рѣшеніемъ смѣлымъ,
Я хочу быть любима тобой.

Я съ тобою неслышно, незримо,
Гдѣ ты дышишь, тамъ жизнь моя.
Я хочу быть тобою любима.
О, мой другъ, я твоя, я твоя!

Г. В.



ТРУБНЫЙ ГЛАСЬ.

Надъ землею слышенъ ропотъ,
Тихій шелестъ, шорохъ, шопотъ.
Слышенъ въ небѣ трубный гласъ:
—Братъ, вставай же, будятъ насъ.
—Нѣтъ, темно еще повсюду,
Спать хочу и спать я буду,
Не мѣшай же мнѣ, молчи,
Въ стѣну гроба не стучи.

Не заснешь теперь: ужъ поздно.
Зовъ раздался слишкомъ грозно,
И встаютъ вблизи, вдали,
Изъ развершейся земли,
Какъ изъ матерней утробы,
Мертвецы, покинувъ гробы.

Не могу и не хочу,
Я закрылъ глаза, молчу,
Не повѣрю я обману,
Я не встану, я не встану.
Братъ, мнѣ стыдно—весь я пыль,
Пыль и тлѣнь, и смрадъ, и гниль.

Братъ, мы Бога не обманемъ,
Всѣ проснемся, всѣ мы встанемъ,
Всѣ пойдемъ на Страшный судъ.
Вотъ престолъ уже несутъ
Херувимы, Серафимы.
Вотъ идетъ нашъ царь дориносимый.
О, вставай же,—радъ не радъ,
Все равно ты встанешь, братъ.

Д. С. МЕРЕЖКОВСКИЙ.



КОЛЫБЕЛЬНАЯ.

Ночь, угрюмая ночь обнимаетъ меня...
Все темнѣе зловѣщія тучи...
Смерти слышится голосъ могучій:
. Я хочу убаюкать тебя...
Своимъ чернымъ крыломъ припаду я къ тебѣ
И прикрою усталыя очи...
Сынъ Земли, ты усталъ въ непосильной борьбѣ,—
Твой покой лишь въ объятіяхъ Ночи...
Жизни скучныя пѣсни постыли тебѣ,
Хочешь новой и сильной ты пѣсни,
Гдѣ бы не было стоновъ и жалобъ къ Судьбѣ,
Чтобъ звучала новѣй и чудеснѣй...
Этой дивною пѣсней владѣю лишь я,
Только разъ ее людямъ пою я...
Она вѣчно нова... Всякій, страхъ затая,
Моей пѣснѣ внимаешь, тоскуя...
Сколько бѣ тягостныхъ мукъ, вѣчно ноющихъ ранъ
Ни дала тебѣ Жизнь, издѣваясь,—
Все исчезнетъ съ той пѣсней, какъ легкій туманъ,
И уснешь, сладкимъ сномъ забываясь...
Я прильну къ тебѣ, нѣжа, лаская, любя,
И съ собой унесу въ безконечность...
Слышишь?... Шелестъ. То крылья... Я—Вѣчность...
. Я хочу убаюкать тебя...
.

МИХАИЛЬ ГАЛЬПЕРИНЪ.





Муни (С. Кисинь).

ОКТАБРЬ. —

Андрею Бѣлому.

Октябрь опять къ окну прильнулъ,
И сердце прежней пытки радо.
Мнѣ старый паркъ въ лицо дохнулъ
Ночною, рѣзкою прохладой.

Кой-гдѣ на вѣткѣ поздній листъ
Сіянемъ мѣсячнымъ оснѣженъ.
И вѣтра полуночный свистъ
Разгулень, жалобенъ и нѣженъ.

Взметай, крути сухую пыль,
Шуми въ деревьяхъ, бейся въ ставни!
Твоя бродяжья злая былъ
Старинной сказки своенравнѣй.

Ты, вольный, мчишься безъ дорогъ,
То въ лѣсъ шарахнешься сослѣпа,
То, завизжавъ, рванешь замокъ
На старыхъ, ржавыхъ петляхъ склепа,

Осенний вѣтеръ, буйный братъ,
Твой злобный вой, какъ голосъ друга.
И я, какъ ты, умчаться радъ,
Залиться бѣшеною вьюгой.

Но я усталъ, но я безъ силъ,
Я сердца боль не успокою.
Я только въ паркѣ окно открылъ
И тихо-тихо вторю вою.

МУНИ.



* * *

ПОСВ. М. С. М. —

Я царевна плѣнная.
Въ башнѣ я одна..
Моетъ камень плѣнная
Бѣлая волна.

За рѣшеткой черною
Взоръ полуослѣпъ.
Я стопой упорною
Мѣрю тѣсный склепъ.

Длятся дни постылые,
Тянутся въ тиши.
Сны мои безкрылые
Въ тягость для души.

Жду тебя безъ вѣры я,
Соколы мой, женихъ!..
Стѣны башни сѣрыя,
Крики часовыхъ.

Лижетъ камень плѣнная
Бѣлая волна..
Въ скорби неизмѣнная
Я одна, одна!..

МУНИ.



СМЕРТЬ. —

Она печальна у одра болѣзни,
Въ разстанный часъ; при громкомъ плачѣ женъ;
Торжественна въ движеніи похоронъ,
Въ протяжности заупокойной пѣсни;

Грозна предъ плахой, за стѣной тюрьмы;
Мечтательна подъ тѣнью ивъ надгробныхъ;
Всесильна на поляхъ сраженій злобныхъ;
Уродлива въ дыханіи чумы.

Но ужасъ смерти, близкой, неотлучной,
Постигъ я лишь наединѣ съ собой,—
Въ мельканьи дней подъ лепетъ однозвучный,
Въ усталости души, еще живой,

Въ забвеніи всего, что было свято,
Въ измѣнѣ всѣмъ, кого любилъ когда-то.

Н. МИНСКИЙ.



Шопотъ мотыльковъ. —

Въ вешнемъ сумракѣ тѣнистомъ,
Въ ароматѣ розъ душистомъ,
Полный тайныхъ, странныхъ словъ,
Слышенъ шопотъ мотыльковъ...

На зарѣ на свѣтъ родившись,
Вдоволь за-день наръзвившись,
Мотыльки наединѣ
Умираютъ въ тишинѣ.

Вѣкъ прошелъ въ лучахъ прекрасныхъ
И томленіяхъ неясныхъ.

Мотыльки въ предсмертномъ снѣ
Грезять о прошедшемъ днѣ...

Все темнѣй ночныя тѣни...

Въ царствѣ сказочныхъ видѣній,
Словно въ дымкѣ вѣшнихъ сновъ,
Слышенъ шопотъ мотыльковъ.

.....

МИХАИЛЬ ГАЛЬПЕРИНЪ.



ДЕРЕВНЯ СПИТЬ.

Деревня спить... не видно бѣдныхъ хатъ—
Ихъ бѣлый снѣгъ засыпалъ вплоть до крыши,
Метель ушла, запѣли вѣтры тише:
Они будить деревню не хотятъ.

Церковный крестъ рыдаетъ въ небесахъ.
Въ морозной мглѣ созвѣздія застыли.
О горькихъ дняхъ неумолимой были
Народъ забылъ въ блаженно-тихихъ снахъ.

Деревня спить... Я на крыльцѣ стою
Одна, какъ мать у дѣтской колыбели.
Не вѣтры и не буйныя метели—
Я пѣть хочу и скоро запою.

Я буду пѣть: растаетъ мертвый снѣгъ,
Слѣпымъ окномъ увидать солнце хаты,
Весна цоляетъ на землю ароматы,
Въ поляхъ взойдетъ посѣянный побѣгъ.

Я буду пѣть: проселочныхъ дорогъ
Жизнь не минетъ въ великомъ крестномъ ходѣ—
И новый храмъ построится въ народѣ,
И этотъ храмъ узнаетъ новый Богъ.

ЛЮБОВЬ КОПЫЛОВА.





Е. ЯНТАРЕВЪ.

* * *

Я бурь искалъ.
Вонъ тамъ—на высотъ—надъ скатами
Безгласныхъ скалъ
Я ждалъ.
А небеса, гремя раскатами,
Огнями рдяными
Съ волнами пьяными
Дерзали слитья.

Мнѣ этотъ сонъ
Безсмынно снится.

Е. ЯНТАРЕВЪ.



ЛАБИРИНТЪ. —

I.

Однѣ и тѣ же мысли вѣчно
Въ туманно-огненномъ мозгу.
Я въ лабиринтѣ безконечномъ
Найти дороги не могу.

* * *

Я—истомленный, я—смятенный
Всегда, какъ въ огненномъ бреду.
Я, нѣкто, къ Тайнѣ схороненной
На подвигъ дерзостный иду.

* * *

Я тѣшусь бѣшеной игрою—
Всегда во тьмѣ. Одинъ всегда.
Ползу, кричу, проходы рою...
Недвиженъ мракъ. Бѣгутъ года.

II.

Я ползъ по склонамъ горъ упорныхъ
Разбить, истерзанъ, обнаженъ.
Въ веригахъ думъ угрюмо-черныхъ,
Молчаньемъ гулкимъ окруженъ.

* * *

Срывался, падалъ, вновь взбирался,
Мечту надменную храня.
И въ тяжкихъ мукахъ извивался
Тоскуя, злобствуя, стена.

* * *

Ползу къ вершинамъ, иступленный,
Слабѣю въ дерзостной борьбѣ.
Но—вѣчно въ путь завороченный
Навстрѣчу яростной судьбѣ!

Е. ЯНТАРЕВЪ.



Цвѣты ночи. —

О, ночному часу не вѣрьте!
Онъ исполненъ злой красоты.
Въ этотъ часъ люди близки къ смерти,
Только странно живы цвѣты.

Темны, теплы тихія стѣны,
И давно каминъ безъ огня...
И я жду отъ цвѣтовъ измѣны,—
Ненавидать цвѣты меня.

Среди нихъ мнѣ жарко, тревожно,
Ароматъ ихъ душень и смѣлъ,—
Но уйти отъ нихъ невозможно,
Но нельзя избѣжать ихъ стрѣлъ.

Свѣтъ вечерній лучи бросаетъ
Сквозь кровавый шелкъ на листы...
Тѣло нѣжное оживаетъ,
Пробудились злые цвѣты.

Съ ядовитаго арума мѣрно
Капли падаютъ на коверъ...

Все таинственно, все невѣрно...
И мнѣ тихій чудится споръ.

Шелестятъ, шевелятся, дышатъ,
Какъ враги, за мною слѣдятъ.
Все, что думаю,—знаютъ, слышатъ,
И меня отравить хотятъ.

О, часу ночному не вѣрьте!
Берегитесь злой красоты.
Въ этотъ часъ мы всѣ ближе къ смерти,
Только живы одни цвѣты.

З. Н. ГИППИУСЪ.



ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО. —

Съ улыбкой безстрастія
Ты жизнь благовости:
Не нужно намъ для счастья
Ни славы, ни любви.

Но почки благовонныя
Нужны,—и небеса,
И дымкой опушенные
Прозрачныя лѣса.

И пусть все будетъ молодо,
И зыбь волны, порой,
Какъ трепетное золото
Сверкаетъ чешуей,

Какъ въ дѣтствѣ все невиданнымъ
Покажется тогда
И снова неожиданнымъ—
И небо и вода,

Надъ первыми цвѣточками
Жужжанье первыхъ пчелъ,
И съ клейкими листочками
Березы тонкій стволъ.

Съ младенчества любезное,
Намъ дорого—пойми—
Одно лишь бесполезное,
Забывшее людьми.

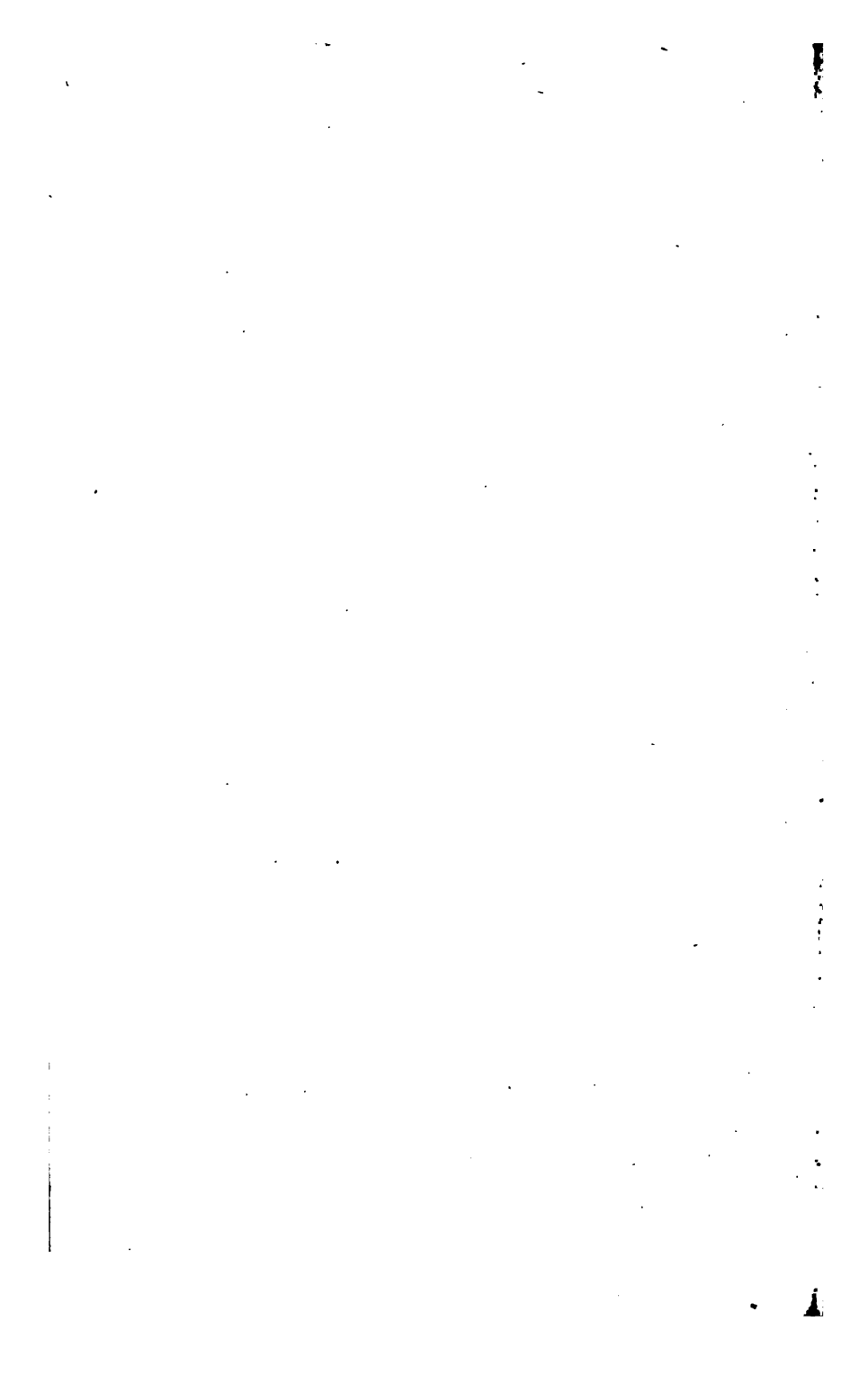
Вся мудрость въ томъ, чтобъ радостно
Во славу Бога пѣть.
Равно да будетъ сладостно
И жить и умереть.

Д. МЕРЕЖКОВСКИЙ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.





РУССКІЕ АВТОРЫ.

Alexander.	
По бездорожью	455
Тріолеты	456
Ардовъ Т.	
Цвѣты	133
Балтрушайтисъ Ю.	
Дѣтскіе страхи	226
Маятникъ	363
Ноктюрнъ	65
Славься, утро	145
Бальмонтъ К.	
Втай-Рѣка	61
Городъ	11
Спать	195
Осень	5
Славянское древо	67
Умъ	113
Черезъ столѣтія столѣтій	90
Четъ и нечетъ	198
Хаосъ	352
В. Г.	
— Я твоя	460
Блокъ А.	
Весеннее	66
Второе крещенье	290
Вхожу я въ темные храмы	25
Крылья	161
— Люблю тебя, Ангелъ-Хранитель	29
Молитва	353
Морская пѣсня	113
Надъ озеромъ	274
Незнакомка	26
Осенняя любовь	47
Осеннія пляски	27
Умолкаетъ свѣтлый вѣтеръ	110
Брюсовъ В.	
Духи огня	16
Золото	116
— Искушеніе	1
Конь блѣдъ	95

По улицамъ	115
Поэту	117
Служителю Музъ	46
Б у н и н ъ И.	
Въ плавняхъ	304
Жизнь	311
Лень	240
Петровъ день	70
Послѣ битвы	60
Съ обрыва	380
Б ѣ л ы й А.	
Весна	23
Закаты	118
Золотое Руно	19
Обручальное кольцо	21
Одинъ средь горъ	398
Путь	364
Тоска	22
В е р х о в с к і й Ю.	
Элегическая сюита	276
В о л о ш и н ъ М.	
Голова Madame de-Lamballe	157
Киммерійскія сумерки	93
Осень	159
Письмо	253
Полюнь	158
Тѣсенъ мой міръ	52
Г а л ь п е р и н ъ М.	
Кашель	446
+ Колыбельная	462
Плывутъ облака	458
Романсъ	450
— Шопоть мотыльковъ	468
Сгоньки	408
Г е р ц ы к ъ А.	
Млѣють сосны	244
Поля мои	144
Г и п п і у с ъ З.	
Въ голубые-священные дни	459
— Цвѣты ночи	469
Все кругомъ	48
Въ черту	123
Заклинаніе	72
Къ землѣ	155
Она	24
Снѣжные хлопья	379
Тоскъ временъ	273
Узелъ	283
Г о р о д е ц к і й С.	
Весна	243

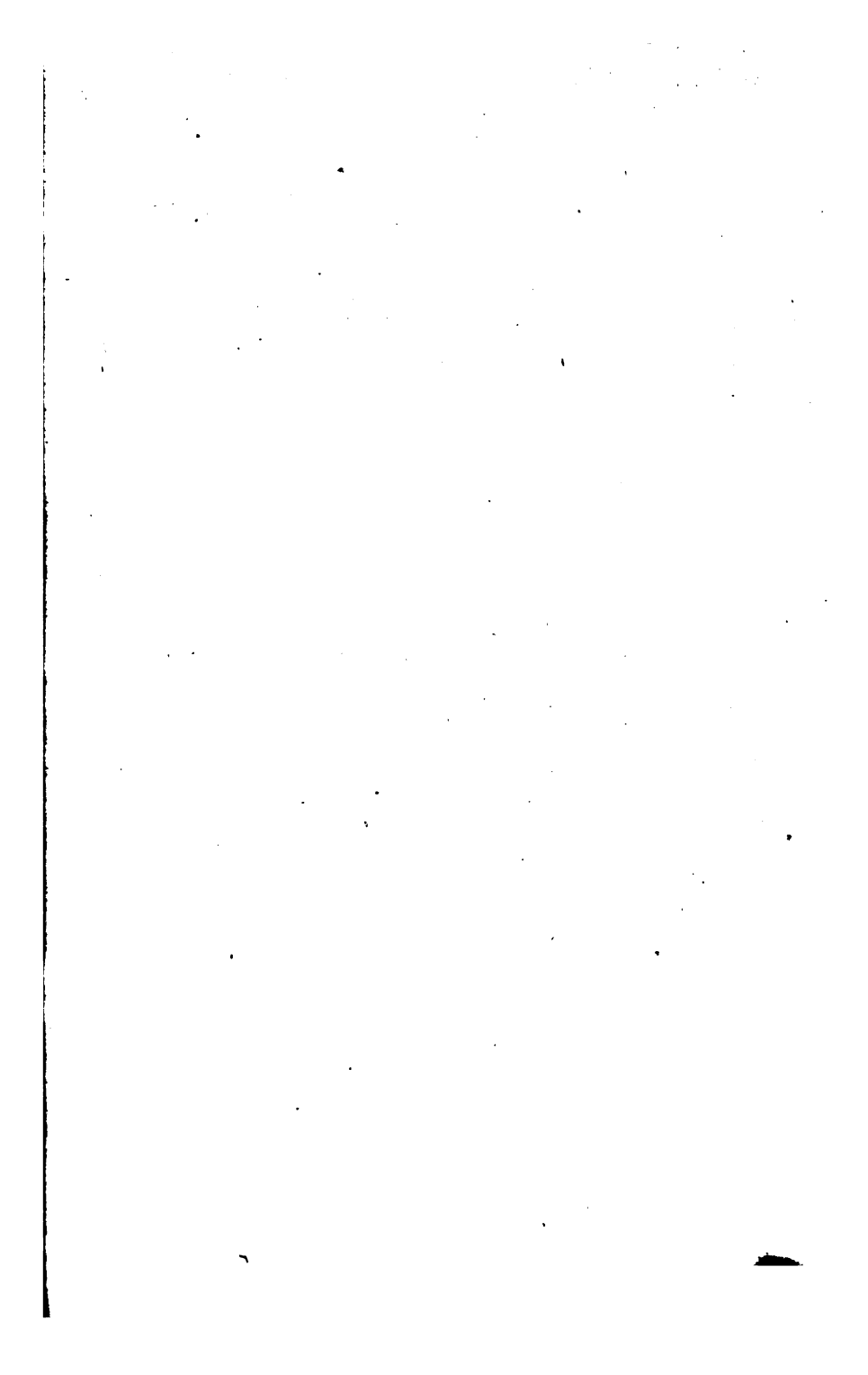
Встрѣча	79
Въ лѣсу	287
Голоса	221
Дьяволъ	82
Зеленая	83
Колдунокъ	112
На массовку	83
Русь	15
Гофманъ В.	
Былъ тихій вальсъ	232
Valse masquée	302
Васильки	367
Гумилевъ Н.	
Маскарадъ	139
Диесперовъ А.	
И вотъ ты идешь	252
Diigne.	
Впилаь коса въ грудь лимана	312
Добролюбовъ А.	
Пѣсня изъ земли	454
Дымовъ О.	
Осень	127
Ея тѣло	362
Зайцевъ Б.	
Хлѣбъ, люди и земля	305
Зиновьева-Аннибалъ Л.	
Ея волосы	425
Ивановъ В.	
Кочевники красоты	8
Мой лугъ замыкали своды	277
Орлу	9
Путь въ Эммаусъ	30
Радуги	49
Рокоборецъ	222
Ропотъ	10
Темь	7
Кондратьевъ А.	
Ей	123
Койранскій А.	
Изъ вашихъ глазъ	451
Коневскій И.	
Межъ нивъ	438
Осенніе голоса	453
Копылова Л.	
— Деревня спать	468
Кречетовъ С.	
Безумный инокъ	381
Послѣдній человѣкъ	383
Криницкій М.	
Ангель страха	385

Курсинскій.	
Въ предутренней мглѣ	42
Горный духъ	401
Когда старуха-Жизнь	402
Симплогаты	270
Ленскій В. л.	
Ave Maria.	174
Закать	368
Лилии	225
Лесьянянъ Б.	
Ночь	298
Линденбаумъ В.	
Несказаннымъ объятый	377
Маковскій С.	
Буря	285
Корабли	301
Изъ пѣсенъ Астартъ	403
Любить	300
Осенью	59
Sperculum Diauae	299
Счастье	111
Сумракъ нѣжный	156
Мережковскій Д.	
— Весеннее чувство	470
Если розы осыпаются	444
Трубный гласъ	461
Титаны	411
Минскій Н.	
Два голоса	122
Есть храмъ	460
Мой демонъ	452
— Смерть	467
Миропольскій А.	
— Дѣдушка	426
Муни.	
— Октябрь	463
+ Я—царевна	464
Новиковъ И.	
Вечерняя прогулка	418
Дитя ночи	417
За закрытыми глазами	271
Избѣненіе младенцевъ	207
Ѣду въ санкахъ	420
Одинокій.	
Сумерки	162
Человѣчество	231
Петровская Н.	
Ложь	405
Потемкинъ П.	
Я бродилъ по улицамъ	162
Я—тонкая вѣха	390

Поярковъ Н.	
Свѣтлая вѣточка.	421
Пястъ.	
За рѣчью.	64
Рафаловичъ С.	
Мы встрѣтились рано	445
Ремизовъ А.	
Крѣсь.	241
Купальскіе огни	74
Надъ колыбелью	73
Нежить.	62
Рославлевъ А.	
Въ башнѣ.	447
Ложь.	448
Земля.	278
При лунѣ.	297
Пѣсня.	77
Рукавишниковъ И.	
Мой сонетъ.	200
Плачутъ пѣсни	439
Завершается столѣтія	440
Сабашикова М.	
Лѣсъ	289
Садовой Б.	
Юньскій закатъ	409
Лѣшій.	85
На зарѣ.	93
Сергѣевъ-Ценскій С.	
Лѣсная Топь	291
Послѣ грозы	234
Соловьевъ С.	
Я блуждалъ въ лѣсу родимомъ	245
Сологубъ Ѳ.	
Алмазъ.	247
Амфора	248
Быть простымъ	220
Колыбельная	286
Люблю мое молчанье	249
Не конченъ путь	6
Подъ звучными волнами	378
Путь мой трудный	125
Родинѣ	172
Чортовы качели	69
Столица Л.	
На качеляхъ	424
Стражевъ В.	
Вечоръ	393
Въ густыхъ аллеяхъ	124
Въ уютъ комнаты.	391
Надъ полями	393
На ясныхъ полянахъ	120

Пѣсня Мадонны. Пер. С. Рафаловича.	139
Трехъ малыхъ дѣвочекъ убили. Пер. Г. Чулкова. .	137
Мореасъ Ж.	
Не говори, смѣясь. Пер. И. Тхоржевскаго. . . .	337
Ницше Ф.	
Послѣдняя Воля. Пер. Н. Полилова.	58
Слава и Вѣчность.	55
Среди хищныхъ птицъ.	169
По Э.	
Сердце-изобличитель. Пер. К. Бальмонта.	233
Пшибшевскій Ст.	
Отрывокъ изъ романа. Пер. Е. Троповскаго. . .	395
Сквозь чертоги души его. Пер. В. Высоцкаго. . .	178
Тиртей.	31
Тоска. Пер. В. Высоцкаго.	175
Рене Гиль.	
Жалоба пастухамъ. Пер. В. Брюсова.	357
де-Ренье А.	
Вѣнокъ Пер. И. Тхоржевскаго.	329
Забрезжила заря. Пер. О. Чюминой.	332
Мудрость любви. Пер. И. Тхоржевскаго.	331
Роденбахъ Ж.	
Едва угаснетъ день. Пер. Эллиса.	334
Лебеди. Пер. Ю. Веселовскаго.	333
На стражѣ. Пер. О. Чюминой.	272
Октябрь. Пер. И. Тхоржевскаго.	335
Сердце воды. Пер. Эллиса.	179
Эпилогъ. Пер. И. Тхоржевскаго.	336
Стринбергъ А.	
Уединеніе. Пер. Гибермана.	261
Тетмайеръ К.	
Эпитафія. Пер. Ж. З.	443
Уайльдъ О.	
Ваятель.	121
Великанъ-эгоистъ.	163
Учитель.	14
Уитманъ У.	
Городская мертвецкая. Пер. К. Чуковского. . . .	361
Громче ударъ, барабаны! Пер. К. Бальмонта. . .	359
О, капли. Пер. К. Бальмонта.	449
Тамъ... Пер. К. Чуковского.	362
Швобъ М.	
Крестовый походъ дѣтей. Пер. Бор. Зайцева. . .	151







This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine ~~of five cents a day~~ is incurred
by retaining it beyond the specified
time.

Please return promptly.

DUE OCT. 22 1918

OCT 2 1911

~~SEP 24 1911~~

~~OCT 11~~